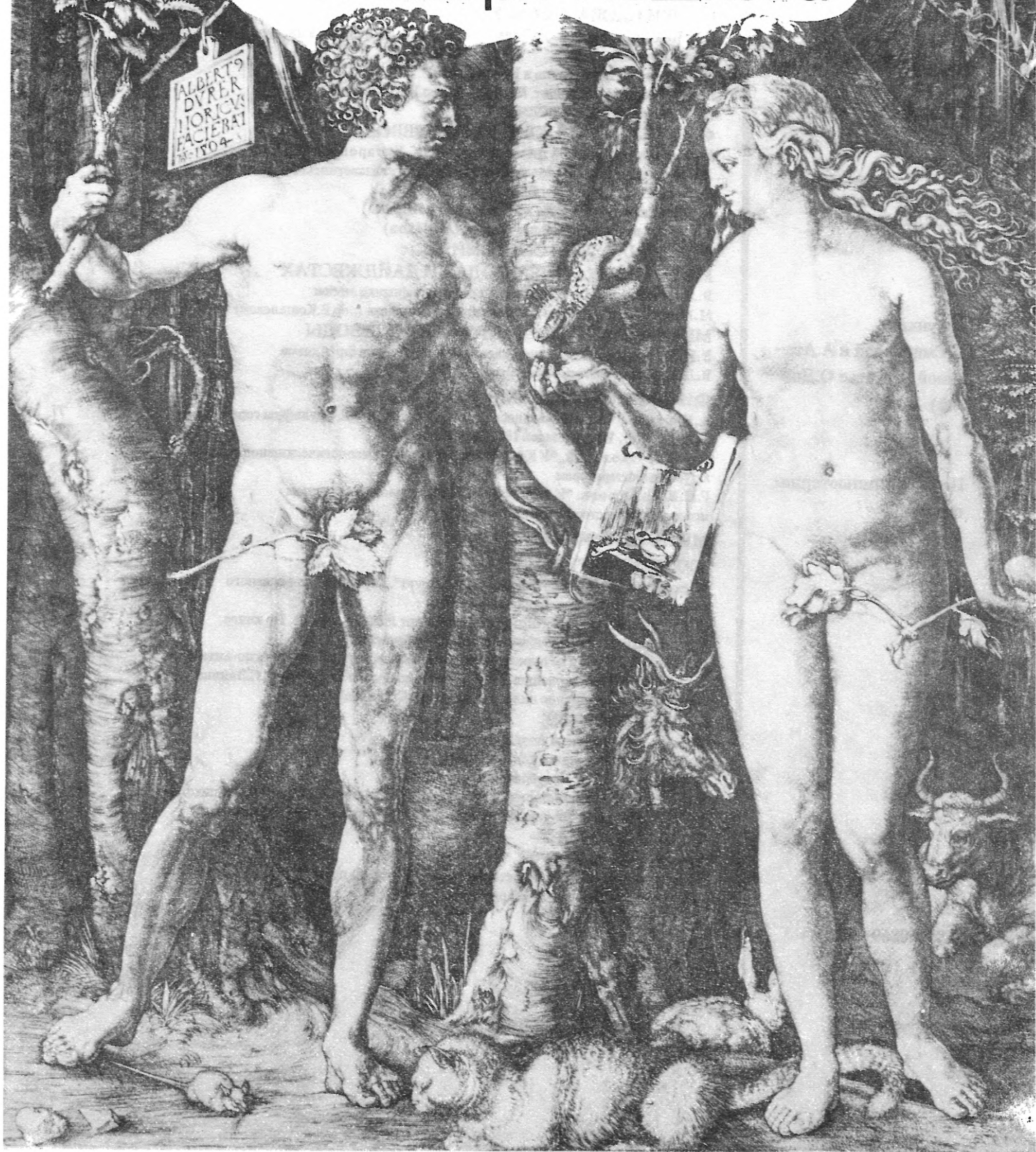


АПОКРИФ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



О любви
ИЛИ
ТРЕТИЙ АПОКРИФ
Александра Махова
и Игоря Пешкова



В ЭТОМ, ЛЮБОВНОМ НОМЕРЕ:

Главный редактор А.Махов	О любви (платонический диалог пресыщенных изданиями) ГУМАНИТАРНЫЙ ОБЗОР (ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ОНА И НЕ ТАК ЗОВЕТСЯ) И.В.Пешков. Любовь: физика и метафизика МИФ	3 7
Редколлегия И.Пешков С.Галенко В.Кузнецов К.Чекалов	А.Е.Махов. Мужчина и женщина в зеркале романтического афоризма Ф.Шлегель. Из "Литературных записных книжек" Ж.Жубер. Из "Дневников" Новалис. Афоризмы из разных рукописей Ф.Шлейермахер. Из дневника И.Г.Фихте. Из "Оснований естественного права" Жан Поль. Афоризмы	14 21 22 23 24 24 24
	МЕТАФИЗИКА МАСКИ СЛОВА "ЛЮБОВЬ?" К.А.Чекалов. Задолго до Ролана Барта, или Влюбленные в дискурс (или в смерть?) О.Л.Довгий. Прозерпина и Клеопатра Барри Корнуолл. Сонет. Магдалина (пер.И.Кузнецова) (ОНА?) НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ: ФИЗИКА В ДАЙДЖЕСТАХ И ПЕРЕВОДАХ Из истории сексуальной жизни французов (К.Хитаров) Л.Бабб. Физиологическое понимание любви в елизаветинской и ранней стюартской драме (пер. О.Сычева) Шла по Сити проститутка, а за ней вампир. Любовь и смерть в викторианской литературе (А.Махов)	27 33 36
Художественный редактор И.Смирнова	(ОНО?) НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ: МЕТАФИЗИКА В ПЕРЕВОДАХ И ДАЙДЖЕСТАХ В.Л.Кошелева. Тело, сексуальность и метафизика любви М.Мёрло-Понти. Тело как сексуальная сущность (пер.В.Кошелевой) МЕТАФИЗИКА: ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ В.Н.Волошинов. Основной идеологический мотив фрейдизма В.Л.Махлин. Растворение брака	37 42 51
Редактор Г.Шелогурова	ФИЗИКА: ОБЩЕЖИТИЕ (РУССКОЕ) А.Е.Махов. "Опасение верности": Алексей Николаевич Вульф на rendez-vous А.Н.Вульф. Из дневников 1828-1830 годов М.С.Тартаховский. "У Кирилла Львовича..." Акмеологические подступы к русским литераторам Г.Н.Шелогурова. "И тебя не любить мне позволю". Об одном мотиве в творчестве И.Анненского	56 59 64 70
Рисунки И.Смирновой и А.Атавиной (к статье О.Довгий)	МЕТАМЕТАФИЗИКА? АРХИВ КУЛЬТУРЫ "Стихи сочиняет поэт — народ их аранжирует". Страшный сон главного редактора. Стихи, оставленные Алисой И.А.Мерозов, И.С.Слепцова. Крутоворот любви в народе. По книге "Круг игры: старинные забавы и развлечения русских". С.В.Зинина. "Нет, я не дорожу мятежным наслаждением": эротика по-китайски Бо Ху Тун: "Всеобъемлющие дискуссии в зале белого тигра" (пер. С.Зинина) Хэ Инь Ян: "Соединение сил инь и ян" (пер. С.Зинина)	77 79 83 88
Набор и компьютерная верстка Н.Еремина	НАД ВЫМЫСЛОМ Б.Вина. Любовь слепа (пер.К.Чекалова) А.Брудный. Невидаля (видеолента) Л.Межибовский. Преобразование гусениц С.И.Виткевич. Единственный выход (выдержки из романа, пер. Ю.Чайникова) Ф.Пол. Миллионный день. Интервью журналу "Вектор" (пер. С.Некрасова)	92 95 100 109 115
	САМОРЕКЛАМА Тайна в жизни человека В.А.Кутырев. Блеск и нищета привилегии: этюды прогрессивного пессимизма Финал, или Формальный метод в любви	118 122 137 139 145 150 152 154



и другие игровые эффекты прекращаются, свечи гаснут и свет на заднем плане прорисовывает старое грязное окно сквозь утренний весенний туман, в котором исчезло все: и Николай Евреинов, и сам Махов, вызвавший его в “Лабиринт”, в Последний переулок, и сам Пешков, как будто и не бывало вовсе. Но нет, не все пропало в очистительном огне игры. Из-под стола вылезает проснувшийся Пешков. Что вырвало его из теплой и мягкой постели и заставило спать в этой дыре в центре Москвы? Сейчас, сейчас, читатель — слава Богу, мы убедились, что таковой имеется! — мы спросим у него. Нелепо ли спать здесь среди мышь и книг? Господин Пешков!

ПЕШКОВ (озирается по сторонам и бормочет. Понятно лишь:) *Notinut, dotinut. Бренди, бредни. Я все забыл. Латин из моды вышел; 450 экземпляров, 110 километров, вдвоем. Подвиг — когда что-то передвигают.*

Он делает судорожные движения конечностями, чтобы согреться, крича “Изыди, сатана!”, пугая этим криком Мышь.

(Мышь она не простая, а антисемитическая, потому что съедает с книжных пачек только этикетки). Затем достает из стола какую-то тетрадь и читает заунывным голосом.

“Любовь так же не случайна, как и игра, и так же не есть простое восхождение от абстрактной идеи общения к ее конкретному (любовному сейчас, игровому тогда) осуществлению. Это тот же самый осколок культурологического зеркала человека, в котором, как и в целом зеркале, отражается весь человек.

Так что не восхождение. Зато, возможно, некая телеологическая (утопическая, то есть уходящая в сферу идеалов) стрела, уводящая от реального общения. Ведь что есть наше действительное общение? Просто бытие, прежде всего не проработанная культурологическая работа, труд, якобы сделавший из обезьяны человека. (А я утверждаю, что это и осталось приматом нашей жизни! — воскликнул некто на станции метро “Красногвардейская” и очень вовремя воскликнул.) В самом деле, диктатура пролетариата идеологически (и практически) есть одна из разновидностей диктатуры трудящегося, примата работы, робота производственных отношений, раба трудоголизма. Stop working, люди, — почему-то хочется крикнуть по-английски, ибо на этом языке в основном в мире и трудятся, называясь бизнес-менами. Не будем, конечно, утрировать и расшифруем mot: stop working for working. Мы, черт возьми, не живем чтобы работать, а работаем, чтобы хоть иногда (“Вот, вспомнил латынь”, — подумал читающий) жить. И пусть наши дорогие серьезные гуманитарные ученые или ученые-гуманитарии не воспринимают все это как апокрифический курьез каламбуристически настроенных издателей. Это, если угодно, наш манифест, и, если хотите, — ваша программа, господа ученые.

Единая и единственная мировая идеология сейчас — идеология труда: коммунистического, социалистического, капиталистического — какого пожелаете. Да и феодальный труд сгодится, и рабский. Рабский — плохо, феодальный — отвратительно, социалистический — ужасно, коммунистический — просто омерзительно, капиталистический — very well или дело дрянь, не важно. Важно, что переноса акцент на эпитет и ведя борьбу вокруг его характеристик (хорошее плохо или плохое хорошо? — вот вечная идеологически-философская дилемма), идеологи всех времен и народов оставляли в фундаменте труд в качестве незыблемейшего общего места. Людей научили количеством труда измерять свою самооценку. И, ерго, необходимо, например, государство, чтобы воздавать “по труду”. Ну и так далее. Или еще что-то.

А что если выдернуть этот могильный камень из всей постройки? И вложить на его место игровой регрессию mobile? Вся идеологическая пирамида рухнет? И ой-ой-ой — все мы погибнем под ее обломками? Не рухнет пирамида Хеопса, созданная рабами общего труда, грубо говоря, республиканцами, от зудящего снизу и сзади игрушечного вечного двигателя, а вот кое-какая грязь с вершины и посыплется, тут спору нет. Но как его выдернуть? Камень такого общего места — не Петр, его Апокрифом от Петра не выковырнешь. Будь ты сам Петр Первый, который, конечно, игру любил и европейский театр на болотных костях труда, конечно, возвел (о чем см., кто желает, мою статью в № 2 Апокрифа). Но ведь, чтобы быть Петром Первым, нужно хронически не быть сыном Петра Первого, а это уже сложнее, учитывая традиции отечественного патернализма.

Вот к чему ведет тупо-серьезная дилемматичность нашей жизни. Убей отца или он тебя! Убей труд игрой или игру трудом. Единицы, осознавшие губительность монады труда для человеческого организма, вынуждены скрывать свое открытие, чтобы удалось как-то пожить-поиграть за счет труда других. Получается снова очень серьезно и напряженно, ибо трудиться в игре, чтобы молчать, скрываться и таить в себе этот маленький

1 А кто, собственно, не трудится? Волк? Барсук? Или муравей? Всякий табун — в труде, всякий паразит — работает.

парадокс, приходится не меньше, чем тем, кто трудится, не подозревая об общей гориллообразности своей жизни.

Короче, от общения (№1 Апокрифа¹) мы, преодолевая трудовую сумму идеологии, двинулись прямым к игре (№2) и так возвысились духом иронии, что теперь срочно потребовался радикализм любви. А что? Что, собственно, радикальнее любви? Тем более любовь, как говорят делегаты, дитя свободы, вот и наш номер (три) — первый, по большей части созданный после тех трех дней, которые в позапрошлом августе потрясли мир...”

ПЕШКОВ. На этом патетическом месте моя вводная прямая или прямоведущая речь естественным путем прекращает течение свое, и я вызываю на помост специалиста по любви, главного редактора издательства “Лабиринт”, кандидата филологических наук, главного редактора культурологического журнала “Апокриф” (а что, мог же Махов в №2 вызвать менее известного у нас Евреина и ничего — тот явился не запылелся: в смокинге) незабываемого Александра Евгеньевича Махова.

МАХОВ (выходит на помост просценума, низко кланяется и читает стихи).

Нет, я все не отдам за игру,
И игру не отдам за все.
Пусть и вылечусь, пусть и умру,
Я сыграю свою игру.

А они — всюду вечный секс
На подмостках его заваз.
И играет смущенный плебс
В карты, деньги, вино и секс.

И пусть этот любовный жар
Он по правилам пронесет,
Ненавижу любовный жанр
От него нам и боль, и жар.

Ну а мы? Мы грустим впотьмах,
Своровавши чужой навоз.
Двое в комнате — я и Махов.
Как всегда мы сидим впотьмах.

(Озадаченно замолкает.)

ПЕШКОВ (заливисто смеется).

МАХОВ (сходит со страниц журнала и плачет горько, пия бренди).

ПЕШКОВ (говорит с последней прямоотой, но из-за громкого плача Махова разобрать ничего нельзя).

МАХОВ. Чьи стихи? Твои что ли?

ПЕШКОВ. А что, не нравятся?

МАХОВ. Во второй строфе вдруг появляется некто “он”, в третьей какие-то “они”, в четвертой — поднадоевшие мы. В трех лицах запутался.

ПЕШКОВ. В двух. Тебя-то тут нет.

МАХОВ. Дешевый каламбур. Не обращаю внимания (не обращает внимания).

ПЕШКОВ. Каламбур не суфлерский бур.

МАХОВ. Это напоминает еще каламбур В. Соловьева о буре из “Трех разговоров”.

ПЕШКОВ. Он про нас. В “Апокрифе” нет ни белого, ни черного — только бурое.

МАХОВ. Наши диалоги?

ПЕШКОВ (включает кусок диалога, ранее показанный Махову, но не снижавший его благосклонности в смысле продолжения). В первых двух “Апокрифах” наши диалоги возникли в известной мере случайно...

МАХОВ. Протестую. Это тот случай, когда производственная необходимость, экономическая целесообразность властно и напрямую вторглась в духовную жизнь.

ПЕШКОВ. Настолько напрямую, насколько это не снилось даже Марксу-Энгельсу.

МАХОВ. Но вот твоему Волошинову-Бахтину отчетливо приснилось в “Марксизме и философии языка”. Как это: все формы и жанры речевых взаимодействий определяются производственными отношениями...

ПЕШКОВ. Если вообще не классовый борьбой в знаке...

МАХОВ. Выходит, мы осуществили теоретическую идиллию Волошинова в процессе катания роли и ротания первых Апокрифов? Через финансы все свелось к базовой энергетической отрасли? Привет товарищу Черномырдину...

ПЕШКОВ. Неужели это все, что осталось от новой ментальности, о которой так долго говорили за

¹ Отступая от темы, замечу, что библиографически серьезный журнал “De visu” в своем №1 не заметил нашего №1, то есть как таковой №1 заметил, но не заметил на нем №1. Благо тираж у нашего №1 небольшой, поди проверь №1 “De visu”, как у них там со зрением. Кстати, кроме арабской цифры “один” (конечно, кто ж это оборот титула с содержанием читает?! “De visu” вообще ничего нового у нас не заметил: воочию дались лишь С. Булгаков и А. Лосев. Знакомые все лица! А кто такие эти Томас Манн с его впервые переведенной на русский язык “Иронией и радикализмом”, В. Турбин с “16 июля 1993 года” (не “Ледокол” ведь), Р. Гальцева и И. Роднянская с их “Summa ideologiae”, Ж. Эллюль с “Империей бесчувствия” и Дж. Кинневи с “Греческими риторическими истоками христианской веры”? И уж совсем не ясно, кто такие этот В. Гомбрович с его “Девственностью” или В. Коллегорский с его “Подражанием древнегреческому”, не говоря уже о наглецах Махове со “Звукомызыкальной эротикой романтиков” и Пешкове с программным “Человеком общающимся”. В связи с вышеуказанным предлагаю сделать девизом “De visu” герменевтически толкуемую мораль “Хоть видит око, да зуб неймет”. Впрочем, пусть тамошние издатели не обижаются и не объявляют нам войну, продолжая в упор не замечать “Апокриф”. Мы же готовы объясниться им в любви, ибо знаем, чего их тернистый труд стоит!

ромом. Неужели вся наша пресловутая игровая неопределенность вызвана лишь колебаниями макро- и микроэкономической конъюнктуры?

МАХОВ (не глядя и не слушая). Протестую раз и навсегда. Неопределенность вызвана только нашей божественной сущностью и ничем больше. По всем макро- и микропоказателям нам определенно бы следовало умереть с голоду (...).

ПЕШКОВ (...). Так я и думал, что ты это место вырежешь как слишком автобиографичное.

МАХОВ. Да, автобиографизма многовато...

ПЕШКОВ. А тебе подай побольше агиографизма? Нет: если хочешь понять свою пошлую "новую ментальность", от биографизма не уйти.

МАХОВ. Тогда вернемся к биографии "Апокрифа". Согласен: диалоги в первом номере были вызваны в какой-то степени производственной необходимостью заполнить пустые места, окна после снятых слайдов.

ПЕШКОВ. То есть наши диалоги — это цвет в снятом виде? Но можно было заменить все черно-белыми рисунками.

МАХОВ. На нашем месте так поступил бы каждый, идя на поводу у судьбы...

ПЕШКОВ. Опять агио...

МАХОВ. А почему мы должны этого стесняться? Ну да, не смотри на меня. Да, мы — титаны. Апокриф нуждался в титанах, и вот, пожалуйста. Я просто не вижу других объяснений происходящему. А значит, их — нет.

ПЕШКОВ. Bravo, истинно титаническое рассуждение. Опять у тебя что ли трудности с реальностью?

МАХОВ (внезапно выходя из себя). Нет, черт возьми, это у реальности трудности со Мной, великим и прекрасным. Я знаю, что делать с этой старой шлюхой, это она никак не сообразит, кто виноват.

ПЕШКОВ (издеваясь). Кого это ты называешь старой шлюхой? Неужто нового...

МАХОВ (кричит). Надоел со своей политикой! У нас культурологический журнал. Куль-ту-ро-ло-ги-чес-кий!

ПЕШКОВ (шипит). Но полис — тоже культура.

МАХОВ. Вот когда феномен политики будет у нас темой номера, тогда и поговорим.

ПЕШКОВ (лукаво). После переговоров?

МАХОВ (покорно). Ну да, да, я признаюсь, что не знаю, что сказать об этой чертовой любви. Тут Дон Жуан сформулировал не первое, а последнее слово любви. Переговорим после...

ПЕШКОВ. Боже, что я слышу? Ты, специалист по любовной риторике романтиков?

МАХОВ. Тут можно говорить вокруг любви, не о самой любви. Вот звукомузыкальная эротика романтиков — это я понимаю, тут звуки, инструмент, здесь темы, предметы. Есть с кем поиграть, есть о чем и после переговорить, а любовь вообще — на эту тему уже написан "Пир".

ПЕШКОВ. Так почему бы нам не устроить "Пиру" пир?

МАХОВ. И добиться пирровой победы? Нет, уволь.

ПЕШКОВ (подавая Махову его трудовую книжку). Ты уволен.

МАХОВ (молчит, выбирая выражение).

ПЕШКОВ. Насильно люб не будешь. Ты волен у любви взять выходной, но апокрифический лабиринт строгает свои ложки без выходных. Заметь, что все, кто выпадает из пойсиса-делания "Апокрифа", из "Лабиринта" увольняются. Мы работаем на "Апокриф", а не на членов "Лабиринта".

МАХОВ. Айрапетян же разъяснил нам, что "любить" значит "хотеть иметь", а что, разве я хочу тебя иметь, даже в тонком смысле? Сыт тобой по горло и твоим этим третьим Апокрифом любовным. Не вижу здесь серьезной игры.

ПЕШКОВ. А если во всем видеть игру, она потеряет свою прелесть. Невидимый миру зритель, этот третий в диалоге, может быть, а может и не быть. Но если ты хочешь иметь Апокриф, любить тебе все равно придется. И как бы мы ни восхваляли легкость в первом Апокрифе и ни скользили по замороженной вселенским холодом поверхности в игре узоров во Втором, все-таки нам придется погрузиться в любовную глубину в Третьем.

МАХОВ. Ну да ладно, если ты считаешь, что любовь это дно жизни, я готов на погружение.

ПЕШКОВ. Хорошо. Но я начал было говорить о значении наших диалогов в структуре журнала.

МАХОВ. Демонстрировать кухню? Типично постмодернистский прием!

ПЕШКОВ. Это не презентация кухни, а осмысление события. Повторяю: первый диалог был в некотором отношении вынужденным, второй уже чисто внешне прошел весь номер, но стал совершенно цельным произведением (слава тебе!), третий же — впервые! — пишется до завершения корпуса самого журнала и, значит, сам носит характер демиургический, определяет, что же будет в номере, где будем прокапывать любовную жилу...

МАХОВ. И, следовательно, большая часть его должна предшествовать всему остальному?!

ПЕШКОВ. Скорее всего да.

МАХОВ. А вообще стоит ли эта овчинка выделки? Не бросить ли ее и не перейти ли прямо к тайне? Ведь любовь требует тайны, поэтому писать о ней невозможно в такой прямой, явной форме. Диалектиче-

ский диалог заводить что ли по поводу понятия “любовь”? Вот “тайна” требует любовного подхода, и значит, о ней приятно говорить вслух. А любовь — что мутные воды Ганга — темна, таинственна...

ПЕШКОВ. Если тебе не нравится глубина, можно представить любовь как восхождение — к Голубому Цветку, Абсолютному Эросу, к чему хочешь... Но спускаться легче, чем подниматься. На одной старинной порнографической гравюре вагина изображали в виде водоворота, бурно увлекающего в бездну крохотных барахтающихся мужчин.

МАХОВ (с внезапно пробудившимся интересом). Да-да... И у Феллини в “Городе женщин” Мастрояни мчится вниз на каком-то бобслее с парой обязательных курочек. Такой символ... нисхождения.

Вдруг становится видно необычайно далеко — вверх и вниз.

ПЕШКОВ (задирает голову, Махов с опасением заглядывает через парапет, где в дымке виднеется долина, усыпанная Голубыми Цветками).

МАХОВ. Все же эта открытая обнаженная глубина кажется мне банально плоской. Такой же плоской, как и пресловутые горные вершины, которые ты разглядываешь. Оставим их спать во тьме ночной. Нет точки, с которой любовь сейчас была бы интересна.

ПЕШКОВ. Но ведь женщины...

МАХОВ. При чем тут женщины? Вспомни снова “Пир” Платона. Много там женщин?

ПЕШКОВ. Мало. Но мы-то гетеросексуальны. Почему бы нам не интересоваться женщинами в любви.

МАХОВ. Тогда пусть женщина об этом и напишет. Ольга Борисовна Вайнштейн.

ПЕШКОВ. Прекрасная Ольга напишет о прекрасных женщинах романтизма. Откроет их тайну? Ведь все тайное в любви становится явным. Спорим, не напишет?

МАХОВ. Слушай, а ты не путаешь любовь с порнографией?

ПЕШКОВ. Что значит я путаю? Она сама в этом путается. Любовь предполагает зрителя. Третий тут нужен не меньше, чем третий в диалоге.

МАХОВ. Но третий как бы и лишний. Двое дерутся, третий не лезь!

ПЕШКОВ. Да, но ведь надо, чтобы было, кому не лезть, надо, чтобы было от кого прятаться или кому показываться. Вспомни Гомбровича.

МАХОВ. Гомбровича надо вспомнить и опубликовать здесь отрывки из его дневников. И Дени де Ружмона — автора замечательной книги о любви в европейском мире.

ПЕШКОВ. А как же Вульф, наш российский Казанова? Давай что-нибудь из его дневников.

МАХОВ. Нет, никогда, они обязательно выйдут в издательстве “Художественная литература”, для которого я их подготовил. Зачем же их печатать?

ПЕШКОВ. Согласен. Тогда надо что-нибудь взять из Евреинова... Но почему такая тоска? Почему эта тема сопровождается тоской? Казалось бы, любовь. А вот тоска.

МАХОВ. Потому что я не хочу. Я прячусь от тебя и твоей любви в форме плана: исчезаю с демиургического уровня и уменьшаюсь до простого автора и переводчика — прочь из андрогинных объятий! (стремительно сокращается до разряженного полужирного петита, которым набираются фамилии авторов в оглавлении “Апокрифа”).

ПЕШКОВ. Единорог плюнул с гордостью и бросился бежать с такой скоростью! Не хочешь — как хочешь, а я хочу.

Голос Махова. Иметь.

ПЕШКОВ. Иметь, и меть, и мать. И быть.

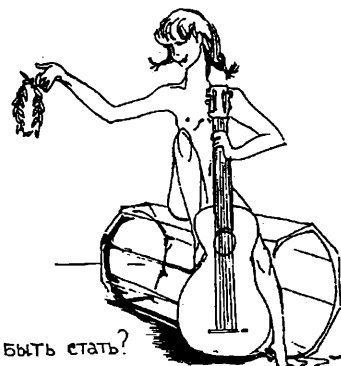
Голос Махова. Медь или не медь — вот в чем вопрос!

ПЕШКОВ (в ужасе). Ведь медь? Тридцать серебром или тридцать три медью? В преддверии любви третьего номера! Бес-дарная бес-конечность лукавых дилемм... (тут Пешков перестает читать и начинает писать).

МАХОВ просто хотел сказать своим появлением, что игра вообще-то трудна, а любовь — такая игра, которая требует такого труда (такой скорости!), что ничего тут не продихотомизируешь. Специфика игры теряется, и мы возвращаемся в реальный труд прямиком из игрового разгула. Да, возможно. Любить трудно. Но и быть трудно. А иметь просто необыкновенно трудно, если ты не бог. Но кто, собственно, сказал, что трудно стать богом?

Трудно быть богом, но стать-то кто мешает?

СТАЛО БЫТЬ, СТАТЬ!



Стало быть стать?

ЖЁЛТОЙ ПРЕССЫ

(а впрочем,

возможно, я что-то путаю, и эта пресса называется по-другому)

ЛЮБОВЬ:

ФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА

(передовая статья в истории написания ее черновиков, или черновик перед фрагментом и афоризмом, или к возможному спору с главным редактором "Апокрифа" на предмет того, что а п о к р и ф и ч н е е)

Черновик первый /3 — 18 августа 1991 г./

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕФЛОРАЦИЯ ВМЕСТО БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

(Sex-press-digest. "Отечественные записки". — Т.1)

Черновик второй /октябрь 1992 г./

БОЛЬШОЕ ПОЛОВОДЬЕ ИЛИ СЕКС БОЛЬНОЙ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Черновик третий /даты рождения и смерти неизвестны/

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ФРЕЙДИНА: ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ!

(рассказ о том, как в культуре сексуальная революция споспешествует революции риторической)



Черновик первый

(3-18 августа 1991 г.)

Социальная
дефлорация вместо
Бархатной
революции.

А. Мотивы секспрессы

1. Техника
2. Сексопатология
3. Риторика и культурология
4. Антигиталитарная направленность
5. Анекдоты

- 6. Фотографии
- 7. Эротическая проза

В. Формы изданий

- 1. Брошюры
- 2. Еженедельные и нерегулярные газеты
- 3. Журналы
- 4. Книги
- 5. Календари, брелоки, карты игральные

С. Способ подачи текста

- 1. Дайджест
- 2. Переводы
- 3. Авторский текст

Д. Место издания

- 1. Прибалтика
- 2. Белоруссия
- 3. Москва

— На 1990 год пришелся взрыв пены эротической печатной продукции — календари, карты и пр. К лету дошло до открытой продажи порнографических карт с кооперативных прилавков. Указ президента несколько сбил пену, а эротическая волна в печатной продукции стала более глубокой.

— К лету 1991 секслитература потеснила с первого места в свободной прессе литературу политическую. Рублевый оборот секс-литературы явно превысил оборот политической литературы. Это симптом?

— Лишь некоторую конкуренцию секс-литу составила уфологическая литература (астрология, хиромантия, мистика, гороскопы и т.п.). Что это? Элементарное замещение коммунистической идеологии в массовом сознании? Снятие 60-летнего табу с сексуальных вопросов? Или?

Говорят еще, что секс-революция докатилась до России. Если так, то это явление положительное, ибо результатом (прямым или косвенным) сексуальной революции на Западе стал (см. "Апокриф" №2) принципиальный отказ от революции социальной и бурный рост качества жизни.

Существует ли какой-то механизм переключения массовой сексактивности в революционную соц-активность? По Фрейдю, да. Тоталитарный режим и есть умелое направление подавленных сексуальных эмоций в русло, угодное правительству, развитие общенародного садомазохистского комплекса.

Что показывает история России? Первая секс-революция последовала сразу после первой социальной революции ("Андрей" №1). Неудача? Удача: игровой момент истории сумели свести в секс, а делу (результатам революции, если угодно) сумели дать законную судебность (Столыпин). Не успели лишь соединить сексуально-творческую игру интеллигенции, которая в большинстве своем отказалась от сурово-детерминистской игры марксизма, и деловую активность крестьянского сословия в совещательном осуществлении. Или не уловили острой нужды такого соединения. Серебряный век нашей литературы, весь построенный на сексуальных играх интеллигенции (впрочем, как и золотой, построенный на секс-играх одного Пушкина и небольшой К*), слишком театрально отгородился от энергии частного предпринимательства, воспринимая последнее лишь как бездонную бочку меценатства и не возвращая взятых денег идеологической поддержкой и созданием пробуржуазного общественного мнения, гражданского общества и т.д. и т.д. и т.п.

А что у нас? — Да, анти тоталитарная направленность и "свобода личности" как идеология некоторого слоя секспрессы ("Андрей", "Еще" и др.).

С другой стороны, возможна и попытка упредить социальный взрыв поневоле индивидуальной секс-революцией каждого возможного участника этого взрыва...

Разница этих шести "перестроечных" лет и тех шести послепервореволюционных в том, что секс-революция сейчас уже не отслоилась в одной среде интеллигенции. Она стала всеобщей (прежде всего кино, потом книги, газеты, видео) социально, но естьстораживающая градация — возрастная. Конечно, вроде бы естественно, что секс-бум коснулся на практике больше всего поколения двадцатилетних. Дай бог, чтобы они стали нашей третьей, предпринимательской силой, развертывающей реформы в сторону экономической свободы. Получается ли у них? Пока не ясно. Ясно, что как раз они зарабатывают на самой секс-революции, заставляя раскошиться какого-нибудь солидного мужчину. Эротические деньги идут на накопление частного первоначального капитала? Дай-то бог. Пока одна часть населения оплачивает собственную секс-революцию из кармана другой части сексуально активного населения, средства на серьезную секс-революцию не имеющего. Этих средств еще недавно хватало только на сами эротические издания, ибо больше покупать как раз нечего, а для "хорошего секса" ("ЭС" №2) или "положительного секса" ("Венера" №3) точно так же нет материальной базы, как не было этой базы для построения коммунистической надстройки для всех, а не для избранных. А кстати: избранные, оказывается, давно взяли в свой коммунизм и секс ("Еще", "Спид-инфо"), правда не без тривиального свинства,

связанного с естественным отбором высших эшелонов власти. Так что просто “хороший секс” по-советски (без спидофобии) сейчас 1 — 1.5 руб. — за оргазм покупки.

Однако что же это за сексуальная революция? Не похоже совсем на Париж 1968. Там-то именно молодежь вышла на улицы. А у нас? По чуланам, салонам, подвалам и скверам — разбежались. Получилась даже не контр-революция, а стоп-революция. Хорошо ли, плохо ли, но возможность у нас “бархатной” революции была парализована, и сделано это было через средства массовой коммуникации вполне сознательно: социальная активность молодежи была заблокирована сексуальным бумом. Кинофильмы со множеством эротических сцен, видео-эро и просто -порно. Поколение двадцатилетних ненавидит политику и выбирает секс!... “Бархатная” революция могла состояться еще в 1989, но молодежь “выбрала” секс. Куда только девались строгие милиционеры — целый год Москва была наводнена календарями с фотографиями все более и более обнаженных женщин. И, наконец, шедевр попустительства обычно столь строгих властей — порнокарты. Да, дорогой читатель, те самые колоды, что обычно в нашем отечестве продавали немые (или якобы немые) в поездах, теперь появились на вполне официальных кооперативных прилавках, изданные типографским способом. Все это молчаливо культивировалось до осени 1990 года в качестве достижений свободы печати, результата политики гласности. Культивировалось, разумеется, вместе с нарастающим недоумением-неудовольствием по поводу столь вопиющего бескультурья. Такое культивирование излишеств секс-прессы исподволь готовило общественное мнение к зимней передозировке гласности. Реакция типа “Совсем обнаглели, распоясались, бесстыдники” давала политической реакции естественную “народную” опору. Сей массово-коммуникативный трюк удался властям на славу! Да и усилий-то почти не потребовалось. Лишь закрой глаза или отведи, да тихонечко поощри типографии (а можно еще заработать на этом поощрении). Да согласись с тем, что раз порнофильмы спецуказом не запрещено смотреть, значит разрешено... Да, задешево провели секс-революцию, вокруг пальца молодежь обвели и два года власти своей сэкономили.

Вы думаете, я против секс-революции? Нет, я за. Только не революция это вовсе, а — выражаясь сексологически — поллюция, прикрытая СЕРЫМ ШИНЕЛЬНЫМ ОДЕЯЛОМ ВЛАСТЕЙ.

или БОЛЬШОЕ ПОЛО-ВОДЬЕ СЕКС-БОЛЬНОЙ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Черновик Гидроци
(Октябрь 1992г)

ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ —

значит хотеть иметь, то наша третья буржуазная революция легко объясняется неудовлетворенным еще тогда, в 17-м, семьдесят лет пробивающимся сквозь коммунизм равенства страстным желанием: иметь. Это там, на пресытившемся обладанием всем и вся Западе, философы выстраивали сытую оппозицию иметь или быть. А у нас одни и те же пролетарии и были ничем, и не имели ничего. Им-то предложили стать всем, так сказать, по высокой официальной линии, а по линии телесного низа это прямо вылилось в “грабь награбленное” — “хочу иметь все” и вся любовь. У большевиков любовь оказалась и сильной и страстной, и, возможно, на первых порах (кое у кого!) вполне чистой (хотя что значит это слово по отношению к любви?), они бескорыстно любили власть, что художественно показал Оруэлл и подробно описал в “Социуме” А. Фурсов (“Кратократия”). Ради того, чтобы иметь власть, они могли иногда позволить и другим иметь что-то (НЭП) или наоборот — не позволяли иметь ничего. Т.е. То есть: они управляли любовью людей! Обладая суперстрастью, любовью в квадрате (хотели иметь то, что давало возможность или невозможность другим хотеть или не хотеть иметь что-либо), они играли эросом в его обычном половом значении (по Платону “хочу иметь вторую половину себя”). От доведения в 20-е годы до материалистического абсурда стартовавшей еще в начале века в России сексуальной революции через холодный аскетизм 30 — 50-х до всеобщего ханжества 60 — 80-х, когда партийная элита развлекалась с саунами и девочками, а беспартийная сволочь довольствовалась подворотнями и общежитиями и при этом сама себя всячески обличала перед лицом начальства.

С середины 80-х все внезапно полюбили свободу, и вдруг выяснилось: чтобы быть свободным, нужно иметь не столько свободу, сколько деньги, заводы, дома, пароходы. Ну для отделившихся от СССР — ясно, они национализировали первую букву бывшей страны и стали вроде иметь свою часть, а Россия что делать? Мы все вместе и так все это имели, и вот как бы все это по-отдельности заиметь? Заводы, дома, пароходы как поделить? Только через денежно-финансовый эквивалент. Ваучер. И только быстро. Пока еще есть что делить. А то бывшие большевики у экономической власти уже давно поняли, что всего иметь им уже не удастся, но по частям это все разобрать или оставить у себя можно. Вот вам и любовная коллизия между Гайдаром и Черномырдиным, Ельциным и Хасбулатовым, Черномырдиным и кем там еще, читатель?

А внезапно образовавшаяся любовь к сексу имеет несколько функциональных смыслов.

Первый. Эрос как пробуждение индивидуалистически-собственнического инстинкта. Женское тело это вроде бы (изначально! ну не совсем изначально, а изначально-культурно) то, чем не принято владеть всем вместе. Дай каждому свое. Что тут казалось бы нового? Семья — ячейка общества. Но советская симметризованная работающая семья. Кто там кем владел? Никто никем. Все (и муж, и жена) друг другу отдавались, но друг другом не владели. Они были расписаны, прописаны друг к другу, но вовсе не обручены, не получали друг друга перед лицом Бога, как в романе Виткевича. Получалось, что в советской семье “наука страсти нежной” вовсе и не нужна. Могли ли мы предложить своим женам свою новую любовь (всякий раз *vita nova*)? Например, хочу иметь тебя, дорогая, так-то и так-то! Да я другому отдана, — скажет она (или в лучшем случае, а может быть и в худшем — подумает). Другому: работе, детям, государству. Я выполняю свой супружеский долг, а вовсе не хочу иметь.

Вот эти социалистические устои и были распатаны половозрелой (1989 — 90 гг.) гласностью. Оказалось, что любить женщину — целая наука, искусство и труд упорный (“Взаимость”, “Мистер X”, “Секс-дайджест”, “Эротикон”) и не только половой. Оказалось: чтобы любить женщину, нужно самому быть чем-то особенным, а значит иметь (по крайней, самой меньшей, мере место для эротических утех). Это наводило на мысль о легитимности частной собственности со всеми буржуазными радостями. То есть первый пласт эротической литературы (“Взаимость”, “Спид-инфо”, “Секс-дайджест”, “ЭС”) имел вполне революционный смысл.

Но был и второй. Контрреволюционный и даже провокационный смысл разгула эротической и порнографической литературы в 1990 году. Большевики сквозь пальцы смотрели в это время на порнографию. Москва завалена была дешевыми (не в смысле стоимости) бульварными порногазетами, календариками с изображением демонстративно обнаженных девиц (что на том уровне общественного сознания однозначно воспринималось как порнография). Все это в самых людных местах. Дети, с любопытством вззирающие на это, старики, замороженные или плюющиеся (изыди, сатана!). Явно власть пыталась скомпрометировать юную буржуазию в глазах честного советского общества. Дали обществу повозмущаться, а потом лицемерно запретили, чем лишь подняли цены и стимулировали дальнейшее производство “клубничного” товара.

Но, думаю, еще тогда был и другой замысел, стратегический: классическое вытеснение по Фрейду, но наоборот. Политические страсти вытеснялись сексуальными, ненависть к тюремному режиму сублимировалась в любовь к красивой половой жизни. И это удалось, на мой взгляд. Молодежь ведь не принимала активного участия в политической жизни, как и сейчас не принимает. А ведь в 1990 было что защищать: (500 дней!) была программа неплохой исторической альтернативы. Поднажать бы тогда на правительство — ан нет, все силы сексу!

Правда, новое половое братство сработало в августе 1991: карнавално-сексуальная атмосфера тех трех дней отмечалась многими. Вообще идея свободы в молодежной среде, видимо, ассоциировалась с идеей сексуальной свободы (а в сущности, от чего, кроме биосоциальных запретов, освободиться двадцатилетним?). Когда девушки ложились “под танки”, это был не столько социальный, сколько социо сексуальный акт (еще Высоцкий заметил, что “в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки”). И танки, управляемые ведь той же социальной группой, конечно, останавливались: сексуальная сила

ПОБЕДИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ!

Черновик третий
(даты неизвестны)

**Здесь вам не Фрейдины:
Здесь климат юной!**

*или о том, как в культуре сексуальная революция
преобладает революции риторической*

**в культуре
сексуальная революция обычно
предшествует революции риторической!**

Да хоть бы и поверхностно скользить по фактам: полугласность '85 — гласность '88 — '89: наплыв эротики в МК, кино, видео — противостояние гласности и свободы слова '90: разгул эротики и порнографии в Москве — лето, осень '90: похороны 500 дней — антиэротический указ Горбачева (последние табу на эротический рынок) — начало '91: прибалтийская инициация, насилие над демократией — август '91: сексуальная революция у Белого дома! миг карнавалной свободы. Полная смена риторической парадигмы МК (свобода буржуазного слова). — Начало революций глубинной риторики человеческого общения: переход личности к риторике ответственного поступка.

Весь XX век европейская цивилизация в известной мере жила под знаком Фрейда. В первой трети века чуть ли не вся интеллектуальная элита или лечилась или училась у него. С тридцатых годов комплексное вытеснение сексуальной энергии в энергию социального разрушения, массовые управляемые психозы стали фактором

доминирующим (сталинизм, фашизм, новый курс Рузвельта, маоизм). Эта холодная война всех против всех начала кончаться в 1968, когда в Париже сексуальная революция XX века впервые нанесла моральное поражение контрсексреволюции мировых горячих и холодных войн.

Но: отсюда же и беды национализма, ибо сексуальное общение — семья — нация: путь, приводящий к новым внешним границам, если сексреволюция не дополняется революцией риторической, новым, внеидеологическим способом общения. Под идеологическим способом здесь понимается доминанта осуществленного познания (Бог, Идея), например, в противовес осуществляющемуся познанию античности (sex, Сократ).

1/. Тотемификация мифототем.

L ↔ не удалось Николаю ЖОТЗНАК

2/. а) Познавательный миф: 6 — 5 вв. до н.э.

б) Познание мифа (гностики, христиане).

с) Мифы познания (прогресс, логика, физика и др. науки, коммунизм и пр.).

В системах 1 и 2 поступок оказывается практически всегда побочным продуктом работы риторических взаимодействий на границах других сфер культуры, вытекая из сознания свершившегося факта. Таким образом, реальность действий человека носила в целом бессознательный характер, что идеально точно конструируется Софоклом в трагедии “Царь Эдип”. Действия управляются той или другой коллективной риторикой (миф, наука, идеология, etc.), но не являются предметом индивидуальной проработки в ответственной риторике (внутренней речи).

Кстати, до христианства о внутренней речи как системе ответственности вообще едва ли правомерно говорить. Тут Фурсов прав. Но то, что христианство решило все проблемы ответственной внутренней речи через индивидуальное обращение к Абсолюту (совесть), тоже весьма спорно. Христианство, конечно, было шагом на пути к риторике поступка, но вовсе не ее достижением. Таким же шагом была и греческая античность, и древний Рим, а христианство средних веков совсем по-другому, чем раннее христианство.

Коллективная риторика как система внешних запретов (табу) или система жестких предписаний.

Фрейд понимает проблему культуры как проблему ограждений, а проблему природы как возможность снятия этих ограждений. То есть действия бессознательно определяются принципом сексуального удовольствия, а сознательно публично трактуются в той или иной познавательной риторической системе: Такой классический зазор между словом и делом на своей вершине в средствах МК и привел к трагическим катаклизмам XX века.

Всякая сексуальная революция, например, та, что описана Бахтиным через Рабле и Достоевского в качестве карнавальной традиции, есть попытка человека сознательно встать по эту сторону принципа удовольствия, есть временная, утопическая попытка, вновь и вновь повторяемая народом.

Большевики сумели сыграть и на этом. Секс-революционный девиз античности “Хлеба и зрелищ!” Они сделали зрелище (сублимированно сексуальное) из всеобщей добычи хлеба — карнавал гражданской войны. — Идеал сексуальной свободы коммунизма со всеми прочими благами — реальность продолжения сексуальной революции начала века в 20-е годы, потом резкая сублимация с конца 20-х до 50-х. Затем плавное выпускание пара нецивилизованного секса в 60 — 80-е. И сексреволюция конца 80-х — начала 90-х.

Сейчас риторической революции не во что выливаться кроме как в риторикой поступка: изобретение такого своего слова, чтобы оно организовало дело в малом социуме, не разрушая по возможности социума большого. Все другие риторические варианты общения уже пройдены миром. Так что теперь остается: или пан (ответственный поступок, введенный в систему воспитания, включая — через МК — и воспитание взрослых), или пропал (классическая советская система коллективной безответственности).

Такая экономическая мера, как введение частной собственности, должна пониматься гуманитарно-воспитательно — как залог создания человеком ответственных речей, продуманных речевых действий, честного общения.

Риторика поступка — это, конечно, еще не глобальный “пан”, но во всяком случае уже не совсем пропащая пани, которая предлагает социуму (от семьи до науки и далее везде) элементарные нормы речевого общения. Причем семья как матричная модель нормального движения кризиса в речевом общении (т.е. такого кризиса, который плавно уводит от конфликта). Семейная матрица не только наиболее наглядна для риторических рекомендаций, но и вообще наиболее соответствует человеческой природе, как бы задает ему стимул взаимодействий. Семья есть почва наиболее социально значимого творчества, творчества сексуально-эротического (включая и воспитание детей).

Миф (тотемиф). “Любовь” досемейная, тотемная, типологически нечленимая.

Культура — это, говоря языком Бахтина, зона нераздельности (единства!), но и неслиянности типов ситуаций общения.

Дикость (но уже не животность!) — это принципиальная невычленимость этих типов, их единичного единства в мифо-тотеме. Проблема описания дикости языком культуры есть проблема предвидения. Мы видим именно мифологическое разнообразие в тотемифическом тождестве.

Ср. родственные явления типа “Миф моей жизни” Я.Голосовкера, миф жизни ребенка, допонятийная дикость некоторых слоев населения (армия!?), тотемистическое пьянство, чревоугодие, сексомания. Эта первобытная риторика неизбежна (Бахтин описывает ее как народно-карнавальную жизнь тела-низа) и у современного человека! Риторика поступка учитывает всю глубину человеческой истории в homo verbo agens.

P.S. Исследование сексуальной революции — дело сомнительное. Мало того, что вещь довольно интимная, так еще революция... Да еще в России, где одни называют революцией то, другие это... Даже более: в Советской России, где Совет да Любовь.

Я простодушно пытался спрашивать у молодых: “А есть она, секс-революция? Кто ее видел?”, но определенного ответа не получил, может, не у тех спрашивал. Так что секс это такая материя, что с трудом дается нашим исследовательским ощущениям... Впрочем... Нет, так тоже не дается.

Изрек я это и задумался (хороший стиль!). А что если на место секса поставить другой гуманитарный предмет. Например риторику, способ речевого общения. Кто и когда наблюдал и описывал риторическую революцию? И что, она более открыта, чем секс? Ничего подобного: все культурное в человеке скрыто, все интересное и важное нужно разгадывать.

Вот, раз уж вспомнил (чисто случайно, конечно) о риторической революции, то для меня она гораздо более очевидна. Даже не только эта последняя, антикоммунистическая, вообще череда риторических революций от сотворения мира. Хотя, разумеется, и сексуальных революций было больше, чем та, что в XX веке.

Но вот, как ни странно, секс изучать все-таки легче, чем риторику. Почему странно? Да потому что секс все-таки скрыт, к любому встречному в постель не залезешь, а если и залезешь, то что? Ничего. А речь, общение, переговоры и т.п. действия можно наблюдать повсеместно. Тогда почему секс — легче? Больше вторичных материалов, больше теоретических высказываний, больше публикаций, больше книг. Короче, есть что гуманитарно обозревать. А речевое общение? Кто его замечает? И тем не менее именно речь с помощью секса формирует и поддерживает самое любовь.

Ввиду вышесказанного кончу гуманитарный обзор любовно-бульварных текстов анализом слово “филология”. Обычно филологию переводят просто как любовь к слову, но такое калькирование совершенно выбивается из парадигмы. Почему тогда “психология” не переводится как “душа слова”, а “эмбриология” как “зародыш слова”? “Биология” же — просто “жизнь слова”? А если расшифровать по традиции, то естественно напрашивается “наука/о/ любви”. А “любовь к слову” — это нынешняя (последних двух — много трех-веков) формализованная изнанка классического *ars amandi*.

Да, да, — повторяю я с безумием маньяка снова и снова (и сам начинаю верить), — все, буквально все, что наговорило человечество за тысячелетия своего существования — это о любви, не о сексе лишь — вопреки Фрейдю, а о любви. Все было о любви, с самого тотемического начала возникновения языка. Разумом в нашем понимании там еще не пахло, поэтому никакой это был не *homo sapiens*. (И труд тут совершенно ни при чем — какая-нибудь горилла или лошадь до сих пор успешно трудятся, но людьми от этого не становятся. Разве что свифтовские гуингемы.)

Так вот: первая сексуальная революция, отцентрованная половой акт в качестве главнейшего ритуального действия, была одновременно и революцией риторической, ибо появилось, собственно, о чем говорить. Риторика мифа была одновременно и риторикой коллективной любви. Не коллективной, конечно, — привет советскому подсознанию! — а всеобщей, единой и неделимой. Не обязательно к половому акту, о любви к еде, например, к питию.

Не стану вдаваться в детали и подробности этого процесса, там любви уже довольно мало для нашего современного взора, для них же — первобытных — ритуал нечленим: бог деталей всеобщ, *ἄρως* — “вообще желание, стремление, страсть” (А.Д.Вейсман. — С.533). Весь гомеровский эпос — это желание, стремление, страсть к Елене (“Илиада”) и к Пенелопе (“Одиссея”). Филология в строгом смысле слова.

Но вот: слова, слова, слова — их стало так много. И женщин много. И еды много. Утоленное желание — не желание, пресыщение — нежелание. Мифический эрос умер, но: да здравствует эрос! Тут Сократ с Платоном и подросли со своим стремлением к истине. Долей грязный эрос, даешь гордый (*ἴβη*) вид! Хотя, между тем, есть просто-напросто кушанье: шаг по-детски непосредственного желания к виду желаемого совсем небольшой, но это началась вторая сексуальная (и риторическая) революция под эгидой стремления к прекрасной истине, к познанию (красоты мира сначала). На этом этапе греки дифференцировали жен и гетер, а в дальнейшем христиане запретили желать (жену ближнего своего, но это частный случай), а стремиться советовали только к Богу, его же и познавали.

Так восторжествовала риторика познания, и с сексом в Европе стало сложно. Чтобы отвлечься от настоящего первобытного *общего дела* республик и королевств, увлеклись науками и в них преуспели, уходя от желанного настоящего то в прошлое, то в будущее.

Риторика мифа при этом никуда, конечно, не уходила: она писала человечеством неофициальную, альтернативную историю. Познание, знание было всегда как бы прогрессивной, светлой стороной подсознательного движения мифов. До поры до времени. До XX века, который недвусмысленно показал, что познание само по себе не способно справиться с мифом, как видимая часть айсберга не способна регулировать движение всего айсберга. Более того: инструмент познания легко может быть использован в угоду мифу. При этом познание усугубляет темную природу мифа и извращает ее.

Чисто познавательный миф (марксизм) оказался самым опасным из всех предыдущих. Запад успел (?) избыть доминанту замкнутого познания и вернулся к сексуальному мифу, что было осмыслено как сексуальная революция 50-х — 60-х — 70-х годов. Началась ли у них риторика поступка? Не знаю. Сексреволюция дополнялась мифом о советской угрозе, сюда ушла большая доля слов из возможной сферы частного,

семейного общения. Но не все слова. Возможно на Западе риторическая революция началась спонтанно вместе с сексуальной. Зато у нас в это время завершалась теория риторики поступка (Бахтин).

Так имеет ли место в России сексуальная революция в смысле массового овладения тонкостями индивидуальной эротики, которая попросту зовется любовью? Судя по тому, что более дорогая, чем “Аргументы и факты”, газета “Спид-инфо” по чьему подписчиков догоняет неуклонно эти самые “Аргументы...” (кстати, еще один нюанс: аргументы, факты, вдруг ставшие доступными “всем остальным”, если вспомнить анекдот эпохи перестройки, — это типичные термины риторики познания, которую в более или менее очищенном виде ускоренно и прошло российское общество, выползающее из коммунистического мифа), то да, имеет. Идет секс-революция по мотивам Запада 60-х — 70-х.

Сейчас у Запада и России есть шанс осознанно перейти к риторике поступка, отнюдь не исключаящего познание и миф, А УСПОКОЕННО ПОЛАГАЮЩЕГО ИХ В СЕБЕ.

МАХОВ (ВСЛЕДУХОДЯЩЕМУ С КИПОЙ ЧЕРНОВИКОВ ПЕШКОВУ).

Постой-постой! Тебе так просто не удастся уйти с передовой.

ПЕШКОВ (вздрыгнул, втянул голову в плечи, озирается). Это ты опять? Чего тебе надобно, старче?

МАХОВ. У меня как у главного редактора “Апокрифа” есть несколько замечаний к передовой статье. Имею я право человека высказаться? (Кричит.) Имею я право высказаться?

ПЕШКОВ (обреченно). Да. (Махов молчит.)

ПЕШКОВ (облегченно). Да. Да. (Махов молчит.)

ПЕШКОВ (уходит). Да. Да-да. (Махов молчит.)

МАХОВ. Уж и не знаю, как оценить публикацию тобой твоих же собственных черновики. С одной стороны, как демиург журнала, ты проявил неслыханную творческую мощь и волю: взял да и украсил номер таким доселе невиданным Голубым Цветочком! С другой стороны — как автор — ты вроде бы деградировал до импотенции и слабоумия, раз тебе уже не хватает мозгов, чтобы доработать собственный текст. Итак, ты возносишься и падаешь одновременно. Одновременно халтуришь и созидает великое. Одновременно перерабатываешь и недорабатываешь. Одновременно и не знаешь, какой “Апокриф” выкинет номер, и выкидываешь номер сам. Но ты не виноват, что завел нас в область парадокса, виноват “Апокриф”: он растет, а мы стареем, и сами уже не знаем, какую точку зрения относительно него нам подобает занять: то ли мы внутри, то ли вне его, то ли мы его — то ли он нас. Он — вполне самостоятельный организм, мы для него лишь смысловая, информационная, ну может быть концептуальная, питательная среда, не более... Вот, например, откуда взялся в начале этот

АНДРОГИННЫЙ БЛОК



ПЕШКОВ. А в конце андрогинный Александр Блок? Как символ русской контрсекс-революции.

МАХОВ. Да. Андрогин — мифологический лик любви, мы стартуем с мифа в его романтическом изводе (его и пишем, а Платона держим в уме), но миф (он и сам по себе в каком-то смысле андрогин) тут же на наших глазах распадается на изящную словесность и быт, духовное и телесное, плоть и суперплоть, физику и метафизику. Наш маятник будет раскачиваться между этими колодцами. А уж почему античная мифическая тень андрогина — утопическая тень удовлетворенного желания — после долгих мыканий появляется в конце концов под беломраморным обликом в России — об этом, наверное, может знать лишь саморазвивающийся “Апокриф”.

ПЕШКОВ. Все-таки авторы тоже должны за что-то отвечать. “Апокриф” — не ТОО.

МАХОВ. Согласен. Тут некто воспользовался своей авторской вменяемостью и украл идею из моего первого подзаголовка “Афоризм против фрагмента”, да еще и черновик сюда вклеил. Что, не мог что ли начисто переписать?

ПЕШКОВ. Не надо играть роль простака. Во всем виноват “Апокриф”: я обозревал желтую прессу, обозревал, а Он все не выходил и не выходил. Свести все эти обозрения в один стиль и одно время уже невозможно, а, кажется, есть некая прелесть в такой переключке времен.

Тебе же, конечно, удалось свести в целое андрогинные половинки твоего прошлого (которое, напомню тебе и читателю, вышло из печати в виде книги нашего издательства “Ранний романтизм в поисках музыки”) и настоящего (в виде текста, рожденного игрой с миром, а не с чужими текстами только). Но

ведь предмет твоего обзора несколько более определен и отдален во времени. Это в актуальнейшем настоящем пляска нестыкующихся половинок: мужчина и женщина вне квартиры; правительство и парламент вне закона; реформа и традиция вне истории.

МАХОВ. Деньги и товары вне гуманитарного смысла.

Ну ладно, хватит, врубай мою статью.
ПЕШКОВ. ДАЙ-КА Я ЕЕ ЕЩЕ РАЗОК ПРОЧТУ.



Александр Махов
Мужчина и женщина
в зеркале романтического афоризма
афоризм против фрагмента

В НАЧАЛЕ НУЖНО

предотвратить жанровое недоразумение,

а для этого я противопоставлю отчетливо афоризм фрагменту. Делаю это в пику тем, кто любит в романтиках их любовь к фрагменту и всю эту волнующую — в сущности пошлую — романтическую туманность, романтически безнадежно теряемую в романтической бесконечности. Настаиваю: я перевожу и публикую не фрагменты, а афоризмы. Их нужно читать как афоризмы, даже если они и выглядят фрагментами. Хотя, конечно, для вас, любители романтизма (я к их числу не принадлежу), афоризм будет не романтичен: это фрагмент романтически смешивает — а афоризм классически разделяет; это фрагмент замешан на многоточии — а афоризм любит точку с запятой; фрагмент — ночной, афоризм — дневной; фрагмент — отчаянное слияние пишущего с предметом за неумением разглядеть его толком и зафиксировать пером, а афоризм — холодное отстранение предмета на расстояние прищипки, когда можешь и хочешь в него лучше и цепче взглянуться, бессильное зависание парализованной и препарированной темы на кончике пера.

Фрагмент пьян, афоризм трезв; и все же это фрагмент ангеличен, а афоризм — сущий дьявол, дьявольская (именно что дьявольская) наблюдательность — *conditio sine qua* афоризма (ангела, но не дьявола можно представить себе слепым); фрагмент — прекраснотупый наплыв чувств от бессилия осрамившегося зрения, так и не ухватившего тему.

Одним словом, я хочу увидеть в романтическом афоризме то, чего от романтиков — этих симпатичных блуждателей в дебрях идеального — никто вроде бы и не ждет: логически-разделительной работы, твердости взгляда (зрение пусть будет выше музыки!), хитросплетенной сети оппозиций, в которую загоняется обезумевшее понятие, возвышенной и тонкой “игры различий”.

А у них это было. Мог же подслеповатый Кольридж в записных книжках с зоркостью хищника подметить: “Заплаканными глазами становятся ближе к обычной субстанции Плоти” (1808г. 10, V.3, N 3405).

“Когда Христос вернется, он будет един с Марией”

Казалось бы, путь афоризма — путь различий! — к теме мужчины и женщины романтику заказан. По той простой причине, что воображение романтика в этой сфере полностью захвачено идеей андрогина, надежно закрывающей вопрос о соответствующих различиях.

Миф об андрогине рассказан в диалоге Платона “Пир”. Когда-то существовал особый вид четырехрукого и четырехногого человека, совмещающего признаки мужчины и женщины. Андрогини обладали огромной силой и даже злоумышляли против богов, поэтому Зевс разделил андрогинов на половинки, которые тем не менее тоскуют друг по другу и стремятся соединиться. Причина эротического влечения — в древней андрогинной природе человека. Высказывается в “Пире” и надежда на восстановление идеального андрогинного состояния в загробном мире.

Прежде чем дойти до романтиков, идея побывала в разных руках. Так, согласно учению гностиков, первочеловек Адамас был бисексуален. В XVI веке Парацельс писал о Ребисе — бисексуальном существе, которое превращает серебро и другие металлы в золото: Ребис символизирует высшую ступень процесса алхимической трансмутации — “тотальность”.

Как романтики трактуют мотив андрогина, видно из христианизированной теории Эроса философа Франца Баадера. Согласно Баадеру, Адам, созданный Богом по собственному образу и подобию, был мужем и женой одновременно, целостным человеком. Его грехопадение состояло в том, что он возжелал женщину в себе — тогда и произошло разделение Адама и сотворение женщины; “образ Бога” был разрушен.

Цель человечества — восстановление этого образа, который Баадер называет “Софией”. Пока что подобного совершенства на земле достигло лишь одно существо — Христос... Этот круг идей отразился и в странном на первый взгляд прогнозе Фридриха Шлегеля, который я вынес в заголовок раздела (20, 217).

Миф у Баадера определяет и сценарий любовных отношений. Наивны, пишет Баадер, те романисты, которые прославляют мужественность и женственность — тем самым они прославляют в человеке зверя; на самом же деле любовь не потакание инстинкту, а его преодоление, не торжество сексуальной дуальности, но отречение от нее. “Мужчина и женщина должны помочь друг другу в том, чтобы преодолеть свою мужественность и женственность и взаимодополнить друг друга” (цит. по: 12, I, 268).

Так вот и сценарий любовного диалога: он наставляет ее на путь героической жертвенной эротики, эротики “взаиморастворения”, она страшится и недоумевает. Это — из романа Новалиса “Генрих фон Офтердинген”.

ГЕНРИХ. Ни одной мысли, ни одного чувства не могу я больше скрывать от тебя: ты должна знать все. Мое существо полностью сольется с твоим. Только безграничайшее самоотречение может удовлетворить мою любовь... Она есть загадочное взаимопроникновение наших потаеннейших и самобытнейших сущностей.

МАТИЛЬДА. Генрих, но два человека не могут так любить друг друга, я не могу в это поверить. Тогда ведь не будет больше Матильды. И не будет больше Генриха...

Как видим, идея андрогина для романтика — не утопия, но руководство к действию. Это идея-аргумент идея-доказательство — некое “достаточное основание” половой близости. Разве не в том смысл соития, что оно стремится в пределе к восстановлению блаженного андрогинного состояния, так неудачно утраченного? Кажется, и в реальности этот аргумент неплохо действовал на романтических подруг. Вот фрагмент “воспитательного” письма художника Отто Филиппа Рунге своей невесте (и будущей жене) Паулине Бассенге:

“Мы стоим из души и тела; подлинная основа того и другого — животворное дыхание в нас, и когда мы ясно и открыто осознаем это, в нашей душе возникает стремление пробить стену, которая отделяет одно от другого. Это стремление и это желание в нас — оттого, что есть внутреннее и внешнее, из которого мы стоим; это Я и ТЫ, которых может соединить лишь смерть, я хочу сказать, что по смерти они становятся единым, как тогда, когда пребывали в раю /.../

Если в школе мы разбрасываемся между тысячью вещей, достойных познания, то благодаря любви к нам возвращается цельность: таково извечное стремление к детству, к нам самим, к раю, к Богу — я хочу сказать, что это влечение к слиянию Я и ТЫ, чтобы они снова стали такими, какими были когда-то в Боге” (1803 г., 18, 139-140).

Изложение сумбурно (что сохраняется и в моем переводе), идея слияния модернизирована “под Новалиса” (единство обретается лишь в смерти!), так что контуры мифа едва просвечивают; но главное, что взяли романтики от идеи андрогина, здесь наличествует несомненно, а именно: то, чем Я, мужчина, отличаюсь от ТЕБЯ, женщина, есть несчастье, случайность, акциденция, субстанция же, закономерность, счастье и сущность — то, что Я стремлюсь к ТЕБЕ, чтобы стать единым. Различие — несчастье и ненужность, счастье — отсутствие различий.

На обломках андрогина рождается афоризм

Откуда же тут взяться афоризму как миру различений, если суть любовного романа — в обретении некогда обреченного единства, где безразлично гибнет различие мужского-женского? Чтобы ответить на этот вопрос, введем наше, сугубо методологическое различие: воля — и анализ (или, если угодно, рефлексия, созерцание, размышление). Идея андрогина нужна романтической ВОЛЕ, волегию — в частности и прежде всего, романтическому либидо, ибо у романтика и похоть нуждается в мифологическом обосновании. В сущности, воление романтика всегда направлено на достижение одной, воистину мифологичной цели: всеслияния, тотального всеединства, мира-цельности, во имя которого гибнет мир-различие. Слияние с возлюбленной в андрогин — лишь вариант этого фундаментального романтического воления, лишь отблеск мировой цельности — отражение желанного макрокосма в вожденном микрокосме. Но не случайно тут совсем где-то рядом бродит и призрак смерти, так что если кто и пускает слезу гуманистического умиления по поводу известного шлегелевского афоризма насчет того, что “в любимой мы находим весь универсум” (Боже, какой жизнеутверждающий Эрос!), то пусть вспомнит об одной вариации этого афоризма в дневниковой записи N 1357: “Только потому находят весь универсум в возлюбленной, что аннигилируют при этом все остальное” (20, 142; кажется, друг Шлегеля Новалис придумал слово “нигилизм”?). Слияние, по которому томится романтик, есть уничтожение различий, удовлетворение воли есть абсолютно гладкий и блистательный мир, абсолютно целокупный и бесполой мир-организм, но такой мир есть смерть. Эту ситуацию прекрасно понимал Новалис, и он — отнюдь не равнодушный к милым мелочам и привычкам жизни человек — вовсе ее не идеализировал, когда после смерти своей невесты Софи писал Фридриху Шлегелю: “Моя любовь превратилась в пламя, которое в конце концов пожрет все земное” (1797г., 17, 186).

Воля — это ночь и музыка; об этом столько писано-переписано, что я здесь хотел бы скорее доказать, что у романтиков был свой день и свое зрение. Ночь минует (кстати, у Новалиса вскоре появилась новая невеста, Юлия). При дневном свете размышления мечта об андрогине, об аннигиляции различия представляется пустым ночным томлением: на солнце анализа пропасть между мужчиной и женщиной видится уже непреодолимой. “Наши души, как и наши тела, имеют пол,” — замечает Кольридж. Даже андрогин не спасает положения ночи,

потому что и он вовлекается в постройку афоризма — в игру антитез: “Мужчина должен быть андрогинном и объединять в себе обе природы; но женщина должна быть проста, она должна обладать лишь одной природой”, — в 1797 году записывает в дневнике Жозеф Жубер (13, I, 143).

Тут идея андрогина уже не снимает антитезу, но напротив — совершенно парадоксальным образом вобрана в антитезу, живет внутри антитезы.

У андрогина, как ни странно, появился пол. А кстати, вот и первые два афоризма. Нет, даже три.

О влиянии исследуемого на исследователя (лирическое отступление)

Кажется, еще никто не обращал внимания на то, что занятия романтизмом вредны для интеллекта (точно так же, как, скажем, работа на вредном химическом производстве вредна для здоровья рабочих). Тайная (а то и явная) безалаберность и безответственность романтической писанины словно бы заражает уважаемых ученых, и ни в какой другой области литературоведения (искусствознания, музыковедения) не найти столь многочисленных плачевных свидетельств деградации логического аппарата, как в науке о романтизме.

Я несколько не отвлекаюсь: прекрасно помню, что должен писать в конечном счете о любви — но в данном случае речь как раз и идет о любви: о любви к романтизму. Легко и незаметно вкрадывающийся яд — так Новалис охарактеризовал свою невесту (уже разок помянутую) Юлию Шарпантье (6, 43); но так можно определить и клиническую форму, в которой протекает любовь исследователя к исследуемому им предмету. Романтизм превращает своих адептов в зомби, которые выстраивают свои работы по предписанному самим же романтизмом бредовому плану — разумеется, все это происходит бессознательно.

В данный момент меня, как помнит читатель, интересует переход от андрогина к афоризму — и неизбежный при этом переход от идеи “тотальной цельности” к идее антиномии, контраста, противоречия, антитезы и пр. — переход, то и дело совершаемый романтиком с поразительной легкостью: ибо если и прав Пушкин в том, что “две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место”, то только не применительно к нравственной природе романтика, которая под стать его физическому миру, где тела сливаются, как тени. Но не эта легкость достойна удивления, а покорность, с какой наш замороженный исследователь следует за романтиком — как за гамельнским крысоловом — в этом странном логическом (вернее, алогическом) приключении.

До рутины привычно читать о “противоречиях”, “контрастах”, “антиномиях” романтизма. Но вот что удивительно: не менее привычно читать и о “цельности”, “слитности”, “нерасчлененности” романтического “мироощущения”, “художественного мышления”.

Более того: многие работы по романтизму объединены удивительным сходством “тематической композиции”, словно бы исследователями управляет какое-то таинственное не вполне проясненное свойство самого романтизма, подспудно определяющее расположение топик в их собственных работах. Я бы определил эту тематическую композицию, поразительным образом повторяющуюся в весьма далеких друг от друга трудах (музыковедческих, литературоведческих, эстетических), как восхождение от “топики антитезы” к “топике цельности”. Вот музыковед (В. Дж. Конен) пишет о “резко контрастном сопоставлении разных образных планов” как главном признаке романтического музыкального мышления. А несколькими страницами ниже — о “непрерывности, слитности развития” в романтических произведениях (5; 34, 45). В другой музыковедческой работе сначала отмечается “конфликтное восприятие романтиками мира”, которое “находит выражение в принципе полярных антитез” — а ниже с замечательной неминуемостью появляется топика цельности: “стремление к некоему идеальному абсолюту”, вера романтиков в “некую единую и бесконечную сущность мира” (8, 18-21). В статье М. С. Друскина отмечается, что “романтизм раздираем противоречиями” — но это приводит не к разорванности его музыкального мышления, как можно было бы предположить, а к слитности, цельности! — ибо “сквозное, разработочное — одна из отличительных черт романтизма музыкального” (3; 176, 184).

В работах эстетических совершенно то же самое — так, по А. В. Михайлову, “романтический мыслитель — это воплощенное противоречие, противоречие неразрешенное”, ему присущ и “определенный взгляд на мир как на противоречие”; но вот ниже, с уже знакомой нам неизбежностью, вступает “побочная партия”: “отождествление крайностей, противоположностей”; “все мыслится в некоторой нерасчлененности, слитности”; и наконец, как полный триумф побочной партии над главной: “сильная сторона романтизма состояла в понимании всего бытия и его истории в единстве и живой взаимосвязанности” (7; 9, 12, 15, 17). В другой же эстетической работе (статья Н. Я. Дьяконовой и Г. В. Яковлевой об эстетико-философских воззрениях Кольриджа) попытка сопрячь обе топики (антитезы и цельности) в одной фразе приводит к очень симптоматичным, парадоксально-неясным формулировкам вроде такой: “Но будучи органически едины, дух и природа внутренне противоречивы” (4, 17)...

Любопытно, что когда исследователь предпринимает отчаянную попытку подавить одну из топик за счет другой, то сам материал за это мстит. Так, в статье М. Галушко о Вебере абсолютизируется, как будто, мотив антитез: романтикам приписывается “аналитическое, дискретное виденье действительности” (2, 83); на тут вмешивается сам Вебер, который, оказывается, говорил о существовании “во “Фрейшюце” некоего “объединяющего тона” (там же). Так “дискретность” или “континуальность”? Антитезы или синтез?

Техника мышления романтиков

Скучное занятие — ловля противоречий; ограничимся общим благожелательно-позитивным выводом: стало быть, есть в раннем романтизме какая-то двуакцентность — заостренность одновременно и на антитезе, полярности, и на цельности; и двуакцентность эта передается в исследования. Я думаю, что мирозерцание романтиков не было ни беззаботно-наивно цельным, ни безнадежно погрязшим в противоречиях, полярностях и мрачно созерцающим “мировые антитезы”. Верно и то, что романтики восприняли от предшествовавших культурных традиций (отчасти от барокко) антитетический стиль мировосприятия (скажем, усвоив паскалевскую антитезу величия и ничтожества, мощи и бессилия человека) — но верно и замечание Фрица Штриха о том, что “всякая полярность враждебна романтикам” (22, 52).

Как же склеить мир-цельность из таких неподатливых кирпичиков, как антитезы? — те антитезы, что у романтиков изобретаются на каждом шагу и служат едва ли не главным орудием продвижения мысли: так, литературные дневники Фридриха Шлегеля посредством антитез типа “мужское — женское”, “музыкальное — пластическое”, “растительное — животное”, “жизнь — смерть”, “символика — аллегория”, “звездное — сатурнианское” и т.п. продвигаются вперед без всякого видимого усилия. *Regretium mobile* таков: постоянная релятивизация антитез-полюсов. Полярность трактуется романтиком как потенциальный, пока что не реализованный переход. Человек барокко созерцал полярность как нечто непреодолимое; романтик же видит в ней лишь точку возможного нового перехода, лишь место, где может зародиться новая связь вещей. Вордсворт говорил о Кольридже: “Он принадлежал к тому редкому разряду людей, для которых созерцание любой вещи невозможно без того, чтобы не видеть в то же время и ее связи с чем угодно другим” (19, 29) — но к этой “редкой породе людей” относились едва ли не все ранние романтики.

Есть нечто безрассудное в романтической способности “делать ослепительные прыжки через непроходимые рвы” (Н.Я. Берковский, 1, 357). “Они и ведать не ведают о скрытых рифах”, — сказал Гете об этих беззаботных плователях по голубым морям. /.../ Романтик не верит, что атакует неизвестность. Он заранее убежден, что повсюду найдет себе подобных, что любая область, через которую он проезжает, его наследственная собственность...” (Эмиль Штайгер, 21, 74-76).

Но проблематичность романтического мышления, однажды удачно названного “беспрепятственным” (14, 23), обнаружится позднее; останемся же пока на точке зрения молодого Фридриха Шлегеля, убежденного в 1797-98 годах в том, что “в текущей рапсодии можно найти переход к чему угодно...” (20, 119).

Техника этих “переходов” внутри прозрачного, насквозь проходимого мира романтиков основывается на простом, в сущности, приеме — опосредовании одних, нуждающихся в “прояснении”, понятий — другими. Порою понятие прогоняется сквозь целый ряд опосредующих понятий. Так, Э.Т.А. Гофман в рецензии на пятую симфонию Бетховена, толкуя противоположность между “абсолютной” и программной инструментальной музыкой, опосредует эту дихотомию целым рядом других дихотомий: оказывается, различие между музыкой внепрограммной и “изображающей определенные чувства или события” каким-то образом коррелятивно различиям “музыкального” и “пластического”, “языческого” и “христианского”, “ритма” и “гармонии”, “естественного” и “чудесного” и т.п. Отмечая логическую небезупречность гофмановских построений (вот они, “ослепительные прыжки через непроходимые рвы”, о которых писал Берковский), К. Дальхауз так описывает технику гофмановской мысли: “Грубо говоря, прием состоит в следующем: понятийные оппозиции, сами по себе очевидные, так тесно ассоциируются друг с другом, что в конце концов каждое отдельное понятие безоговорочно связывается со всеми другими понятиями того же полюса (“античное”, “языческое”, “естественное”, “пластическое”, “ритм”, “мелодия”, “вокальная музыка”) и противопоставляется всем понятиям другого полюса (“современное”, “христианское”, “чудесное”, “искусственное”, “гармония”, “инструментальная музыка” (11, 48).

Романтик находит безграничное удовольствие в опосредовании одних антитез другими, без усталости выстраивая вереницы дуальных категорий, уходящие в бесконечность. Антитеза — это основной принцип построения романтического афоризма; но не будем забывать, что романтик играет с антитезой, вместо того чтобы отнестись к ней серьезно, — приравнивая антитезы друг к другу, он релятивизирует заложенную в них полярность.

К чему сводятся размышления романтиков над различием мужского и женского начал? К тому, что антитеза “мужское — женское” как бы приравнивается к целой серии других антитез, других понятийных пар: в результате по обе стороны границы выстраиваются два ряда категорий, ассоциируемых, с одной стороны — с мужским, с другой стороны — с женским. Фридрих Шлегель прогоняет оппозицию мужское — женское сквозь целый строй иных оппозиций, ассоциируемых с женским и мужским по очень вольной прихоти воображения: растительное — минеральное, гений как природный дар — искусство как ремесло и художество, семейное — демоническое, злобность — глупость и даже жизнь — смерть...

В результате этой понятийной игры достигается не столько разведение исходных полюсов (мужского — женского), сколько — как это ни парадоксально — их сближение: каждый полюс обрастает массой связей, целая сеть понятийных нитей протягивается между мужским и женским, в разведенных парах понятий начинают прорастать очертавая мира-организма, где полюса — лишь крайние точки, границы прозрачного, насквозь проходимого целого... Но стоп, стоп — здесь, на ночной стороне, мы уже были, так не будем спешить с возвратом

от афоризма к андрогину, а проследуем через анфилады антиномий — кажется, они ведут нас по спирали, как витки лабиринта. Потянем за кончик клубка — может, что-то и распутается.

Виток первый: естественное — искусственное

В дневниковой записи о своей возлюбленной, Софи Кюн, Новалис перечисляет черты ее душевного склада, прекрасно характеризующие эту наивную и простую девочку-подростка. Здесь и “склонность к детским играм”, и “привязанность к женщинам”, а также “религиозность”, “свободное наслаждение жизнью”, “страх призраков”... Под конец же Новалис разражается афоризмом: “Ее естество для нас было бы искусством, наше же естество было бы искусством для нее” (лето 1796, 15, 251-252).

Итак, отношение “естественное-искусственное” вроде бы обратимо: и у мужчины, и у женщины есть свое духовное “естество”, и перевоплощение в чужое “естество”, хотя в принципе и возможное, было бы для каждого из них уже “искусством”.

Отношение обратимо, но все же не до конца. “Естество” в личности мужчины и женщины занимает разное положение: женщина в большей степени, чем мужчина, заложница, раба своего естества. “Женщина в припадке наивности часто говорит не то, что на самом деле хочет сказать. — Мужчина даже и на наивный манер всегда говорит именно то, что хочет сказать”, — пишет Фридрих Шлегель. А в другом афоризме замечает: “Женщины больны только от любви, и они должны быть от нее больны. Совершенно здоровая женщина уже в силу этого смешна, или же она просто гетера. В конце концов естество в женщинах нужно рассматривать так же, как в нас — искусство” (20, 152, 137).

Разумеется, чувственность — специфически женская стихия. “Мужчины имеют больше склонности к глупости и тупости, женщины — к злобе... Так же и в сладострастии и чувственности женщины способны зайти гораздо дальше мужчин”; при этом о мужчинах Шлегель высказывается совсем пренебрежительно: “Большинство мужчин — импотенты” (20, 74-75, 149). Чувство и чувственность определяют и эстетические пристрастия женщины. “Женщины любят музыку, потому что она обращена к чувствам”, — утверждает французский романтик круга Шатобриана Шарль Шендolle (9, 85). И если мужчине дано право на раскрепощение мысли, то женщине — на свободу чувства. “Чувство, как и мысль, может стать разумным и свободным. Это больше относится к женщинам” (20, 137).

Чувственная стихия, в которой существует женщина, это еще и стихия молодости. Над антитезой “естество — искусство” надстраивается еще несколько антитез, явных или полупроясненных. “Женщина в объятии обнимает крепче, чем мужчина; так же крепче объятия, которыми она удерживает жизнь, юность...”; “Детство и юность у женщины равномерно распространяются на всю жизнь” (20, 136, 134). Отсюда и вывод, выход на предельное обобщение: “Смерть, возможно, мужское, жизнь — женское” (20, 152).

Виток второй: растительное — минеральное

Одно из традиционнейших комплиментарных риторических уподоблений — “женщина есть цветок” — подвергается у романтиков, далеко зашедших со своей идеей женской “естественности”, ошеломляющему переосмыслению. Женщина упорно сопоставляется ими... с растением. Растительное — определяющая черта женской природы, причем речь идет отнюдь не о “цветке” как живописно-эстетическом образе, но о физиологии всего растительного организма с его корнями, плодом и т.д. “Образ женщины — целиком цветение и плод; чашечка цветка и плода — главное в женской любви. Угловатая организация мужчины скорее минеральна... Женщина приближается к растению и в силу своей меньшей подвижности” (20, 267). “Женщина милее не красотой, но преобладанием растительного начала, женственностью” (20, 152). “Радости и горести женщин растительны: они расцветают и увядают” (20, 152). “Женщина, как абсолютно растительное, есть сама поэзия... Мир как химический процесс, подготавливающий все формы любви. Животная бессознательность необходима женщинам; единичный предмет любви, ставший центром их существования, случаен” (20, 133).

Эту метафору не следует понимать как уничижительную. Более того, романтик в иерархии феноменов даже ставит женщину над собой: растительный мир ближе к Богу, чем минеральный, а соотношение мужчины и женщины аналогично соотношению минерального и растительного миров. Не будем в то же время забывать, что это соотношение для романтиков не какая-то неподвижная данность: в динамичном мире романтизма все “тянется вверх”, на глазах совершенствуется; человек в его нынешнем состоянии — лишь промежуточная ступень на пути к высшим существам, в которых он со временем разовьется. В “новом царстве”, которое, согласно Новалису, вот-вот начнется, “пыль станет кустарником, дерево переймет повадки животного, а животное превратится в человека” (16, 63) — и человека не обойдет, видимо, эта вереница превращений.

Соотношение мужских и женских “естеств” таково, что мужчина “тянется” к “вечной женственности” — однако и в своем “минеральном” качестве он способен вызывать восхищение у куртуазных партнерш. Каролина в одном из писем наделяет рассмотренную нами биологически-эволюционную метафору чисто человеческим лестным смыслом; тем самым натурфилософский образ возвращается в лоно самой обычной куртуазно-компл-

лиментарной риторики. О Вильгельме Шлегеле, своем будущем муже, она пишет: “Это настоящая коренная натура; если рассматривать его как минерал — то это истинный гранит” (17, 240).

Виток третий: бесконечность — конец

Вернемся к странной мысли Фридриха Шлегеля связать мужское начало со смертью, а женское — с жизнью. Оказывается, женская и мужская чувственность, характер женского и мужского “сладострастия”, как выражается Шлегель, таят в себе некую связь со стихиями смерти и жизни. Именно свойства мужского сладострастия, по Шлегелю, позволяют ассоциировать “мужское” со “смертью”. “Сладострастие удовлетворено, когда оно доходит до предчувствия смерти, и смерть совершенна, когда она становится наслаждением” (20, 136). Но это относится, видимо, только к мужчине: сладострастие женщины, согласно Шлегелю, неудовлетворимо — поэтому женщина “бесконечна” и стихия смерти ей чужда. “Женщины либо совершенно холодны, либо совершенно ненасытны; в лучших из них это соединяется и они постепенно переходят от одного к другому... Стыдливость женщины сопряжена с ненасытностью ее сладострастия, все бесконечное стыдится себя” (20, 149).

Так на чувственное ложится метафизический отблеск — отблеск бесконечности. “У женщин больше гения к сладострастию (гений понимается как природный, естественный дар — А.М.), мужчины предаются ему как искусству. Женщины всегда сладострастны и бесконечны” (20, 149).

От мужчины требуется “искусство”, чтобы приобщиться женскому “естеству”: он может постараться и тоже сделать для себя доступной женскую ненасытность — правда, для этого понадобятся серьезные духовные усилия. “Нужна наивысшая духовная любовь, чтобы не удовлетвориться физически очень красивой женщиной” (20, 139).

Восхождение мужчины к женщине — путь к бесконечному, к универсуму: “во всякой женщине — целый универсум” (20, 152). Здесь на вершине вновь берет верх тема андрогина, отодвигая на второй план антитетичность “мужского” и “женского”. А это значит: конец афоризму. И действительно, Фридрих Шлегель в одном из своих афоризмов под конец отказывается от присущей жанру трезвой аналитичности, переходя вдруг на поэтический язык: “Непременное свойство любви в том, что друг в друге находишь универсум — но это слишком сухо определено (то есть долой афоризм! — А.М.) — Это сладостное море тихой бесконечности” (20, 153).

Но романтики — не любители конечного возвращения (хотя известный тебе, читатель, новалисовский афоризм и зовет нас всех домой); им вроде бы ближе маятник. Поэтому, избегнув соблазна концентрической композиции, уйду от нашего исходного андрогина как можно дальше — при помощи того же Шлегеля, в одном месте бросившего скандальный вызов всей романтической мифологии любви с ее энергией слияния, с ее темой безоговорочного присвоения себе любимого существа.

“С лучшими друзьями следует обходиться как с божеством. — С любимой и с лучшими друзьями мы должны обходиться как с чужими, потому что они вечно остаются нам чужими” (20, 137).

Но ведь канон романтизма гласит: другое Я может полностью стать МОИМ, МНОЙ, Я-ТЫ... так чему же нам верить?

Тот же Шлегель:

“Между мужественностью и женственностью — нерешаемое уравнение” (20, 151-152).

**МОЖНО ПОДСТАВЛЯТЬ В УРАВНЕНИЕ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ —
ВСЕ РАВНО НЕ РЕШИТЬ.**

Литература

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973.
2. Галушко М. Вебер и немецкий романтизм. — “Советская музыка”, 1987, N 7.
3. Друскин М. К полемике о романтизме. — В кн: Друскин М. Избранное. — М., 1981.
4. Дьяконова Н.Я., Яковлева Г.В. Философско-эстетические воззрения С.Т. Кольриджа. — В кн.: Кольридж С.Т. Избр. труды. — М., 1987.
5. Коен В. Дж. История зарубежной музыки с 1789 года до середины XIX века. — М., 1989.
6. Махов А.Е. Любовная риторика романтиков. — М., 1991.
7. Михайлов Ал.В. Эстетические идеи немецкого романтизма. — В кн.: Эстетика немецких романтиков. — М., 1987.
8. Николаева Н.С. Романтизм и музыкальное искусство. — В кн.: Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн.1. — М., 1975.
9. Baldensperger F. Sensibilité musicale et romantisme. — Paris, 1925.
10. Coleridge S.T. The notebooks. — London, 1957-1973. v.1-3.
11. Dahlhaus C. Die Idee der absoluten Musik. — Leipzig, 1979.
12. Huch R. Ausbreitung und Verfall der Romantik. — Leipzig, 1912.
13. Joubert J. Les carnets. — Paris, 1938. v.1 — 2.
14. Mason E.C. Deutsche und englische Romantik. Eine Gegenüberstellung. — Göttingen, 1959.
15. Novalis. Werke, Briefe, Dokumenten. — Heidelberg, Bd.4, 1959.
16. Novalis. Werke. — Berlin, Weimar, 1983.
17. Romantiker Briefe. — Jena, 1907.
18. Runge Ph.O. Briefe und Schriften. — Berlin, 1981.

19. Schenk H.G. The mind of the european romantics. — London, 1966.

20. Schlegel F. Literary notebooks. 1797-1801. — London, 1957.

21. Staiger E. Deutsche Romantik in Dichtung und Musik. —In: Staiger E. Musik und Dichtung. — Zürich, 1966.

22. Strich F. Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. — München, 1924.

ПЕШКОВ (ПРОБИРАЯСЬ В ГЛУБОКОЙ ЗАДУМЧИВОСТИ).

Позволь втиснуться между тобой о романтиках и романтиками, избранными тобой. МАХОВ (скрываая заинтересованность). Надеюсь, ты не поведешь себя как слон в известной лавке и не перебежишь здесь весь романтический инструментарий.

ПЕШКОВ. Я постараюсь. Хотя довести свою риторическую ловкость до афоризмичности вряд ли удастся. (У нас в номере, правда, есть соперник романтикам по афоризму — В.А.Кутырев). Я же попробую поагонизировать (все же наша стихия — каламбур, а не афоризм) с тобой, не андрогинизируя и не драматизируя ситуацию (недавно слышал по телеку заявление министра иностранных дел России неким западным лидерам, начинающееся со слов "Don't overdramatize our situation", и они так засели в душу!), то есть не впадая с Тобой в абсолютное слияние, но и не разделяясь абсолютно.

МАХОВ. Извини, такой приступ к речи, что я даже разволновался. Можно я хлебну чего-нибудь успокоительного?

ПЕШКОВ. Of course, you can. Мне же позволь ввести твой анализ техники романтического изобретения в более широкую культурологическую раму.

МАХОВ (успевший залпом выпить бутылку пива). Извини еще раз, но напрашивается: мама мыла раму.

ПЕШКОВ. И еще: "Модальная рама не отмычка" Степанова. Твои замечания о влиянии предмета исследования на исследователя чрезвычайно остроумны, так как никто не рассматривал в этом ключе гуманитарных ученых, но, по-моему, в отношении влияния романтиков на их изучателей задача имеет более простое, хотя и менее изысканное решение.

МАХОВ. Более простое, но менее изысканное? Так бывает?

ПЕШКОВ. Посмотри. Романтики ни фига не влияют своей туманностью или своей четкостью на нас (ученых то есть), потому что мы и сами столь же одновременно и ясны (антиномичны) и темны (андрогинно слыты в муках страсти). Или: они уже повлияли в меру своих сил на культурную ситуацию Европы и мы пожинаем их плоды. Но: они и сами полностью вписаны в риторическую или, если тебе не нравится этот термин, в общементальную парадигму развития.

МАХОВ (про себя). Сейчас дослушаю, но это в последний раз. У каждого есть свой пункт.

ПЕШКОВ (не обращая на Махова никакого внимания; говорит как бы в состоянии глубокого транса). Романтизм был очень своеобразным результатом скрещивания двух риторик, сосуществовавших в это время (и задолго до этого времени) — риторика мифа и риторика познания. Любой миф всегда был мифом андрогинным, мифом единства, нечленности, слияния. И любое познание, по риторике, всегда было расчленением, разделением, противопоставлением предметов, объектов взгляда. Конечно, в познании зрение выше музыки. И, конечно, риторика познания выставляет человека за пределы познания, это миф сливает познающего и объект. Так вот, возможно (я не уверен, потому что не так владею материалом, как ты), романтики были одними из первых, кто вообще начал теоретически осознавать этот глубинный человеческий парадокс...

Человек живет в мифе, а думает в системе познавательных оппозиций, и эти области могут не пересекаться, могут пересекаться, но не осознаваться, могут осознаться как проблема, но совсем не разрешиться... Мне кажется, романтики дошли до осознания. Романтизм это осознанный как цель миф, то есть миф, уже выведенный в сознание, где он естественно сталкивается с познавательной логикой, — и начинается описанная у тебя борьба жанров.

Современные ученые так или иначе замечают этот глубинный парадокс (вот откуда романтическая идея гениальности) и отражают его. Однако их собственная парадоксальность не обязательно должна быть следствием влияния романтиков. Просто они, наши современники, тоже люди, не глупее (или не умнее!) романтиков, сами находятся в той же плоскостной системе координат: миф по оси абсцисс, познание по оси ординат. И как результат, высказывания или средней сумбуриности, или полной банальности или полной бессмысленности, смотря по какой оси больше откладывать.

МАХОВ (проявляя внезапный интерес). Вернуть в гуманитарную человека. Я давно об этом говорю. "Апокриф" и должен быть журналом живого человека, чтобы он там не столько анализировался, сколько проявлялся.

ПЕШКОВ (словно разбуженный от летаргии репликой Махова). Хорошо.

ДАДИМ И РОМАНТИКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫСКАЗАТЬСЯ.

Шлегель

Большую часть нижеприводимых переводов я впервые опубликовал в своей книге "Любовная риторика романтиков" (М., 1991). Настоящее собрание значительно расширено новыми переводами (особенно это касается Жан Поля и Жубера).

Фридрих Шлегель

Из "Литературных записных книжек" (1797-1801)

В ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ БОЛЬШЕ СЛОВООХОТЛИВОСТИ, ГАРМОНИИ И СИМВОЛИКИ, в мужской — больше аллегории, энтузиазма и энергии.

Мужчине в женщине впервые открывается красота мира, женщине в мужчине — бесконечность человека.

Всякий мужчина гениален; гармония — сущность женщины. Всякий мужчина несет в себе демона, всякая женщина — супружество.

Только гениальные люди способны любить, ибо лишь у них есть вкус к оригинальности.

Пикантность мужского сладострастия в том, что оно кажется детским, даже женственным, и наоборот.

Хорошее общество — это когда все в шутку влюблены друг в друга.

Женщины. Они всегда говорят так, как будто бы их слышит мужчина, даже наедине с собой.

Женщины — несчастнейшие; но и счастливейшие.

Ненасытность женщины относится к идеальному, к качеству огня.

Многое слишком свято и нежно, чтобы когда-либо быть высказанным, — даже другу, даже возлюбленному.

Часто случается, что любящие не находят друг друга, — но и те, кому не удалось здесь (в мире зримого) увидеть друг друга, все же встретятся.

Форма романтической жизни есть форма остроумия. — Остроумие есть неразличение — между искусством и добродетелью, любовью и фантазией, — тем самым оно в высшей степени философично. Любовь уже есть неразличение между влечением и фантазией.

Середину между рассудком и любовью занимает остроумие.

Любовь — не просто гармония, но гармония в состоянии брожения, как вера — фантазия в состоянии покоя.

Человек способен на высший эгоизм, лишь когда он находится в самом центре любви.

Все сны любящих буквально верны; во всякой женщине — весь универсум.

Часто находят универсум в возлюбленной лишь потому, что аннигилируют при этом все остальное. Некоторые (и очень страстные) влюбленности суть не что иное, как обратное действие такого же бесконечного эгоизма.

Сладострастие удовлетворяется, когда доходит до предчувствия смерти, а так же смерть совершается, когда становится наслаждением. — Умирают лишь однажды, но и любят однажды, и прообраз смерти — любовь; кто действительно способен на второе, сможет и первое.

Как в ожидании, томлении и любопытстве все нацелено на любовь, так в страхе — на смерть.

Глаза — единственная часть человеческой плоти, которую человек создает себе сам.

Иозеф Жудер
Из „Дневников“

Нужно стремиться стать любимым, потому что люди справедливы лишь к тем, кого они любят.

Наказание для тех, кто слишком любил женщин, — любить их всегда.

Женщина должна обладать чувством стыдливости не только за себя, но и за весь свой пол; иначе говоря, она должна переживать за соблюдение приличий всеми женщинами, ибо то, что оскорбляет скромность одной, оскорбляет и скромность всех остальных. Та, что обнажается перед мужчиной, тем самым в определенном смысле раздевает всех честных женщин; показываясь без покровов, она показывает без покровов и всех остальных.

Женщины считают невинными все поступки, на какие только отваживаются.

Стыд изобрел украшения.

Скрываемый запах и тайная любовь выдают себя.

Сильно и всерьез мы любим лишь тех, кого боимся, потому что страх заставляет нас всегда принимать их сторону и быть благодарными им и за то добро, которое они нам делают, и за то зло, которое они нам не причинили. Кроме того, если эти люди не дурные, то они подчиняют себе и наше сердце, после чего мы уже не осмеливаемся их ненавидеть.

Телесная любовь отдаляет душу от Бога, потому что Богу чужда телесная любовь. Отвращение к злу приближает нас к Богу, потому что Бог испытывает отвращение к злу.

Развод неприятен даже у птиц. Бюффон позорил горлинок.

Добр, полезен и достоин любви лишь тот, кто обладает чем-то небесным, будь то разум с его мыслями или воля с ее чувствами, направленными к небу.

Проклятие отца сокращает жизнь, проклятие матери убивает.

Чувства следует хранить у сердца. Приучив сердце любить абстракции, существующие лишь в сознании, мы начинаем испытывать привязанность к отвлеченным материям, ради которых легко жертвуем реальностью. Когда любишь многих людей без разбора, на детали любви уже не хватает: все добрые чувства растрочены на всеобщность, индивидуумы явились слишком поздно. Философические привязанности /.../ разрушают и иссушают нашу способность любить.

Назначение постели, когда ты в ней один, — мудрость. “Необходимо, — говорил Пифагор, — сделать храм из своей постели”.

Тем, кто любит постоянно, не хватает времени, чтобы жаловаться и чувствовать себя несчастными.

Добрыми нас делает лишь чувство жалости. И потому жалость должна присутствовать во всех наших чувствах, даже в нашем негодовании, в нашей ненависти к дурным людям. Но должна ли она присутствовать и в нашей любви к Богу? Да, но только жалость к себе — та, что всегда примешивается к благодарности. Итак, все наши чувства несут на себе печать некой жалости к себе или к другим. Любовь, которую приносят нам ангелы, и есть непрестанная жалость, вечное сострадание. Каждый страдает злу, которого боится.

С достоинством жениться и овдоветь можно лишь один раз.

Ничто не делает женщине так много чести, как ее терпение, и так мало, как терпение ее мужа.

Женщины в одеяниях мужских и нетекучих теряют грацию.

Грация имитирует стыд, как вежливость имитирует доброту.

Любить одних лишь прекрасных женщин и терпеть скверные книги — признаки упадка.

В непросвещенных сословиях женщины лучше мужчин, в сословиях привилегированных мужчины, напротив, выше женщин. Из чего следует, что мужчины более способны к обладанию добродетелями приобретенными, а женщины — врожденными.

Триумф женщины не в том, чтобы измотать и победить своих преследователей, но размягчить их и заставить опустить руки.

Того, кто имеет два имени, следует называть более красивым, более нежным и более звучным.

Из всех криков и всех стонов выделяется пар, из этого пара возникает облако, а из этого облака исходят молнии и бури.

Цветы несут свои запахи, как деревья — свои плоды.

Новалис

Афоризмы из разных рукописей

(из дневника, 6 июля 1797г.:) Кто бежит от боли, тот не хочет больше любить. Любящий должен вечно ощущать зияние, постоянно держать свои раны открытыми.

Всякий предмет любви есть средоточие рая.

Всякий неверный поступок, всякое недостойное чувство суть неверность возлюбленной, разрыв брака.

Под действием абсолютной воли любовь может перейти в религию.

Лишь смерть делает нас достойными Высшего существа.

(из политических афоризмов:) Всякое улучшение несовершенной конституции сводится к тому, что ее делают более способной к любви.

С любовью обстоит так же, как и с убеждением: сколь многие мнят себя убежденными, на деле не являясь ими. Лишь истина может по-настоящему убедить — лишь любимое можно по-настоящему любить.

Платон делает любовь чадом нужды, потребности — но и избытка.

Все духовные прикосновения подобны прикосновению волшебной палочки. Все может служить орудием волшебства. Кому воздействие такого прикосновения кажется баснословным и странным, тот пусть только вспомнит о первом прикосновении руки возлюбленной, о ее первом значительном взгляде, где волшебной палочкой был короткий световой луч, о первом поцелуе, о первом слове любимой — и пусть он спросит себя, разве не были чары и волшебство этого момента такими же сказочными и странными, неуязвимыми и вечными?

Мужчина должен преодолевать свою природу и предоставить все права и власть в себе индивидууму. Мужчине присущи господство воли и подданство чувства. Женщина должна повиноваться своей природе и подавлять в себе индивидуума. Чувство у нее должно определять волю.

Всякая произвольно возникающая любовь в определенном смысле есть религия — в которой лишь один апостол, евангелист, последователь...

Мужчина в определенной степени так же женщина, как женщина — отчасти мужчина; не из этого ли возникла стыдливость?

Женщина — символ добра и красоты; мужчина — символ истины и права.

Любовь популяризирует личность — делает индивидуальности доступными для выражения и понятными.

Сердце — ключ к миру и жизни. Человек живет в этом беспомощном состоянии, чтобы любить — и обязать другого ответить на любовь. Благодаря своей неполноте человек получает способность воспринимать воздей-

ствии другого — и в этом чужом воздействии цель. В состоянии болезни нам должны и могут помогать другие. Христос с этой точки зрения, конечно, ключ к миру.

Разве не свидетельствует о превосходстве женщин то обстоятельство, что крайности их натуры намного разительнее, чем нашей? Самый жалкий бродяга не столь сильно отличается от порядочного господина, как убогая шлюшка от благородной дамы.

Они возвышаются над нами и своей большей беспомощностью — как и своей большей самостоятельностью, большим талантом к рабству и деспотизму; так во всем они и выше нас, и ниже нас, и к тому же еще они цельней и неделимей, чем мы.

Разве не сходны они с бесконечным в том, что (...) их можно определить лишь методом приближения? И разве не схожи они с высшим в том, что они абсолютно близки, но все же их всегда приходится искать; абсолютно понятны, но все же не поняты; так необходимы — и все же чаще всего отсутствуют рядом; и разве не схожи они с Высшим существом тем, что являются нам так по-детски, так обыденно, в праздности и игре?

Фридрих Шлейермахер Из дневника

Вера — это неудовлетворенное влечение рассудка к фантазии.

Иоганн Готлиб Фихте
из „Оснований естественного права“

Благороднейший из природных инстинктов — любовь — только женщине дан от рождения.

Жан-Поль
Афоризмы

Наиболее обширно представленный в нашей подборке автор — в то же время единственный, чьи афоризмы, кажется, никогда не публиковались по-русски (за исключением уже упомянутой моей книги). Поэтому я и решился предварить тексты Жан Поля, этого, как напомнит мне просвещенный читатель, не вполне романтика — небольшой преамбулой. При жизни афоризмы Жан Поля, выросшие из интимного дневника (форма, которую Жан Поль забросил, как только напугал внутри нее форму афоризма), не публиковались. Впервые их напечатал Эдуард Беренд в пятом томе второго раздела историко-критического собрания сочинений Жан Поля; привожу пару фраз из любопытного предисловия издателя: “По объему, разнообразию и оригинальности эта гигантская сокровищница мыслей и мотивов не имеет равной во всей немецкой и даже, насколько могу судить, в мировой литературе; такие мощные собрания, как “Максимы и размышления” Гете, “Афоризмы” Лихтенберга, “Фрагменты” Новалиса, “Дневники” Геббеля кажутся перед ней карликами”.

Любовь хочет одного-единственного человека, сладострастие — всех сразу; но только последнему и всех недостаточно, первая же находит бесконечность в единице.

Женский вкус к одежде и украшениям нельзя вывести из простого желания нравиться: ведь мужчины обладают вторым без первого.

Женщины ведут домашнее хозяйство сначала — ради возлюбленного, затем — ради самого домашнего хозяйства.

Женщины не реалисты и не идеалисты: они соединяют то и другое.

Женщины так падки на сентенции, потому что не обладают системой.

Любовь без действия — ничто, но к действиям в браке относится в первую очередь речь; каждое слово — поступок.

Муж свои жертвоприношения жене часто молчаливо хранит при себе, жена со своими делает то же самое — чем больше обе коллекции, тем круче их столкновение при взаимном обнаружении.

Как легкомысленны женщины — видно из того, что во время беременности мысли о смерти не имеют на них особого влияния.

Женщины не слишком любят друг друга, потому что не видят себя в свои прекраснейшие моменты — молитвы и любви.

Позволяя девушке сделать что-либо для тебя, добиваешься большего, чем когда делаешь что-либо для нее.

Люди сразу замечают и легко начинают ненавидеть в любимом человеке чувство независимости.

Женщина находит между двумя мужчинами меньше несходства, чем мужчина между двумя женщинами.

Мужчина любит целомудрие, но сам им не обладает; у женщин все наоборот.

В языке любви нет плеоназмов.

Мы продолжаем любить места, связанные с нашей любовью, и тогда, когда сама любовь прошла.

Мы способны переживать страсть лишь как длящуюся вечно. Мы не можем допустить, что когда-нибудь перестанем любить того, кого сейчас любим. Возможно, именно это мы и называем "верить" или "почитать за истину".

В женщинах больше человеческого, потому что государство не наложило на них печать одностороннего образования.

Девушки лучше притворяются, чем женщины.

Женщины хранят свои тайны, мужчины — чужие.

Я предпочел бы любить, не будучи любимым, чем быть любимым не любя.

Лишь с любимыми мы решаемся говорить о себе.

Сильное чувство побуждает человека верить, что он может ради его предмета пойти на любую жертву; и любовь действительно может жертвовать, когда жертва в то же время ее питает и умиротворяет. Но иная жертва — например, прощения и т.п. — ослабляет любовь, готовую к пожертвованию; и в этом случае счастье зависит уже не от силы любви, а от силы всего характера.

Женщины мнительнее, чем мы.

В высших сословиях женщины имеют больше влияния на чужих мужей, в низших — на своих.

У мужчин различие определенных склонностей — к математике, ботанике, музыке, философии; у женщин этого нет.

В нашей человеческой любви приятно не просто ощущение любви, но и ощущение, что ты ведешь себя правильно.

Странные существа женщины! Ни один мужчина не станет одалживать чужой жилет, чтобы пощеголять в нем в обществе. Но женщина не задумываясь надевает взятые напрокат драгоценности, шляпы и т.п.

Почтение, испытываемое женщиной к наряду другой женщины, можно объяснить так: они могут и на себя надеть любую чужую ленту, ведь между прекрасными царит равенство и свобода: всякий чужой убор может стать своим. Мужские же достоинства, напротив, не могут переходить от одного к другому. Одежды у женщин — как книги у мужчин, и только прелести для них становятся тем же, чем для мужчин таланты и ученость. Каждая видит в другой произведение искусства, которое необходимо изучить.

Физически намного легче быть монашкой, чем монахом; морально — намного трудней.

Нынешние браки несчастливей прежних, потому что нынешние более чувствительные мужчины в большей мере возбуждают в женщинах чувство, которое затем, не стесняя себя никакими пределами, разрастается до бесконечности. Прежде мужчина проявлял свое чувство поступком, и на этом все заканчивалось; теперь же одно слово тянет за собой другое.

В женских разговорах слышен постоянный смех.

Супруга легче прощает неверность и равнодушие к чужим прелестям, чем холодность по отношению к своим.

Легче сохранять верность любовнице, чем жене.

Женщины ненавидят тщеславие и гордость в женщинах, но не в мужчинах.

В женщин часто влюбляются от скуки — просто не находя им никакого другого применения.

Монашки тощи, монахи толсты: доказательство женской умеренности.

Поэтессы умнее поэтов.

Я как-то писал, что женщины не внемлют доводам и отвечают всегда не на брошенную им реплику, а на что-то иное; — все же это относится лишь к женщинам в состоянии возбуждения, хотя бы легкого, когда они каждым вкряк и вкось направленным ответом пытаются защищаться и выгораживать себя; в состоянии спокойствия они, напротив, кратки, остры и гораздо более последовательны.

Женские посиделки и болтовня без того, чтобы обсудить или узнать что-либо важное, подлежат оправданию с точки зрения сердца: обмен чувствами сам по себе уже кое-что значит.

Женское сердце — снег: при длительном и сильном тепле не плавится, а скорее уплотняется; и вдруг растаяло.

То, что мужчины удивляются капитуляции женщины, говорят в пользу женщины; то же, что женщины не удивляются нашему натиску, — в укор нам.

Суждения мужчин о человеке содержат ровно столько, чтобы получить о нем представление; суждения женщин — ровно столько, чтобы его полюбить или возненавидеть; поэтому первые — разностороннее.

Сделав женщине подарок, мужчина должен быть нежен к ней как никогда, — чтобы облегчить ей чувство признательности.

Не потому ли так ненавидят женщин, что всякая красота сулит не одну, а все добродетели сразу — ведь женская красота есть поэтическое изображение нравственного закона, — и не потому ли, что, встретив любовь, много в нее вкладываешь, а потом ничего не находишь.

Еще ни одна благочестивая, исправная в своих обязанностях домашняя хозяйка не говорила: “Я слишком хороша для земной жизни”, — а лишь в крайнем случае: “Я совсем ее не заслужила”; вот чувствительная неженка, белоручка так скажет.

И мебель — часть женского наряда; например, черное канapé — хорошая подкладка к белой ручке.

Мы, люди, любим не для того, чтобы ненавидеть, но скорее ненавидим, чтобы любить.

Оживленность беседы лишь мужчин заставляет ускорить шаг, но не женщин: у них при этом лишь быстрее спорится вязание.

Когда женщина говорит, что издалека узнала такого-то мужчину по походке, то оба при этом испытывают радость удовлетворенного самолюбия: она — от того, что смогла его так узнать, он — от признания своей особенности.

Всякий говорит о геморрое, и никто — ни мужчина ни женщина — о месячных.

Чтобы занять лучшие места, женщины охотно являются на концерт или в театр часом раньше; на самом же деле и то и другое начинается для них сразу же, как только они приходят и усаживаются: ибо разговоры упреждают для них музыку, а постепенное прибытие зрителей — спектакль.

Женщины столь отличны от нас, что даже опытнейший мужчина всегда проходит С ЖЕНЩИНОЙ ТРИ СТАДИИ, КОГДА СТАВИТ ЕЕ 1/НАД 2/РЯДОМ С 3/ПОД СОБОЙ.

ПЕШКОВ. ТЫ И ПЕРЕВЕЛ?

МАХОВ (покорно). Я и перевел.

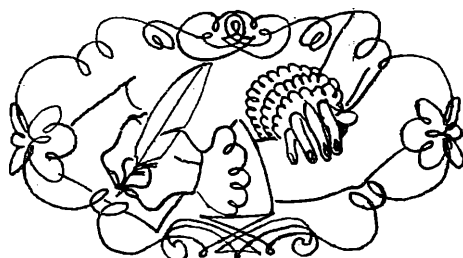
ПЕШКОВ. Может, ты еще и в музыке разбираешься?

МАХОВ. Ага.

ПЕШКОВ. Который час?

МАХОВ. Одиннадцать тридцать пять.

ПЕШКОВ. Спасибо. (Растворяется в ужасе).





МЕТАФИЗИКА

ЗАДОЛГО ДО
РОЛАНА БАРТА

ИЛИ
ВЛЮБЛЕННЫЕ
В ДИСКУРС

КИРИЛЛ ЧЕКАЛОВ

Любовь меж ними вспыхнула, воспламенившись от речей их, будто от спички.

Дю Суэ. Любовь Полифила и Меллбнимфы. Лион, 1605

РАССУЖДЕНИЯ О ЛЮБВИ, ГОВОРЕНИЕ О ЛЮБВИ,

“овнешнение” в слове связанных с ней переживаний — ведущая тема всей мировой литературы. “Любовный дискурс” занимает центральное место и в романах о Тристане и Изольде, и в поэзии трубадуров, и в творчестве поэтов Пляяды, и у немецких романтиков. Но сказать так — еще не значит уяснить себе истинный повествовательный статус этого дискурса. В какой мере любовная риторика становится у того или иного автора апроприативной стратегией? Какие смысловые скольжения происходят внутри, казалось бы, сильно кодифицированного типа повествования? Наконец, в какой мере любовный дискурс подлещит экстенсинализации и какова означиваемая им экстралингвистическая реальность? Есть ли она вообще?

Как будто бы ясно, что “стихи о Прекрасной Даме” как важнейшая разновидность лирического рода являют собой образец сильно формализованного и вместе с тем коррелирующего с реальными жизненными обстоятельствами дискурса. Однако зачастую подобная корреляция обнаруживает свою, с позволения сказать, перверсивную основу. Как показал французский исследователь Жан-Шарль Юше, “любовь к Прекрасной Даме” у трубадуров нередко приобретает “дискуртуазный” характер вследствие переключения внимания с предмета обожания (возлюбленная) на сам процесс его восхваления. Если Тристан и Изольда, по замечанию Дени де Ружмона,² любят не друг друга, а свое чувство, то приверженцы (зачастую формальные) *fin'amors* идут еще дальше и испытывают удовольствие от самого любовного дискурса, наслаждаясь им не хуже, чем если б то было тело дамы:

C'aissi vauc entrebescant
los motz e.l so afinant:
lengu' entrebescada
es en la baizada

(Т.е. “Я связываю слова и прочищаю звуки, как язык обвивает язык при поцелуе”).

Автор этих написанных около 1150 года строк Б.Марти впрямую уподобляет “удовольствие от текста” — в данном случае от работы над текстом — сексуальному наслаждению, задолго до постструктуралистов открывая механизм вербальной чувственности. И это вполне укладывается в общую парадигму *fin'amors* с ее не только сенсуалистической, но и во многом мазохистской направленностью (наслаждение текстом сродни наслаждению трубадуров собственными бедами и разочарованиями, а также такими сублимированными формами сексуального контакта, как *asag*).

Как и другие элементы куртуазной доктрины (вместе с тенью следующей за ней “дискуртуазностью”), “удовольствие от текста” перекочевывает в неоплатонический маньеризм XVI-XVII веков. Персонажи некогда весьма популярного, а ныне совершенно забытого романа Оноре д'Юрфе “Астрея” (1607-1628), условно-пасторальные сельские жители, живущие в Галлии IV века, в полной мере разделяют увлечение любовным дискурсом. Пастухи, нимфы и друиды, объединенные с легкой руки одного из исследователей в целостную общность “астрейан”, свободно владеют версификацией, изысканно вежливы в обращении, начитаны и обладают приятной внешностью (исключение составляет антигерой Гилас, чья карикатурная рыжая шевелюра отражает традиционное недоверие французов к этому цвету волос; впрочем, упомянутая шевелюра сильно поредела из-за излишне бурной сексуальной активности). Два основных занятия “астрейан” — говорение и “куры” — представляют собой фатальную неизбежность; так, мудрый Сильвандр, пытавшийся сначала обойти вторую из чаш снйх и даже получивший прозвище “Бесчувственный”, в итоге все же становится еще одним пленником Амура.

С первых же страниц романа выясняется, что все “астрейане”, независимо от той конкретной пасторальной маски, которая уготована каждому из них, являются превосходными риториками. Они умеют высказываться и по незначительному житейскому поводу, и по метафизическим проблемам, проявляя хорошее знание неоплатонических топик, знакомых из сочинений Марсилио Фичино, Леона Эбрео, Пико и других ренессансных мыслителей.

лей. Герои романа — риторы в том смысле, что они должны тронуть читателя движениями своей души, запечатленными прежде всего в слове⁴. Естественно, примитивно понятое житейское правдоподобие при этом отступает на второй план. Уместность того или иного риторического построения понимается здесь не буквально: предвосхищение классицистической “уместности” как высшей нормы сочетается с идущей от Гийома Дювера риторической концепцией (“этот тип речи подобен прекрасному и здоровому телу, где ничто не преувеличено, не раздуто, а с другой стороны жилы не выделяются, кости не выпирают из-под кожи...”⁵). Автор романа находит нужную ему риторическую интонацию в греческом романном хронотопе, который во многом и являлся порождающей моделью для неоплатонической прозы XVII века, однако счастливо избегает совершенно задушившей эту прозу ходульности. В самом начале “Астреи” пастух Селадон, пытаясь из-за своей несчастной любви утопиться в реке Линьон, проявляет великолепное красноречие в обращении к ленте с одеяния возлюбленной, которую он закрепляет у себя на руке. “Будь свидетельницей, о дорогая лента, что я предпочел свести счеты с жизнью, чем разрубить хотя бы один из узлов моего чувства. И когда меня уж не будет в живых, пусть узрит тебя жестокосердная на моем бездыханном теле и поймет, что не было еще на свете такой любви, как моя любовь к ней, и что не видел еще свет столь же несчастного возлюбленного”⁶.

Селадон — мастер устной любовной риторики — столь же искусно владеет и риторикой письма. Примером может служить послание, отправленное им Астрее по воде: “Плыви же, письмо, чей удел счастливее, чем удел того, кто его отправляет; ибо достигнешь ты берега, где обитает возлюбленная мною пастушка; и коль скоро в плавании своем, сопровождаемое моими слезами, что переполняют реку, коснешься ты песка, где запечатлелись следы ее шагов — останови там бег свой, обрети блаженство, мне в моей скорби недоступное. Буде же окажешься ты в ее ручках, что похитили мое сердце, и спросит она тебя, как я провожу дни свои, ответствуй: денно и ночью исходит слезами, дабы смыть пятно ее неверности”.

Лента, письмо — предметы. Они вообще-то немые и получают голос благодаря Селадону. Для “Астреи” это чрезвычайно важно: тут истинность вещей удостоверяется их переводом в план дискурса. Большинство же вещей, окружающих героев, остается безголосыми, именно потому роман производит несколько призрачное впечатление. Зная об этом, персонажи “Астреи” охотно и подолгу повествуют о своей любви. Чеканность соответствующих формулировок, ясность анализа, предвосхищающая картезианский *lumen naturalis*, рационалистическое обшаривание и ощупывание житейских казусов не исключают перебора традиционных неоплатонических, неокуртуазных топик — в точке их пересечения возникают поучения, заповеди. Селадон сооружает в честь Астреи — и своей возлюбленной, и той древнегреческой богини, чье имя она носит — лесной храм, на стене которого размещается полотно с изображением двух Амуров (символ нерушимой любви). В низу картины начертаны “Двенадцать любовных заповедей”; вот как звучит первая из них (перевод наш):

Любви кто ищет образцовой,
Пусть сбросит разума оковы.
Умеренность любви во вред,
А для любимой — поношенье.
Любовной верности обет
Не терпит вялого служенья.

Смысл последующих заповедей — постоянство в любви (№2), самопожертвование, перерастание любовного служения в смысл жизни (№3), самосовершенствование во имя возлюбленной (№4). В соответствии с пятой заповедью влюбленный призван ни в коем случае не допускать посрамления дамы; в соответствии с шестой — отомстить за навет. Любовь — это признание совершенства возлюбленной во всех отношениях и осуждение всех тех, кто недостаточно ее почитает (№7). Чувство поработает волю, гипнотически действует на возлюбленного (№8), который полностью перевоплощается в свою даму (№9) и если не телом, то душой неизменно рядом с ней (№10). Приведем полный текст двух заключительных заповедей (перевод наш):

Сам заключив себя в темницу,	В любви вечной усомниться
В уме охотно повредится	Ни на мгновенье не годится.
И, пленом насладиться рад,	Кто порицает постоянство —
Любовно кандалы лаская,	Влюбленного заклятый враг.
За честь служенье почитая,	Его и слушать святотатство,
Не ждет, не требует наград.	А слушаться нельзя никак.

Совершенно очевидно, что “Двенадцать любовных заповедей” представляют собой прививку популярных в XVI веке во Франции неоплатонических идей ко вполне традиционным для куртуазной философии топикам. В этом плане “Заповеди” становятся красочным аргументом “женской” партии в затянувшемся “споре о женщинах”, имеющем во Франции весьма почтенную родословную от Андрея Капеллана (“Трактат о куртуазной любви”, около 1185–1187) до Маргариты Наваррской (“Гептамерон”, около 1542–1549). Кстати, сама идея двенадцати правил поведения возлюбленного почерпнута, вероятно, именно у Андрея. (Правда, последний приземленнее, практичнее: не добивайся любви дамы, чье сердце отдано другому (N3); отдаваясь любовным утехам, не злоупотребляй желаниями возлюбленной (N12)⁷.)

Интересно, что аргументация в пользу “любви возвышенной” оказывается в романе оттененной, — возможно, в какой-то мере помимо авторской воли — весьма отчетливо артикулированными реверансами в сторону “любви земной”, приверженцем которой выступает в “Астрее” Гилас. Среди “астреян” Гилас одинок. Однако во второй



половине XVII века он уже воспринимается как единственный по-настоящему живой, слепленный с природы, а не условно-пасторальный персонаж (так он охарактеризован в “Любви Психеи и Купидона” Лафонтена, 1669: “это настоящий герой из “Астреи”. Это человек, который более необходим в романе, чем дюжина Селадонов”⁸). Это вполне закономерно: несмотря на свое явное тяготение к узнаваемому типу “галльской” традиции, Гилас во многих отношениях превосходит стиль жизни и мышления петиметров той эпохи (он румянится и пудрится, а его речи выказывают виртуозное владение кодом любви-наслаждения).

Стихия говорения, проговаривания чувства, хотя бы и поверхностного, пленяет и Гиласа. Не случайно как-то раз он замечает: “Мое дело не убивать, а беседовать.” Так могли бы сказать о себе и другие “астреяне”. Но вот реплика Гиласа совсем иного свойства, явно характеризующая его как либертена действия: “Опыт достовернее слов”. При этом, конечно, имеется в виду, насыщенный “донжуанский список” Гиласа, предмет постоянных подтруниваний со стороны “астреян”. Но не достоин ли осмеяния и его антагонист, агеласт Сильвандр (правда, сам Сильвандр предпочитает характеризовать свой агеластизм как “чудную любовную меланхолию”).

Не кто иной, как Гилас производит незначительную “ретушь” в пресловутых “Двенадцати любовных заповедях”, и на свет рождается следующие заветы:

Любви кто ищет образцовой, Не сбросит разума оковы. Безудержность любви во вред, А для любимой — поношенье. Любовной верности обет — Не повод к самоистреблению.	Поможет разум из темницы, Не мешкая, освободиться. Свободой насладиться рад, Пустые вздохи презирая, Игрой служенье почитая, Он добывается наград.
---	---

В капризах чувства усомниться
Ни на мгновенье не годится.
Кто восхваляет постоянство —
Влюбленного заклятый враг.
Его и слушать святотатство,
А слушаться нельзя никак.

Проповедуемая Гиласом разумная сдержанность в делах сердечных переключается не столько с тезига трубадуров (несовместимая с похвальбой самодисциплина), сколько с хладнокровием Андрея, с его излюбленным биномом *sapiens-prudens*. Другой его источник — распространенные на рубеже XVI-XVII веков во Франции неостоицистские веяния (упомянутый Дювер и Франциск Сальский). Но не следует преувеличивать философской глубины построений Гиласа — так же, впрочем, как и выкладок его антагониста Сильвандра. Спору нет, рассуждения последнего, например, о роли зрительных впечатлений в возникновении любви или о разнонаправленных “магнитах”, обуславливающих взаимное притяжение или же отталкивание людей, можно связать с теми или иными пассажами в сочинениях представителей флорентийской Академии. Однако Дж.К.Арган в своей книге о Боттичелли справедливо педантирует светский, квазифилософский характер построений флорентийских неоплатоников: под тонкой кожей метафизичности скрывается весьма абстрактный идеал поэзии, любви и красоты⁹. И если в XVI веке французские поклонники Марсилио Фичино еще пытались привязать неоплатонизм к собственным этическим, теологическим, а то и лютеранским (Маргарита Наваррская) пристрастиям, то во времена Оноре д’Юрфе неоплатонизм окончательно перекочевывает из философской в спекулятивно-риторическую сферу, что приводит к формированию салонного метаязыка на неоплатонической основе уже в рамках прециозности (см. ниже).

Итак, “Астрея” выводит на сцену — аналогия с театральной площадкой подсказана самим автором — героев, одержимых не столько страстным влечением к своим возлюбленным, сколько “любовью к дискурсу”, неутолимой жаждой говорения. Одна из причин сего феномена раскрывается самим Оноре д’Юрфе: “любовные раны обладают такими свойствами, что чем глубже они сокрыты и чем дольше хранятся втуне, тем больше отравляют человека”. В этом смысле проговаривание любви имеет терапевтическое значение. С другой стороны, язык выступает как способ упорядочения маньеристического “лабиринта страстей”, и в этом плане “Астрея” превосходит классицистическую рационализацию любви. Наконец, д’Юрфе пытается сделать выбор между несколькими риторическими концепциями рубежа XVI-XVII веков: естественный стиль Дювера (линия, идущая от Петра Рамуса); свойственный иезуитам культ экфразы (ее образцы имеются и в “Астрее”); маньеристическая суггетивность, “эмоциональный пыл” (Ф.Патрици) и “героический энтузиазм” (Дж.Бруно). Несоединимость различных линий в риторике, столь беспокоившая Паскаля (см.10), не воспринимается столь болезненно д’Юрфе, хотя и он отдал дань квазифилософской моралистике, скорее тяготеющей к открытому Монтенем жанру эссе (“Нравственные послания”, 1598). Противоречия снимались в рамках необъятного дискурсивного целого, размыкались в величественных водах реки Линьон, таяли в романе-реке, который иные исследователи смело уподобляют нарциссической эпопее Пруста.

Слово “прециозницы” в специальном значении впервые зафиксировано в письме Рено де Севинье Кристине Французской (герцогине Савойской) от 3 апреля 1654 года. При этом оно отнесено к парижанкам, придерживающимся особо вычурного стиля речи. Здесь же упомянута “Карта Прециозного Царства”, якобы составленная неким маркизом де Молеврие.

Итак, первое упоминание о прециозности — это упоминание о прециозном дискурсе и прециозной “топогра-

фии”, получившей затем широкое распространение (ее наиболее известным образцом является “Карта Страны Нежности”, приложенная к роману Мадлены Скюдери “Клелия”). Метаязык и карта по идее могли бы выступать как средства апроприации. Однако, по сути дела, перед нами стратегия предельного дистанцирования от реальности, ухода в эзотерическую, сильно формализованную игру.

В “Катехизисе прециозниц” содержится следующая картинка поведения учениц Мадлены Скюдери: “Медленно отвести глаза, с изяществом опустить голову, а затем не спеша поднять лицо, но смотреть на окружающих лишь через плечо”¹¹.

Лучше и не сформулируешь “латеральную” стратегию маньеризма, вскрытую отцом итальянского трансавангарда А.Бонито Оливой¹².

Дистанцирование от реальности, боковой взгляд на нее осуществлялись маньеристами разными способами. Предложенный прециозницами способ отличался особым радикализмом. Самоописание прециозности должно заставить нас поверить в то, что наряду с “фальшивыми”, “смешными” прециозницами — им посвящена одноименная пьеса Мольера (1659) — существовали еще и “истинные” прециозницы — пьесе с таким названием написал в ответ Сомэз (1660). Если первые отмечены невероятным жеманством поведения и речи, раскованностью наряда, в общем, карикатурностью, то вторые якобы придерживались “любовного янсенизма”, вели многочасовые беседы по подчас незначительным вопросам и отличались кротостью нрава. Однако этим типология светских дам 50-х годов XVII века не исчерпывается: по другой схеме, следует различать “прециозниц”, “кокеток” и “интеллектуалок” наподобие Нинон де Ланкло (*esprit fort*), или же “целомудренных” и “кокетливых” прециозниц... Но общая модальность всех этих систематизаций остается сослагательной.

Словарь прециозного языка, составленный Сомэзом (1660-1661), отличается невероятным герметизмом. Пользоваться им разрешалось лишь с согласия всех участников беседы. Основным пафосом словаря стала охота на вульгарное говорение (так, перед госпожой де Рамбуэ, по свидетельству Таллемана де Рео, не осмеливались произносить слово “зад”; следующей ступенью стало устранение из языка всех слов, которые звучат с ним сходным образом (например, “культ” — по-французски *culte*, ср. *cul* — зад.) Изгонялась и буква “К”, потому что ее название (“ка”, как и в русском) ассоциировалось с наименованием полового органа (*cas*).

Изобретение же новых слов, которое собственно говоря и являлось предметом особой гордости прециозниц, на поверку имело крайне слабый семиургический эффект. Все эти “лукавые низы” (зад), “царства Вулкана” (камин), “меблировки рта” (зубы), “внутренние ванны” (стакан воды), “троны целомудрия” (щеки) употреблялись, по всей вероятности, в реальной речи крайне редко. Так что и Мольер, подвергший прециозниц (каких?) едкой осмеянию, и вступившийся за них Сомэз, и третий из евангелистов прециозности аббат де Пюр, автор четырехтомного сочинения “Прециозница, или Тайна салонов” (1656-1658) совместно творят некий культурный миф. Из него невозможно уяснить себе ни референциальную ценность языка прециозности, ни его реальную распространенность, ни соотношение “истинных” и “смешных” прециозниц; на фоне той “империи дискурса”, какую представляла собой эта культура, любая интерпретация выглядит правомочной.

О том, что это была именно такая империя, свидетельствует хотя бы следующее: именно в прециозную эпоху широко распространяется слово “обже” в значении “человек — предмет любовного увлечения”. Предмет любви, но и предмет дискурса, и даже прежде всего предмет дискурса.

Другой штрих: в пьесе “Тяжба против прециозниц” (1660) Сомэз сконструировал искусную дискурсивную симуляцию. Дворянин Риберкур завел в Париже тяжбу против прециозниц (и в конце концов выиграл ее) за изобретение непонятного и нарушающего естественные человеческие нормы языка. Однако выясняется, что весь процесс был бутафорией. Таким образом, перед нами двойная симуляция: сам язык и тяжба вокруг него. Мир колыхается, и дискурс — единственная соломинка, за которую можно ухватиться.

Вот до чего довела начавшаяся в конце XVI века “дискурсивная ферментация” (Мишель Фуко). Любовь к дискурсу приводит к его отслаиванию от реальности. Послания, беседы “на разного рода темы” (М.Скюдери), буримы и другие жанры литературного быта расходятся с праксисом, насыщенным иной — галантной — ментальностью. Но прециозность оказывается быстротечной; становление же галантного дискурса в пределах XVII века не реализуется (оно произойдет в следующем столетии, в рамках рококо).

Как тут не согласиться в Жаном Бодрийаром:

“Сказав: я вас люблю, вы тем самым объявляете о своей любви к языку.

СТАЛО БЫТЬ, РЕЧЬ УЖЕ ИДЕТ О СВОЕГО РОДА РАЗРЫВЕ И НЕВЕРНОСТИ”¹³.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Huchet, Jean-Charles. *L'amour discourtois*. Toulouse, 1987.
2. Rougemont, Denis de. *L'amour et l'occident*. P, 1939. P.27.
3. Цит. по: I, с.7.
4. Chabert, Nicole. *L'amour du discours dans l'Astrée*. - In: *XVII e-siècle*. - 1989. - N 133. - P.393.
5. Fumaroli, M. *L'âge de l'éloquence*. Geneve, 1980. P.512.
6. Все цитаты из “Астрей” приводятся по единственному в XX веке полному изданию: Urfé, Honoré d'. *L'Astrée*. Lyon, 1925-1928.
7. Le Chapelain, André. *Traité de l'amour courtois*, P, 1974. P.91. Новейшие интерпретации трактата усматривают в нем прежде всего проигрываемую на любовном материале школу рыцарского служения; в этом плане *l'amors* подобна турниру. Американская медиевистка Бетси Боуден даже предлагает свою версию названия трактата: *The art of courtly copulation*; француженки же Даниэль Жакар и Клод Томассе

усматривают в нем своего рода учебник сексологии. См: Duby Georges. *Mâle moyen âge*. P., 1988.

8. Лафонтен, Жан де. *Любовь Психен и Купидона*. М.-Л., 1964. С.54.
9. Argan, Giulio Carlo. *Botticelli*. Genève, 1957.
10. Barilli, Renato. *La Retorica*. Milano, 1983.
11. Avigdor, Eva. *Coquettes et precieuses*. P., 1982. P.87.
12. Bonito Oliva, Achille. *L'ideologia del traditore. Arte, manieri, manierismo*. Milano, 1976. P.15.
13. Baudrillard, Jean. *Cool memories. 1980-1985*. P., 1987. P.192.

МАХОВ (ПОПРАВЛЯЯ ГАЛСТУК И СО ВСЕВОЗМОЖНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ откинувшись в кресле). Тут мы имеем...

ПЕШКОВ (машинально). Или хотим иметь...

МАХОВ (машинально). ... или хотим иметь любовь под маской слова или даже, может быть, вырождение любви в чистую риторiku, словоговорение.

ПЕШКОВ. Я попросил бы не осуществлять бессмысленных словоупотреблений слова "риторика".

МАХОВ. А ты сначала дай нам осмысленное, а потом и накладывай табу единственно верного и передового учения о риторике поступка. Но до той поры я буду воспринимать словосочетание "риторика поступка" в той же плоскости, где лежит "круглый квадрат".

ПЕШКОВ (делает круглые глаза).

МАХОВ. И не надо делать круглые глаза. Они не квадратные. Никакое "витийство телесное" не спасает риторiku поступка от абсурдности самого факта ее провозглашения. К тому же при чем здесь любовь? Любовь — асемiotизация жизни, очищение ее от чешуи знаков: слов, жестов, одежды. А риторика, наоборот, ее семиотизация. Кирилл же пишет: "не апроприация, а дистанцирование" от реальности происходит в любовном дискурсе.

ПЕШКОВ. В таком случае и сама любовь есть дистанцирование от реальности. Движение, бег по дистанции возможен только с речевой подпиткой. Невозможно уйти от плоской — или наоборот пышной — материальности молча. Рационализм познания всегда механистичен и молчалив. Безжалостное зрение работает в паузе идеализма речи. *Bios theoretikos* — переводится как жизнь созерцательная, любовный *Bios praktikos* требует музыки слов, уводящих в ритме от холодного анализа.

МАХОВ. И поэтому всякая идеология (в широком, более широком, чем в "Сумме" смысле) ритмична, а теория аритмична, холодна, безлюба.

ПЕШКОВ. Ну, о безлюбости надо, чтоб написала Шелогурова, она любит И. Анненского, а тот певец безлюбости. Нам бы с влюбленными в дискурс разобраться.

МАХОВ. И ничего особенного: просто слово "филология" оборачивается здесь своей изнанкой, задолго до Барта.

ПЕШКОВ. Я же, как всегда, вижу здесь более общую матрицу: не хотел бы быть назойливым, но в описании Чекалова XVI-XVII век просто в форме романа повторил теогонистическую картину рождения эроса из хаоса.

МАХОВ. Сударь мне в ответ не хочется выглядеть педантом, но из хаоса обычно все-таки рождается космос...

ПЕШКОВ. Ну пусть эротический космос. Дело было так: природный хаос, именуемый в науке о любви термином промискуитет, почему-то стал семиотически организовываться, койтус стал главным событием, центром, в котором был Бог до пришествия постомодернистов. Этот Бог Эрос и дал обоснование первой идеологической системе. Технологию не буду подробно описывать... Прочитай у Фрейденаберг.

МАХОВ. Какой устойчивый бред!

ПЕШКОВ. Я сам удивляюсь. Но считаю необходимым этот бред договорить до конца.

МАХОВ. Так издай уж лучше книжку и освободись.

ПЕШКОВ. Ну хорошо, уговорил, готовь деньги (заливисто смеется). И тем не менее посмотри, как точно все смоделировано в "Астрее". Люди-животные (пастухи, фавны, нимфы) сначала просто предаются любви, а потом все более озвучивают свою любовь, творя из нее миф.

МАХОВ. А далее возникают теории любви и правила под номерами. Риторика познания?

ПЕШКОВ (не замечая иронии Махова). Угу. Любовь по правилам (ритуал), потом осознание этих правил, и после этого Эрос уже не страсть, желание иметь, а страсть познать. И вот результат: мы уже не хотим иметь женщину, мы хотим познать женщину, потом хотим познать женщину вообще (Прекрасную Даму, например), потом вообще хотим познать — и все. Вся историческая сублимация от эроса до эйдоса.

МАХОВ. Забавно об этом у Биткевича.

ПЕШКОВ. Да, так сказать, современный философский вариант все того же.

МАХОВ. Тебе не скучно везде видеть свои теории?

ПЕШКОВ. Что делать? Скучно на этом свете...

Господа Махов и Пешков смущенно смотрят друг на друга, потому что в это время с того света, как это уже заведено в издательстве "Лабиринт",
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПАРОЙ

Прозерпина

И КЛЕОПАТРА В СОПРОВОЖДЕНИИ

О. Добгий

"ПОЧТИ ВСЮ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ XIX века река английской поэзии текла среди романтических

берегов. Допевались последние Песни Познания, сами творцы, еще продолжавшие жизненный путь, осмысливали свой литературный опыт в мемуарах и теоретических трактатах, а река все уходила за поворот, в спокойный, хоть неровный и пестроватый пейзаж викторианской эпохи", — пишет современный исследователь и замечает, что викторианская эпоха в английской поэзии началась в 1840-х годах, когда вышли в свет первые сборники А.Теннисона, Р.Брунинга, М.Арнольда.

А мы попробуем повнимательнее присмотреться к одному из плывущих по этой реке, благо он плывет уже давно (с ним рядом начинали плыть Байрон, Лэм, Хэзлитт, Ли Хент), и вот их уже нет — и с ним рядом другие пловцы — Суинберн, Брунинг, Теннисон. И тема реки, водной стихии ему близка, как никому: и астрологически, и творчески. Речь идет о Барри Корнуолле, поэте, в имени, в биографии и в творческой судьбе которого отразились воды этой реки. Барри Корнуолл — Брайан Уоллер Проктер. Два имени — как две ипостаси этой загадочной личности — как две эпохи, соединившиеся в ней. (Воистину пророчески он поступил, взяв в самом начале своего речного путешествия псевдоним, словно предчувствуя, что путешествие будет долгим; и для эпохи романтизма он был Барри Корнуолл, а поэты следующей эпохи называли его Проктер). Поэт-романтик и скромный юрист, инспектор комиссии по делам умалишенных. Личность, действительно, загадочная, фигура в истории английской поэзии уникальная. Может быть, не последнюю роль в создании особого магнетизма его личности играет то, что он был рожден под знаком Скорпиона, очень сильным, самым энергетически мощным знаком, девиз которого: "Умри, но будь!" Может быть, поэтому так тянуло к нему всех поэтов-романтиков? Энергетический обмен невероятной силы! Эта мощная энергия необходима им, но ведь и он заряжается от них! И когда он попадает в викторианскую эпоху, поэты нового поколения не могут устоять перед его магнетизмом, заряжаются не только его неиссякаемой энергией, но, через него, и энергией тех, ушедших. Река течет дальше...

1837 год... Воцарение Королевы Виктории. Смерть матери Корнуолла (это событие, безусловно, символическое, знаменующее границу двух эпох в жизни человека). Смерть Пушкина (его предсмертное письмо — о пьесах Корнуолла — как обращение к этому мощному источнику энергии, астрологически предназначенному — для него). Рождение 5 апреля Суинберна, поэта, которому астрологически была предначертана любовь к Корнуоллу. Причем любовь, неразрывно связанная со смертью. Для Суинберна, родившегося под знаком Овна, Скорпион-Корнуолл — Знак Смерти, к которому влечет с неистовой силой, а Пушкин, в свою очередь, Знак Смерти для Корнуолла. (Может быть, еще и этим объясняется неожиданный, на первый взгляд, феномен многолетней привязанности Пушкина к Корнуоллу?).

Три поэта, хотя не знакомы пока между собой (а Пушкин никогда при жизни не познакомится ни с Корнуоллом, ни с Суинберном), но астрологически связаны неразрывно. Их связал переломный 1837 год — конец эпохи Пушкина (ведь англичане и сейчас называют его "русским Байроном", подразумевая его полную принадлежность эпохе романтизма) и начало новой эпохи в поэзии, которая формально отмечена рождением

другого поэта — Суинберна. Не случайно из всех викторианцев Суинберн был наиболее привязан к Корнуоллу, посвящая ему элегии, поэтически воспевая его смерть.

Темы любви и смерти главенствуют у Корнуолла — в этом смысле подлинного романтика; главенствуют в каких-то особых женских обликах, женских персонализациях, для которых не подобрать лучших имен, чем Прозерпина и Клеопатра.

И та и другая олицетворяет (но как по-разному!) Любовь и Смерть. И та и другая преследует Корнуолла, создавая особый тон, особую музыку его поэзии и являя собой как бы две ипостаси его идеала, его Музы.

Любовь живых к живым. Любовь живых к мертвым, любовь мертвых к живым — у Корнуолла нет здесь четкой границы. Может быть, это нежелание различать смерть и жизнь объяснимо биографией поэта? В возрасте пяти лет он пережил первое серьезное увлечение, но девочка умерла — и на всю жизнь тема больной, увядающей красоты, красоты и любви на грани между жизнью и смертью останется одной из важнейших у Корнуолла.

И еще раз вернемся к водной стихии. Скорпион — водный знак, и глубокий водный поток буквально захлестывает произведения Корнуолла, затягивает его героев. Многие герои драматических произведений Корнуолла (мужчины) совершенно определенно принадлежат к водным знакам Рака или Скорпиона. Их обуевают темные страсти, не дают покоя мечты о мести, мучает ревность; они совершают кровавые преступления, их настигает безумие. И страдают и мучаются такие герои у Корнуолла, как правило, не только сами, но и затягивают в ад мучений женщину.

Вот мы произнесли слова: “затягивают в ад” — это значит, что речь пойдет о Прозерпине. Этот миф у Корнуолла дважды представлен в чистом виде: в сцене “Похищение Прозерпины”, где поэт рисует очень яркую картину появляющегося из глубин Тартара Плутона, который уводит Прозерпину от подруг; и в “Людовико Сфорца”, где герой мечтает о том, чтобы художник изобразил его в виде Плутона, а его возлюбленную Изабеллу — в виде Прозерпины, собирающей цветы.

Но чаще миф о Прозерпине и Плуtone оказывается как бы запрятанным в подсознание героев Корнуолла. Во многих его произведениях мужчина, очень сильный, властный, могущественный, загорается безумной страстью к женщине, часто принадлежащей другому. Женщина у Корнуолла в волевом отношении гораздо слабее, она подчиняется либо желаниям родителей, либо тому, кто определен ей в мужа. Будучи отданной во власть этого человека, она проявляет кротость, смирение, хранит верность нелюбимому. И когда около нее появляется влюбленный юноша, часто поэт, музыкант, она не смеет принять смелого решения и в большинстве случаев умирает — либо от разрыва сердца (хоть в этом судьба и Корнуолл милостивы: желанная смерть, о которой героиня молит, ей обычно посылается), либо ее убивает герой.

Любовь счастливая, взаимная, кажется, очень мало занимает поэта. Счастливой любви нет места в скорпионской поэтике драматургии Корнуолла. Как тут не вспомнить, что покровитель Скорпиона — Плутон! И все герои Корнуолла несут очень явную печать этого темного страшного бога. Водный герой Корнуолла не может вынести гармонии чьего бы то ни было союза. Если счастлив с молодой женой юный родственник героя, то он обязательно этого счастливицу отравит, чтобы завладеть и его женой, и его властью (Сцена “Людовико Сфорца”). Если самому герою судьба послала счастливый брак и любимую жену, то он не сможет с этим примириться, начнет терзать и мучить и себя и жену подозрениями, ревностью, очень часто беспочвенной (например, к брату жены, как в сцене “Хуан”), и в конце концов, потеряв рассудок, убьет любимую и любящую жену. Герои Корнуолла ревнивы все без исключения — но особо страшные формы принимает это чувство, когда ревнуют к мертвому. Вот здесь сказывается и принадлежность к знаку Скорпиона, ревнивому, мстительному до садизма (в жизни Корнуолл этих качеств не проявлял, но, может быть, он потому и поражал всех своей гуманностью и полным отсутствием зависти, что сумел освободиться от темных качеств, астрологически присущих всем Скорпионам, передав их своим героям?), и опыт работы Корнуолла инспектором комиссии по делам умалишенных. Безумие, возникшее на почве ревности, и часто ревности к мертвым — здесь Корнуолл не знает равных! Его герой, с рождения обреченный на убийство, находящийся под влиянием красной звезды, под влиянием любви к женщине, временно возвращается к жизни — но, по Корнуоллу, от предопределения уйти никому не удастся. Начинается безумная ревность к погибшему мужу любимой женщины, который постоянно видится встающим из волн; герой пытается бежать от преследующих его видений, бежать по океану, в горы, в монастырь — и повсюду он тащит за собой любимую женщину, постоянно мучая и терзая ее приступами безумной ревности. В конце концов красная звезда вспыхивает особенно ярко — и герой убивает героиню.

Потрясает у Корнуолла обилие статуй, участвующих роковым образом в жизни живых, умение мертвых увести за собой живых и какое-то болезненное стремление героев видеть в своих возлюбленных черты статуи, черты смерти: им нужно довести свою жертву до пограничного состояния между жизнью и смертью (а очень часто и заставить ее перейти эту грань) — и с наслаждением любоваться ею. Вообще для героя Корнуолла живая, здоровая женщина не представляет интереса. Женщина должна быть на расстоянии: они расстались, он ее потерял, она умерла. Вот тогда тиран и мучитель становится рабом. Чтобы поклоняться женщине, герою Корнуолла нужно ее потерять. Плутон должен увести Прозерпину в ад, где сможет безвозмездно тянуть энергию из своей угасающей жертвы, но она каждые полгода будет от него уходить на землю.

И что же Прозерпина? Женщина у Корнуолла всегда умирает кротко, благословляя своего убийцу, никогда слова проклятий не срываются с ее уст. Чтобы заинтересовать героя Корнуолла, женщина должна быть таинственна, печальна, окружена мистической музыкой (как в поэме “Письмо Бокаччо”, где герой впервые

увидел Марию, ставшую счастьем и мучением всей его жизни, за молитвой:

Нас случай свел и францисканский храм	Мне в душу возмущенную проник
Созданье воздуха и света, может быть —	Дух музыки. Торжественные звуки
Виденье... Голос лился к небесам...	Органа — исповедью тайной муки
О, пусть воспоминанья власть продлится!	Наполнили всю церковь в тот же миг
.....	И колдовство могущественных труб
.....	Сливалось с Pater Noster бледных губ (126)
.....	Казалось,



Женщина у Корнуолла должна либо умирать от любви, либо быть похожей на умершую возлюбленную (в сцене “Людовико Сфорца”. Изабелла привлекает героя тем, что ее лицо кажется ему “посмертной маской той, умершей”), либо казаться мертвой, быть бледной настолько, чтобы герой мог воскликнуть, глядя на “мраморную руку” спящей:

Легко так дышит... — иль уж не дышит?” (25)
(заметим в скобках, что “мраморная” — это любимый эпитет Корнуолла, когда он рисует портрет героини).

Мертвым у Корнуолла часто удается достичь того, что не под силу живым. В поэме “Диего де Монтилла” девушке не удалось обратить на себя внимание героя; когда же она заболевает, угасает от любви, вид ее бледной красоты, навсегда почившей на мраморной постели, ее письмо, которое он читает после ее смерти — можно сказать, письмо от статуи! — вызывает в нем безумную страсть. Он сходит с ума и в конце концов умирает — мертвая девушка одерживает победу: уводит возлюбленного в свой мраморный дом.

Образ желанной женщины двоятся: то ли это ожившая статуя, то ли живая женщина, настолько чистая и идеально-безупречная, что может выдерживать сравнение с античными статуями (может быть, в идеале, всем, кроме самого властелина этой женщины, она должна казаться бесстрастной, холодной статуей — и лишь ему одному служить неиссякаемым источником энергии, тепла, понимания, любви и прощения). По Корнуоллу, женщина — для мужчины: пока она в этом мире, она должна от него все сносить и прощать, быть при этом прекрасной и любящей, а когда перейдет в иной мир — она все равно не должна покидать своего властелина, должна служить источником его поэтических грез и вдохновений. По Корнуоллу резкой границы между миром живых и миром мертвых не существует. Перед тем, как отпустить Прозерпину на

землю, Плутон дал ей проглотить зернышко граната — символ брака. Принадлежащая двум мирам одновременно, Прозерпина каждые полгода покидает царство Плутона, движимая любовью к безутешной Деметре, — и по прошествии половины года любовь к повелителю царства мертвых увлекает ее обратно.

Но было бы неверным представлять корнуолловский идеал женщины лишь в виде различных модификаций образа Прозерпины, покорной, смиренной, послушной своему властелину.

В стихотворении “Певице” есть строки, отражающие и иные грани корнуолловского восприятия женщины: “Ты можешь быть всем, чем захочешь — от королевы-орлицы до голубки-весталки”. Корнуолла привлекают обе крайности. И если “голубка-весталка” в его понимании — это Прозерпина, со всеми оттенками этого образа, то “королева-орлица” — это, без всякого сомнения, Клеопатра — для водного героя Корнуолла образ манищий, неотвязный, роковой. С кроткой весталкой, “корнуолловской женщиной”, герой может делать все что угодно. Прозерпина у Корнуолла — это любовь, смирение и смерть, принимаемая безропотно. Клеопатра — тоже любовь, но еще и вечный праздник, вулкан; тоже смерть, но смерть для тех, кто любит ее (она вытягивает энергию и саму жизнь из своих жертв — и они благословляют и благодарят ее за это), а ее собственная смерть — это не смирение и покорность, а вызов судьбе. Такую женщину водному герою Корнуолла не утянуть в ад своих безумств; перед такой женщиной он сам готов благоговейно преклонить колени. Она не для него — корнуолловский герой это прекрасно понимает, но она влечет к себе тем неодолимее, чем более недостижимой она оказывается. И ключевое слово, характеризующее отношение героя к Клеопатре, — “обожать”. Клеопатра является многим героям Корнуолла (как правило, это видение, образ, встающий из вод — здесь корнуолловская стихия дает о себе знать!). Герой “Людовико Сфорца” с восхищением описывает жемчуга, которыми Клеопатра украсила волосы (заметим в скобках, что жемчуг — как известно, камень несчастливый, означающий слезы; и Клеопатра — это слезы и муки для всех, на чьем пути она встречается). Апофеоз восхищения корнуолловского героя и этой великой женщиной — в стихотворении “Видения”:

Никто не сравнится с тобой,
Никто не сможет так смеяться,
Так любить и так умереть.

Чары Клеопатры замешаны на Любви и Смерти — и спасения от них нет.

С образом Клеопатры связан образ волшебницы — артистки, эдакой корнуолловской Лауры (аналога Лауры пушкинской), уже оставившей этот мир, уже перешедшей за грань земной жизни. Она смотрит на героев Корнуолла с портретов, и не поддаться запредельной магии Музыки, Любви и Смерти невозможно. Отношение корнуолловского героя к ней такое же, как и к Клеопатре: благоговейный восторг, обожание, восхищение тем, что недоступно и прекрасно.

Была в жизни самого Корнуолла Клеопатра? Может быть. Была ли это Маргарет Блессингтон, автор "Разговоров с Байроном", или еще какая-то столь же блистательная, экстравагантная женщина необычной судьбы? Не знаем — значит, и не надо знать.

Корнуоллу и его герою были необходимы обе: и Прозерпина, и Клеопатра, ангел-хранитель и бес-искуситель. Две женщины, два имени, две эпохи Корнуолла-Проктера.

Глубокая водная стихия...

РЕКА АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ...



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Парин А.В. Предисловие // Прекрасное пленяет навсегда: из английской поэзии XVIII-XIX веков. — М., 1988. — С.7.
2. Переводы стихотворений, цитируемых в статье и помещенных в "Приложения", выполнены И.С.Кузнецовым по изданию The Poetical Works of Milton, Bowles, Wilson and Barry Cornwall. — Paris, 1829. — В скобках указывается страница этого издания (4-я пагинация).

ПЕШКОВ (сидя в кресле, замороженный ритмом статьи, засыпает глубоко).

МАХОВ (которому с утра понравилось читать стихи, делает это с переводами И.С.Кузнецова, пытается разбудить Пешкова).

БАРРИ КОРНУОЛЛ

СОНЕТ

Быть может, в этот миг ты взор свой подняла
К ночному небу. Лишь одна звезда
В немой ночи сияет. Никогда
Не меркнет свет трепещущий с Востока,
И будто в диадеме — ночи мгла.
Но посмотри, сей слабый свет до срока
Не отклоняется в движении своем —
Вперед и ввысь, пронзая водоем
Небес. Так — счастлив был бы я
Служить тебе, как верная планета,
Хоть со звездой сравнима только ты,
Нет, ярче звезд! Сильней небытия
Мольба моя: приди! И до рассвета
Мне душу озари сияньем красоты.

МАГДАЛИНА

Я помню, помню все. Таким лицом
Залюбовался б Гвидо, хоть его
Легучий карандаш бессилён был бы
Всю прелесть черт небесных передать.
Она собиралась в путь, дом сиротел...
Я видел там подушек рыхлый снег,
Почти не смятый тенью тела склон
Горы покатой. Бледный лоб ее
Прекрасен был, как бледный мрамор статуи,
Которого коснуться невозможным
Казалось мне. И голубая жилка,
Как локон, по виску ее вилась,
Другая — по руке, как лист, прозрачной.
Дрожали губы, щеки покрывал
Румянец яркий, но его
Пыланье было скорбным. А глаза
Смотрели взглядом юной Магдалины,
Прощающей с миром...

Переводы И.Кузнецова

ПЕШКОВ (внезапно просыпаясь). Что смолкнул веселья глас!

МАХОВ. Голос веселья умолк, потому что ты уснул.

ПЕШКОВ. А ты спроси меня, почему я это сделал.

МАХОВ. Почему же ты, Млечный Кот, это сделал?

ПЕШКОВ. Я сделал это из терапевтических соображений. Не так давно, на стр.32 ты сказал, что у меня бред. Я вспомнил, что психиатр З.Фрейд лечил своих пациентов сном. И знаешь, что мне приснилось?

МАХОВ (пристально смотрит на Пешкова).

ПЕШКОВ. Знаешь, знаешь.

МАХОВ. Нет-нет.

ПЕШКОВ. Да-да: мне приснился твой сон и даже с заглавием. "Страшный сон главного редактора".

МАХОВ. Не верю.

ПЕШКОВ. А что ... особенного? Пока тут бушевал смертельный танец любви в исполнении Прозерпины и Клеопатры под руководством Ольги Львовны, почему же мне не мог присниться твой страшный сон, написанный ею же?

МАХОВ. Тебе на ночь нужно читать что-нибудь акти-фрейдистское, чтобы ничего лишнего не снилось.

ПЕШКОВ. Хорошо. Но этот метафизический блок уже кончился.

Как начнется следующий, включим

в него кусок двухголосого Бахтина-Волошинова под названием "Фрейдизм".

Авось полегчает.

ФИЗИКА



МАХОВ (выглядывает из-под массивного имени блока).

И в самом деле. Что мы (фрфарилиф) в такие сферы, где речи (значение темно или ничтожно, но тем не менее), сны, мысли. Чистая, святая, первобытная физиология опутана каким-то мифом, некой (озирается по сторонам - нет ли где Пешкова) риторикой познания. Чтоб он наконец написал о ней книгу и перестал докучать мне! У меня дома уже целый архив, куда ни плюнь — в рукопись Пешкова попадешь. Пыльно.

ПЕШКОВ (с грохотом спрыгивая с книжного шкафа с рукописью в руках). Вот.

Ты хотел физики? Ты ее получишь. Вот, хоть и история, но история проституции.

Значит, рубрика

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

МАХОВ. Bravo, удачно вписывается. Кто же еще так наедине со всеми, как не проститутка. В русской классической литературе, правда, подход к ней скорее метафизический. Но мы, слава Богу, во Франции. Там люди, оказывается, влюблялись не только в дискурс, и любовь происходила по временам без особой риторики.

ПЕШКОВ. Ну это вопрос спорный. Вспомни де Сада. Вот кто предпочитал публичные дома, но уж молчаливником его никак не назовешь. Вообще физика любви гораздо более глубока, чем метафизика. Последняя рано или поздно проясняется речью. Первая так и остается черной, невыясненной дырой сознания.

МАХОВ. Дыра в голове?

ПЕШКОВ. Наоборот. Но я не об этом.

МАХОВ (строго). А я о чем?

ПЕШКОВ. Ладно, хватит болтать,
ПРОЙДЕМСЯ ПО БОРДЕЛЯМ.

Из истории

сексуальной жизни во Франции



I. ИСТОРИЯ ПРОСТИТУЦИИ КАК УКАЗЫВАЕТ Ж.РОССЬО,

(Сводный реферат*)

до сих пор "история проституции

совершенно не привлекала внимания медиевистов" (2, с.19), и имеющиеся исследования носят, как правило, локальный характер и во многом устарели. Между тем проституция в средние века являлась важным компонентом социального устройства в целом и играла определенную стабилизирующую роль.

Существовало несколько разновидностей проституции. В большинстве городов мужчины пользовались услугами домов терпимости (prostibulum publicum, он же maison commune, maison des fillettes, chauteau-gaillard). В народе эти заведения именовались "борделями". Можно почти наверняка утверждать, полагает Ж.Россью, что в XV веке не было ни одного доброго города без "доброего дома". При этом чем крупнее был город, тем внушительнее выглядел бордель: так, в небольшом Тараскове заведение носило скромный вид, а в Дижоне дом терпимости размещался в трех корпусах, свидания проходили в двадцати просторных комнатах, в каждой из которых был камин, кроме того, имелась просторная общая зала. В таком крупном центре, как Лион, дом терпимости занимал уже целый квартал. Владелец борделя должен был рекрутировать девиц (среди них более

* 1. Richard, Guy. Histoire de l'amour en France. Du Moyen Age à la Belle Époque. P., Lattès, 1985.

2. Rossio, Jacques. La prostitution médiévale. P., Flammarion, 1988.

половины составляли приезжие, по социальному же составу доминировали дети крестьян и ремесленников), заставлял соблюдать определенные правила и подчас содержал их. Подавляющее большинство владельцев борделей составляли женщины, обычно вполне благопристойные замужние дамы, зарабатывавшие на этом неплохие деньги.

Клиентура борделей была достаточной стабильной. Посещение их неженатыми мужчинами не вызывало со стороны общественного мнения никаких нареканий (кроме тех случаев, когда клиент проводил несколько ночей кряду в любовных утехах и кутил напропалую). “Брак на одну ночь” не требовал скрытности, в бордель ходили вполне степенно. Более того, холостяк, не посещающий борделя, мог вызвать подозрения (не спит ли он со служанкой? не соблазняет ли замужнюю женщину?).

Средний возраст посетителей публичных домов составлял около двадцати семи лет. Женатым мужчинам теоретически запрещалось наведываться в бордель, однако на деле это правило никогда не соблюдалось, невзирая на периодически устраивавшиеся в заведениях облавы. Начать с того, что правило это не распространялось на чужестранцев; кроме того, за некоторую дополнительную плату мужья вполне могли рассчитывать на благосклонность хозяев борделя.

Зато им совершенно не возбранялось посещать бани, которые, несмотря на многочисленные запреты, неизменно служили для тех же целей, что и бордели. Таких бань в каждом большом городе существовало по нескольку (в Лионе и Дижоне в 1470 году было по семь таких заведений). Владельцами бань были весьма высокопоставленные лица, в том числе и духовного звания. Не случайно в Лионе выражение “aller s'estuver” (идти в баню) имело в XV веке вполне определенный смысл. В банях было множество потаенных убежищ и запасных выходов на случай обыска. При этом около 20% клиентуры составляло духовенство.

Третий уровень составляли небольшие дома свиданий — частные заведения с двумя-тремя девицами. И, наконец, последняя, четвертая группа — одиночные проститутки, подбирающие клиента прямо на улице, в таверне или на ярмарке.

Власти в средние века относились к проституции весьма терпимо и ограничивались определенной регламентацией деятельности борделей. Во время эпидемий их закрывали из гигиенических соображений; во время таких церковных праздников, как Святая неделя и Рождество, — из благочестия. Не разрешалось также заниматься проституцией вблизи церкви. Взимались также довольно чувствительные налоги, но в целом усилия властей по ограничению проституции были “прохладными” (2, с.24).

В количественном отношении уровень проституции в городах был весьма высок. Так, в Дижоне к 1480 г. на 10 000 человек населения приходится более ста проституток. Сходное наблюдалось и в Авиньоне. Поневоле примешь за чистую монету старое присловье: “Не пройдешь по Авиньонскому мосту без того, чтобы встретить двух монахов, двух ослов и двух шлох”.

Значительно усложняется положение проститутки в шестнадцатом веке. По мнению историков, это связано с постепенным процессом женской эмансипации: женщина завоевывает себе пространство в гражданском обществе, обретает “идентичность” и становится менее уязвимой. На протяжении всего столетия, а особенно во второй его половине, сеть борделей сворачивается. В Лионе бани разрушаются, в Дижоне закрываются, в других городах их перемещают на задворки. Тем не менее проституция не умирает, она лишь становится более дорогой и изощренной.

Семнадцатый век во Франции проходит под знаком презрительного отношения социума к проституции, что вовсе не отменяет ее более утонченные формы. Проституткам отказывают в жилье, изгоняют из городов, с позором отправляют на принудительные работы. В то же время в Париже, например, возникают целые “развратные кварталы”: это квартал Марэ и предместье Сен-Жермен. Дело в том, что Сен-Жермен подчинялся юрисдикции аббатства Сен-Жермен-де-Пре, так что проститутки чувствовали себя здесь более вольготно, чем в Париже с его строгими правилами. Были и другие подобные оазисы: двор Чудес, Новый мост, аббатство Сен-Женевьев.

В семнадцатом веке проституцией занимались малопривлекательные, неимущие молодые особы, приехавшие из провинции; цыганки, еврейки; но нередко к этому ремеслу обращались и замужние женщины, желающие заработать побольше денег. Были и богатые содержанки наподобие Нинон де Ланкло (1620-1705). Это не просто куртизанка высокого полета, но и своего рода феминистка, требующая уравнивания женщин с мужчинами в том, что касается удовлетворения страстей. Она разделяла принципы либертинистской философии, и все видные светские львы середины столетия прошли через ее постель (Сент-Этьен, Гаспар де Коляньи, Маоссан, Жарзе, Севинье, Рамбуйе...).

Официально бордель была упразднена еще Генрихом II, и заниматься сводничеством было запрещено. Тем не менее в XVII веке существовало немало подпольных домов терпимости. Однозременно идет упорная борьба с проститутками: им отказывают в жилье в Париже, выселяют из других крупных городов, направляют на принудительные работы.

Особое же распространение проституция получает в век Просвещения. Теперь уже разврат оказывается процветающим в самом сердце Парижа, в районе Тюильри и Пале-Рояля. Сходное наблюдается и в других городах. В Париже к 1780 году насчитывается 30 000 проститутки и 10 000 содержанок. Столица государства является в то же самое время и столицей удовольствий: не только на скамейке в общественном саду, но и в салонах модных лавочек девицы легкого поведения предлагают свои услуги. Дело не обходилось без репрес-

сий: падших женщин препровождали по улицам Парижа в открытых повозках, под улюлюканье толпы; при этом лишь наиболее состоятельным из них позволялось прикрыть лицо вуалью. И все же репрессии касались главным образом нижних слоев проституток; куртизанкам высокого полета покровительствовала знать, пользовавшаяся их услугами.

Один из роскошных домов свиданий принадлежал в те времена госпоже Гурдан, снискавшей расположение “министров, прелатов, важных чиновников, либертинов”. Здесь имелся специальный бассейн и туалетная комната, где “готовили” девиц, превращая “золушек” в красавиц. Дом располагал спрятанными в шкафах потайными выходами. Здесь хранился большой запас снадобий, как возбуждающих чувственность, так и предохраняющих от венерических болезней: разноцветные “пастилки Ришелье”, многократно увеличивающие мужскую силу, коими якобы не раз пользовался кардинал; кроме того, имелись разнообразные деликатные устройства, достойные современных западных “секс-шопов” — искусственные члены, надеваемые на член колечки с выступами, вводимые во влагалище “яблоки любви” и т.п. В особой комнате (салон Вулкании) каждый, кто садился в кресло, тут же оказывался опрокинутым навзничь, с раздвинутыми ногами. То было специально сконструированное для “побед над девственницами” сооружение.

Были в те времена в Париже и менее роскошные бордели: негритянский, элегантный, буржуазный, провинциальный, смешанный (как иностранки, так и француженки). Ценным пособием для всех, кто интересовался древнейшей профессией, стал выпущенный в 1792 году “Катехизис либертинажа, предназначенный для девиц легкого поведения и девушек, пожелавших заняться этим ремеслом”. Его автор, некая мадемуазель Теруань, выражает общую для XVIII века позицию по отношению к проститутке: это женщина, от которой можно требовать всего чего угодно, за исключением содомизации. Как и любой катехизис, книга строится по принципу “вопрос-ответ”:

ВОПРОС. Кто такая шлюха?

ОТВЕТ. Это девица, которая отбросила всякий стыд и не краснея предается чувственным и плотским утехам с мужчинами.

ВОПРОС. Какими достоинствами она должна обладать?

ОТВЕТ. Бесстыдством, обходительностью и многообразием.

(...) **ВОПРОС.** Что вы понимаете под многообразием?

ОТВЕТ. Я имею в виду, что настоящая шлюха должна... уметь разнообразить формы, изменять способы достижения удовольствия в зависимости от времени, обстоятельств и особенностей темперамента.

Проститутка XVIII века совсем не похожа на проститутку следующего столетия: она отнюдь не является предметом общественного презрения. Мужчины дарят ей подарки, деньги, еду. Но плата в те времена не являлась еще обязательным условием: не все еще продается и покупается в век Просвещения!

Проституция XIX века известна несколько больше благодаря хотя бы романам Мопассана и Золя. На протяжении столетия кривая проституции в Париже сначала ползет вверх (в 1810 году было 180 борделей, в 1840 — 220), а потом начинает опускаться вниз (в 1870 — 145, в 1881 — 125, в 1892 — только 59). Это снижение связано как с увеличением численности подпольных борделей, так и с процессом “филистеризации” сознания людей. В XIX веке выходит целый ряд исследований врачей, юристов, полицейских, посвященных проституции; одним из первых был двухтомный труд доктора Паран-Дюшатле “О проституции в городе Париже” (1836). Автор считает, что в больших городах проституция является совершенно закономерным явлением, это нечто столь же неизбежное, как канализация и свалки. Она способствует поддержанию порядка и социальной стабильности. В то же время автор опасается, что “дно” может оказать тлетворное воздействие на общество в целом. Поэтому наилучший вариант — максимально отграничить бордели от городского пространства. Об этом же позднее писал и Ален Корбен, считавший, что надежно упрятанные под замок шлюхи станут в конце концов “добрыми труженицами”. Решетки на окнах и матовые стекла, двойные двери, запрет покидать помещение дома кроме особых случаев — вот меры, которые по мысли авторов должны способствовать надежной изоляции проституток от общества. Парижская префектура также разработала ряд мер в этом направлении: запрещалось открывать бордели около школ, лицеев, храмов, а также крупных общественных зданий. Бордели концентрировались вокруг бульваров, посещаемых точек, периферийных кварталов. сильно различались богатые бордели, где царил изысканность и роскошь, и бордели для простолодинов.

Интересно, что к концу века наблюдается отчетливое уменьшение клиентуры борделей. Буржуа отказывается приходить в дом терпимости, где ему навязывают партнершу; он предпочитает заводить любовницу. С другой стороны, определенный мещанский уклад все более утверждается, привязывая мужчину к домашнему очагу. Однако в восьмидесятые годы изменение конъюнктуры рождает новую форму: куртизанки, у каждой из которых может быть несколько любовников, но которые никогда не опустятся до “панели”. Они ведут праздную жизнь, в основном занимаясь туалетами (Нана!). С другой стороны, растет число магазинов, где покупателям предлагаются “любовные услуги”: это в основном магазины мужской одежды, банных принадлежностей, табачные лавки... Здесь бывали весьма импозантные господа, и при оплате покупок приказчик сообщал им, что за небольшую плату они смогут рассчитывать на “приложение”... В Марселе подобные услуги оказывались даже в общественных уборных. Итак, можно сделать вывод, что идея строгой изоляции проституток от общества терпит в конце XIX века крах: проститутка уже не желает терпеть постоянного наблюдения со стороны полиции, медиков, дам-патронесс, хотя и нуждается в сутенерах. Процесс “размыкания” границ борделей усилила первая

мероприятия, после которой публичные дома вновь стали открываться (в особенности вблизи вокзалов). Однако проституция в XX веке — тема отдельного разговора.

II. “НЕКАНОНИЧНЫЙ” СЕКС

Неканоничными в средневековом представлении были не только те виды сексуальных отношений, которые и по сей день иногда трактуются как извращения (лесбиянство и мужской гомосексуализм), но и онанизм и даже прерванный сексуальный акт. Естественно, в этот же разряд попадало скотоложство.

Средние века не очень охотно двигались к осуждению “извращений”, поначалу царила эпоха “сексуального беспорядка”. Не сразу были услышаны призывы отца Петра Дамиани, опубликовавшего в XI веке книгу “*Libergomortianus*”. Книга была вызвана к жизни распространенным мужеложством среди духовенства; в ней различались четыре вида “проступков против природы” — одиночная мастурбация, взаимная, лесбиянство и мужской гомосексуализм. Петр Дамиани требовал (в частности, от папы Льва IX) принятия энергичных мер для борьбы со злом. Однако папа, поддержав идею книги, не стал проявлять нетерпимости. И лишь в XII веке начинаются гонения на содомитов. Собор 1102 г. (Лондон) предусматривал отлучение их от церкви (причем не уточнялось, гомо- или гетеросексуальная содомия имелась в виду); лишь епископ был вправе отпустить этот тяжкий грех. Но все это, конечно, не идет в сравнение с теми суровыми мерами, которые принимались в отношении содомитов в XVI веке (вплоть до пытки огнем).

Итак, содомия в средние века не особенно заботила Церковь. Не сразу стала подвергаться санкциям и мастурбация. Считалось, что у детей она простительна (не случайно ее именовали “грехом слабости”, и лишь в XVI веке отождествили с “грехом Онана”, который изначально как раз и представлял собой прерванный коитус). Еще в начале XIV века священник легко мог отпустить этот грех четырнадцатилетнему мальчику, однако столетие спустя Жан Жерсон уже посвящает мастурбации специальную книгу. Он дает исповеднику инструкции, как следует выведывать у подозреваемого грех: “Если он не хочет отвечать, спроси его напрямую: “Друг мой, приходится ли тебе шупать или потирать руками член так, как это делают дети?”... Если он скажет, что и держал член и в руках потирал его, скажи ему так: “Друг мой, я охотно верю тебе, но как долго ты делал это? в течение ли часа? или получаса? до той ли поры, пока член не утратил свою твердость?”... Если он, исповедуясь, ответит утвердительно, надобно объяснить ему, что, действуя таким образом, он совершил грех слабости, даже если в силу молодого возраста не произошло поллюции”. Судя по всему, многие взрослые стыдились признаться в этом грехе (по замечанию Г.Ришара, совершенно аналогичную картину наблюдают и психоаналитики нашего времени). Иные же отнюдь не считали мастурбацию грехом; напротив, они полагали ее средством избежать греха. А по средневековым понятиям, было немаловажно, о чем думаешь в процессе самоуслаждения. Жан Бенедикти в этой связи писал в “Сумме грехов” (1585): “Ежели совершающий этот грех мужчина мысленно представляет себе замужнюю женщину, то это адюльтер, ежели девицу, то это бесчестье; ежели он возжелает свою родственницу, то это инцест; ежели монахиню, то это святотатство; ежели мужчину, то это содомия. То же относится и к женщине, возжелавшей мужчину”.

Опасность мастурбации виделась средневековому сообществу не только в трансгрессии нормы. Было тут и вполне натуралистическое объяснение. Считалось, что сперма — это разновидность очень чистой крови, протекающая из мозга и становящаяся белой при прохождении через вены. Таким образом, эякуляция соответствует кровотечению. Подросток, который еще не обрел силу взрослого мужчины, может в результате семяизвержения стать слабым и глупым. Кроме того, дурная привычка может сохраниться и после вступления в брак и стать спутником мужчины на протяжении всей его жизни. Итак, налицо совпадение критики мастурбации в средние века (в первую очередь у Жерсона) с ее критикой в XIX и даже XX веках. Это совпадение — “к чести Жерсона, но не к чести современных сексологов” (2, с.260).

Возвращаясь к гомосексуализму, отметим, что в XVI-XVII веках мужеложство приобретает во Франции широкое распространение, причем основными социальными группами здесь были придворные, духовенство и подростки. В частности, из мемуаров того времени можно заключить, сколь характерна была содомия для французского двора: так, нравы Генриха III и его “мильонов” были осмеяны в многочисленных памфлетах и эпиграммах. Любимчики короля славились своим бретерством, постоянно дрались на дуэлях, также ставших предметом осмеяния.

Среди писателей, приложивших руку к этой пикантной великосветской теме, был и Пьер Ронсар. Прочитав лишь фрагмент его стихотворения о Генрихе III:

“Я чай, вы скажете, — Юпитер в небесах
Исправно трудится в вагинах и задах
И все ж несет притом короны бремя.
Но будет посильней небесный ловелас.
Сыны его отважны. Что до вас,
В дурную почву льется ваше семя”.

(Перевод мой. — К.Х.)

Не менее разнузданные нравы наблюдались и при дворе Генриха IV. Здесь изготавливались даже специальные приспособления для поддержания члена в эрегированном состоянии, так называемые “шпаги для постели”.

При этом простолудины, уличенные в содомии, рисковали оказаться на костре; аристократы же и двор могли заниматься ею практически безнаказанно. Среди сожженных на костре был Жак Шоссон, изнасиловавший

мальчика; он был “поставщиком” живого товара для богатых педерастов. Вот как описывал его поведение перед казнью поэт Клод Ле Пти:

“Бессовестную плоть открыть он только рад,
И дабы завершить свой путь земной достойно,
Мерзавец обнажил свой нечестивый зад”.

Существует некоторое (впрочем, шаткое) подозрение, что не чужд мужеложству был и Мольер с его нежной привязанностью к юному Барону. Зато склонности Люлли не были ни для кого секретом, и несмотря на заступничество короля, ему пришлось иметь неприятности с полицией. У принца Конде любовником был юный паж Окто, что дало основания для игры слов: *crimina sunt septem, crimina principis octo* (смертных грехов семь, а у принца их восемь — окто).

После Фронды гомосексуалисты прямо-таки кишели при дворе Людовика XIV. Сам король был известным ветреником и не признавал мужеложства, зато брат его отличался именно склонностью к мальчикам. По мнению некоторых историков, Мазарини и Анна Австрийская совершенно умышленно превратили его в пассивного гомосексуалиста, чтобы он не смог составить оппозицию своему брату.

Интересен случай, происшедший между мемуаристом Прими Висконти и маркизом Ла Вальер: “Однажды он провел меня к себе в комнату и подошел ко мне со следующими словами: “Сударь, в Испании это удел монахов; во Франции удел грандов; в Италии — всех подряд”. Я отскочил назад и сказал шутя, что у меня и в мыслях нет ничего подобного, что мне уже двадцать пять и у меня растет борода. Он возразил, что француз с его отменным вкусом не посмотрит ни на годы, ни на растительность... Вскоре после этого маркиз умер от заболевания заднего прохода; болезнь эта была в те времена весьма распространена”. Госпожа де Севинье в этой связи писала: Мсье де Ла Вальер умер, не знаю при каких обстоятельствах. Ненавижу мужчин, которые страдают болезнью зада”.

К 1678 году было создано секретное общество (Гиш, Граммон, Тийаде, Маникан и т.д.), члены которого поклялись воздерживаться от сношений с женщинами. Деятельность общества была сопряжена с целым рядом скандальных историй и пять лет спустя прекратилась. Гомосексуалисты меньше стали себя афишировать и удалились от двора (I, с.125).

III. ИЗ ИСТОРИИ КОНТРАЦЕПЦИИ

Как уже говорилось выше, в средние века такой простейший способ контрацепции, как прерванный до эякуляции сексуальный акт, считался греховным. Ибо целью сношения объявлялось именно деторождение, а не пустая трата семени. Несмотря на запрет, прерванный коитус имел весьма широкое распространение. Его использовали и знатные дамы XVI века, но не в сношениях с мужьями, а в случае адюльтера. Как свидетельствует Брантом, они разрешали любовникам “вводить член и наслаждаться допьяна, но лишь при условии, что не произойдет извержения семени”.

В средние века и вплоть до семнадцатого века популярностью пользовались также магические напитки и снадобья, якобы предупреждающие беременность. Что же касается механической контрацепции, то мужской презерватив появляется только в начале XVIII века. Правда, сама идея “футляра”, который должен предохранить мужской член (но не от рассеяния спермы, а от заражения сифилисом), была высказана Габриэлем Фаллопием еще в 1565 году (его книга “О галльской болезни” — т.е. о сифилисе — вышла в Венеции). В XVIII веке эта идея была воплощена в жизнь. Презервативы стали делать из стенок кишок животных (первоначально — ягнят), и лишь в XIX веке для этих целей стал применяться каучук. Французы величали это приспособление “английским рединготом”, а англичане, в силу традиционной для таких случаев инверсии — “французской буквой”; изобретение это, скорее всего ошибочно, приписывалось английскому медику Кондому, откуда и пошло современное наименование мужского презерватива. В XVIII веке им пользовались еще сравнительно редко, в основном заядлые ветреники типа Казановы.

В 1826 году церковь наложила запрет на использование кондома как “не соответствующего промыслу Провидения, наказующего творения свои там, где они согрешили”. Точно так же и медики не испытывали большого почтения к этим приспособлениям. И все же благодаря книге двух из них, докторов Бертрана и Дюшена (“О презервативах”. Лион 1877), мы располагаем некоторыми сведениями об индустрии контрацептивов в XIX веке. По их данным, во Франции в те времена производилось около 20 000 штук презервативов в день; стоимость за штуку колебалась в зависимости от размера от 6 до 36 франков. Что касается резиновых презервативов, то они были еще редкостью — их производили лишь в восьми мастерских по всей стране. Интересная деталь: занятые на этом производстве посвящали себя богопротивному делу лишь четыре месяца в году, в остальное же время выпускали воздушные шары.

По мнению Бертрана и Дюшена, резиновые презервативы гораздо надежнее изготовленных из кишок — там торговцы нередко хитрили, предлагали брак, заклеивали дырочки... Каучуковые кондомы имели длину от десяти до двадцати сантиметров; более дорогие, так называемой “шелковой” модели, продавались в специальной упаковке; наконец, самой надежной и прочной являлась третья модель, продававшаяся “в развернутом виде”. Сбытом презервативов занимались фабриканты хирургических инструментов и женских бандажей, были специальные лавочки, вроде заведения знаменитого Гро-Милана, составившего целое состояние на кондомих.

В начале XIX века имела хождение еще одна, “облегченная” модель мужского презерватива — так называемый “капюшон” или “американский конец”. Он прикрывал не весь член, а лишь головку, и заканчивался

резиновым колечком, которое вставлялось между крайней плотью и стволом члена.

В 1905 году Цюрихский конгресс, организованный Обществом по борьбе с венерическими заболеваниями, единогласно высказался за использование резиновых презервативов. Но были и иные точки зрения. Среди противников кондома следует назвать доктора Сюрбледа, видного специалиста по физиологии брака в XIX веке. В своей книге “Супружеский порок” (первое издание — 1909, а второе кажется уж анахронизмом — 1925!) он резко осудил использование презерватива как попытку “обмануть природу в ущерб чести”. Доктор Сюрблед подкреплял аргументы физиологическими: сперма нередко просачивается через микроскопические трещинки в кондоме и достигает своей цели.

В XIX веке зарождается и понимание связи между сроками менструаций и овуляцией (Негрис, Рациборский и Пуше), предвосхищая последующие открытия на этот счет Огино и Кнауса. Начинают производить и устройства, закладываемые во влагалище для предупреждения беременности — “салфетки безопасности”, например, изготовлявшиеся из легкой резины и смачивающиеся в одеколоне или спирте. Порошки, тампоны, механические устройства — все говорит о том,

что человечество начинает победное шествие в сторону
“СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ”.

К.Хитаров

ПЕШКОВ. О Закономерностях СЛУЧАЙНОГО В АПОКРИФИИ.

МАХОВ. Это что — название доклада или тема диссертации?

ПЕШКОВ. Это ничего, что Лоренс Бабб в 1941 году в Нью-Йорке напечатал статью в толстом журнале, а Олег Сычев в 1991 перевел ее на русский язык, а мы в 1993 возвращаем ее в ученый мир?

МАХОВ. Интересно, кто-нибудь вообще в разгар Второй Мировой войны заметил эту публикацию Бабба? Уж Европе-то явно было не до понимания любви в елизаветинскую эпоху... Да и России сейчас дела до такого понимания не больше, чем в 41-м.

ПЕШКОВ. Ну почему же: рекомендации английских ученых XVI века поменьше есть и побольше работать, чтобы не страдать от любви, вполне уместны в пореформенной России.
ТАК ЧТО ЛИ БУДУТ НАЗЫВАТЬ НАШЕ ВРЕМЯ ИСТОРИКИ?

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛЮБВИ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ И РАННЕЙ СТЮАРТОВСКОЙ



ЭМОЦИЯ, СОГЛАСНО УЧЕНЫМ ПИСАТЕЛЯМ РЕНЕССАНСА,

является физиологическим, равно как и психологическим феноменом. Страсть вызывает мускульное напряжение в сердце и движение жидкостей к нему и от него. Она сопровождается, кроме того, усилением двух из четырех важнейших телесных свойств: жара, холода, влажности и сухости. Жар и сухость, к примеру, сопутствуют гневу; разгневанный человек — это горячий, сухой человек. Опечаленный или испуганный человек является человеком холодным, сухим. Жаждающий, надеющийся или радостный человек есть человек горячий, влажный. Поскольку желтая желчь является горячей, сухой жидкостью, люди холерического склада или темперамента физически предрасположены к гневу, и гнев является для них наиболее характерной страстью. Так как черная желчь представляет собой холодную, сухую жидкость, меланхолические люди по природе склонны к страху и печали. В силу того, что кровь является горячей и влажной, сангвинистические лица естественно предрасположены к желанию, надежде и веселости. Флегматичные люди относительно бесстрастны, так как флегма холодна и влажна, а холодных и влажных страстей не бывает.

Поскольку эротическая любовь представляет собой один из видов желания, она является горячей и влажной (сангвинистической) страстью. Сангвинистический человек по темпераменту склонен влюбляться, подобно тому как он предрасположен вообще к поиску удовольствий, желанию их, жизнерадостности, веселью. Физиологи связывают эротическую любовь с кровью и сангвинистическим темпераментом на том основании, что кровь является “материальной причиной семени”². Семя есть “не что иное, как кровь, ставшая белой из-за естественного жара, и остаток третьего переваривания”³ “... После третьего и последнего переваривания, которое осуществляется в каждой части питаемого тела, остается некоторое количество ненужной частям полезной крови, предназначенной природой для произведения потомства, которая... удивительным образом перемещается и доставляется в детородные органы, где, в силу их надлежащей природы, то, что перед этим

было простой кровью, теперь видоизменяется и превращается в семя⁴. Когда кровь избылует в теле, семя также избылует. Избыток семени вызывает предрасположенность к любви.

Умеренное удовлетворение полового влечения полезно для здоровья, так как от семени следует время от времени освобождаться⁵; но половая распущенность крайне вредна. Множество крови расходуется на производство очень небольшого количества семени. Растрата семени "вредит мужчине больше, чем если бы он сорок раз подряд сделал кровопускание"⁶. "И это есть причина того, что те, кто излеществует в служении Венере, живут недолго и, как воробы, из-за распущенности сами себя истребляют"⁷. Потеря крови представляется ренессансскому физиологу делом чрезвычайно серьезным. Он убежден, что основными свойствами живого тела — свойствами, пребывающими в крови, являются жар и влажность. При рождении тело естественным образом наделяется определенным количеством жара и влаги, и это количество с годами постепенно уменьшается. Старение является процессом охлаждения и высыхания⁸. Неумеренное расходование крови ускоряет старение и смерть.⁹

Большое количество крови в теле, таким образом, порождает любовные наклонности. "Изобилие крови хорошей температуры и полной жизненных духов" является "причиной любви"¹⁰. Поэтому из всех темпераментов сангвинистический "наиболее привержен Венере из-за изобилия крови, жара и влаги"¹¹. Хотя сангвиники одарены многими добродетелями, они "заражены" одним недостатком, "а именно, (по причине этого живительного изобиливания влаги) они несколько излишне склонны к половому влечению"¹². Те кто обладают сангвинистическим темпераментом, "наиболее способны к любви", так как "щедрость печени, где вырабатывается кровь, побуждает к любви"¹³. Юность — это тот возраст, в котором человек наиболее сангвинистичен. Сангвиники, говорит Роберт Бертон, "быстро соблазняются, молодые люди наиболее подвержены любви"¹⁴. Юноши "горячны и пылки из-за крови, которая кипит в их венах; и то, что они однажды возжелают, они любят со страстью. Они охотно демонстрируют этот жар в любовных похлзновениях, к которым имеют непреодолимую тягу в силу своего цветущего возраста"¹⁵.

Является ли некто от природы сангвиником или нет, он может стать любвеобилен посредством правильного питания. Количество его крови зависит главным образом от количества и характера его пищи и питья. Некоторые продукты и напитки, кроме того, производят лучшую кровь — более теплую и живительную, чем другие, а наилучшая кровь является и наиболее возбуждающей. "Венере приятны обилие и разнообразие деликатесов"¹⁶. Высокопитательные продукты легко перерабатываются в хорошую кровь. К ним относятся в особенности белый хлеб, телятина, свинина, гусь, куропатка, яйца, картофель.¹⁷ Вино является "великим усилителем жизненных духов и восстановителем всех сил и действий тела... Может показаться, что вино есть сама жизнь, потому что оно сильно способствует сохранению жизни. И нет ничего удивительного в утверждении Аристотеля относительно этой жизни, что она заключается главным образом в жаре и влаге. Эти два свойства составляют саму сущность вина"¹⁸. Вино "образует свежую и здоровую кровь... оно вызывает половое влечение и делает женщин плодотворными"¹⁹. Сладкие вина мальвазия и мускат "очень горячие", очень питательны и "значительно усиливают естественный жар"²⁰. Они "предназначены только для женатых людей"²¹.

Праздность и леность приводят к избытку крови, от которого активный человек избавился бы деятельностью. Любовь "тиранствует в бездельнике". Воздержание "почти невозможно" для тех, кто "молод, удачлив, богат, избалован и к тому же бездельен"²².

Те лица особенно склонны к любви, кто "живет легко и питается сытно; не отягощенные частыми и интенсивными физическими усилиями или трудом, они производят избыток крови, которая в противном случае была бы переработана в семя"²³. Жизнь при дворе усиливает любовь, так как это легкая и праздная жизнь, ее стол богат и изыскан, и она постоянно удерживает мужчин и женщин вместе. Любовь процветает "в богатых домах, при дворах королей, где люди праздны в высшей степени, хорошо кормятся, живут беззаботно и не могут представить себе, как иначе проводить время"²⁴.

До сих пор я имел дело только с отдаленными причинами любви. Непосредственной причиной, конечно, является тот, кого любят. Любовь входит через глаза. Затем она проходит "по венам в печень, внезапно пробуждает жгучее желание обладать тем, что является или представляется достойным любви, разжигает вожделение... человек становится совершенно обессилен и потерял, чувства оказываются в смятении... разум помутнен, воображение затуманено, речь любвеобильна и бессвязна..."²⁵. Любовь с первого взгляда является нормальной для того, кто к ней физически предрасположен. Зарождение любви, особенно для сангвиников, может быть быстрым и безудержным процессом. Более того, урон может быть нанесен раньше, чем удастся сообразить, что с этим делать. И как только любовь проникла внутрь — "все пропало; с человеком покончено"²⁶.

Поскольку любовь является горячей страстью, любящие до неудобства разгорячены. Согласно одному автору, они "подобны тем, кого поджаривают на слабом огне"²⁷. Другие говорят об огне, являющемся чем угодно, только не слабым. Огонь любви, который сравним с огнем Этно, обжигает "самое нутро и костный мозг тех, кто имеет его в своей груди"²⁸. Жар может быть настолько силен, что становится смертельно опасен: "Я видел, как анатомировали некоторых из тех, кто умер от этой болезни, — их внутренности высохли, их несчастное сердце совершенно истлело, их печень и глаза полностью поражены и изъедены, их мозг разложился..."²⁹.

Пусть никто не называет любовь “приятной страстью или привязанностью, в сравнении со всеми другими несчастьями это величайшее несчастье”³⁰. “Тнегущие горести” влюбленных являются “самыми болезненными из всех иных ввиду того, сколь многие из них охотно бросаются в вечные муки адского огня, безжалостно совершая самоубийство, с тем чтобы так спасти и избавить себя от испепеляющего жара Купидона”³¹.

Эротический импульс непреодолимо силен. Он вынуждает людей очертя голову бросаться в безумие и грех. Если любовь направляется разумом и если она общественно и религиозно одобряется, то она способствует физическому и духовному благоденствию человека. Но из всех страстей (за исключением, возможно, гнева) она является наиболее сильной и безудержной, а потому и наиболее склонной к подавлению здравой разумности:³²

... “Когда, подобно дикому и неукротимому зверю, она вырывается из границ разумности, то нет такого несчастья, которого она не несла бы в мир, ни такого расстройств, которого она бы не причинила в нашей жизни. Это, так сказать, фатальный источник, из которого текут все виды ужаса, аморальности, прелюбодеяний, кровосмешений, святотатств, ссор, войн, измен, убийств, отцеубийств, жестокостей и насилий; помимо невыносимых мучений он приносит в души такое, что приводит их в изумление, наполняет их завистью, ревностью, заботами, меланхолией, страхами и даже сумасшествием, доводит их многократно до отчаяния и совершения дел, от которых небо и земля краснеют и которых стыдятся”³³.

Из-за физических мук, которые причиняет любовь, умственных отклонений, которые она вызывает, и духовных потрясений, ею порождаемых, врачи и моралисты Ренессанса относятся к ней чрезвычайно серьезно. В медицинских сочинениях любовь рассматривается как помешательство и помещается рядом с сумасшествием, меланхолией, бешенством³⁴, безумием. Для моралистов она является болезнью души. Безответная любовь ведет к любовной меланхолии³⁵, ибо до тех пор, пока любящий не будет как-то утешен, его физическое и духовное расстройство будет порождать меланхолические жидкости³⁵. Существует две стадии любовного расстройства (не всегда ясно различаемые в ученых трактатах): сангвинистическая стадия, на которой любящий горяч и влажен и обладает избытком крови; и меланхолическая стадия, на которой он холоден и сух, слаб и мрачен и подвержен всем физическим недомоганиям, расстройствам и умственным недугам, которые медицинские авторитеты приписывают сверхизбытку меланхолической жидкости. Однако эта позднейшая, меланхолическая стадия любовного расстройства в настоящем исследовании не рассматривается³⁶.

Наилучшее лекарство от любовного расстройства — “позволить обладать желаемым”³⁷. — “Но этот курс лечения не должен и не может всегда применяться на практике, поскольку он противоречит законам Господа и людей, так что следует нам обратиться за помощью к... усердию хорошего врача”³⁸. Медицинские сочинения показывают, что хороший врач располагает изобилием терапевтических средств. Они могут быть разделены на умственные и физические. Первые включают в себя главным образом уловки для отвлечения ума любящего от объекта любви или для обращения любви в ненависть или отвращение; вторые, которые могут быть использованы либо как медикаментозные, либо как профилактические средства, включают кровопускание, лекарства, упражнения и диетологические предписания. Рассмотрение некоторых физических средств послужит дополнением к тому, что было сказано относительно причин любви.

Кровопускание является вполне логичным методом лечения. Поскольку избыточная кровь насыщает тело семенем, весьма целесообразно “выпустить избыток крови путем вскрытия вены печени на правой руке”³⁹. Пациент должен изменить свое питание и привычки: “Так как праздная сидячая жизнь, обильное питание являются основными причинами (любви), то противоположности — труд, легкая и падающая диета вместе с регулярными занятиями — являются наилучшими и наиболее простыми средствами для ее предупреждения”⁴⁰. Любящий может ослабить желание “посредством ревностного старания и размышления, частого поста, усердной работы, грубой пищи, аскетического жилища и тому подобного”⁴¹. Его “еда должна быть лишь слегка питательной, а еще лучше жаропонижающего и охлаждающего свойства. И поэтому вам следует добавлять ему в супы и салаты портулак, щавель, эндивий, цикорий, латук”⁴². Влюбленный должен “пить воду и ни в коем случае не пить вина, потому что оно разжигает кровь и делает людей более склонными к вожделению, как утверждает Аристотель”⁴³.

Любящего, достигшего меланхолической стадии, необходимо, конечно, лечить совершенно иначе. Так как меланхолия является холодным и сухим заболеванием, пациент должен быть накормлен, согрет и увлажнен.

II

Физиологическое понимание любви, которое я кратко охарактеризовал, обнаруживается часто и отчетливо в мышлении и выражениях елизаветинских и ранних стюартовских драматургов. Их фразеология, фактически, во многих случаях доступна пониманию лишь тогда, когда знаешь что-то о физиологическом учении, которое либо непосредственно, либо через вторые или третьи руки повлияло на их мышление о данном предмете”⁴⁴.

Жар, согласно ученым писателям, есть физиологический проводник любви. Поэтому в драме влюбленные очень страдают от внутреннего жара⁴⁵. Один из персонажей “Женщины на луне” Лили заявляет, что его сердце “сожжено любовью”⁴⁶. Герой “Слепого нищего Александрии” Чапмена, влюбившись, ощущает огонь, “сжигающий мои внутренности неудержимым желанием”⁴⁷. Не следует истолковывать это как фигуру речи. Героиня “Ненасытной графини” Марстона сравнивает огонь любви с огнем Этно⁴⁸. Влюбчивый мосье Джон в “Развлечениях Джэка Драма” постоянно испытывает беспокойство: “я сгораю, о, я сгораю; подобно какому-ни-

будь бешеному быку, я бросаюсь в воду, чтобы остудить поводи́я, и вода закипает—таки у меня за спиной; вот так, сгорая, я бросаюсь за девкой”⁴⁹. Влюбленный в “Верной пастушке” Флетчера восклицает: “О, мой огонь, /Как ты меня снедаешь!”⁵⁰. Кавалер в “Парламенте любви” Массинджера умоляет даму о сострадании; его тело, говорит он, есть “сплошной огонь” и “Через три дня обратится в пепел. ...О! Я горю, я горю”⁵¹. Можно было бы собрать целые страницы примеров. Значительно больше представлено ниже. Только что процитированные места относятся к недозволенной страсти. Одобряемая любовь, однако, характеризуется во многом тем же самым образом. В “Миланском герцоге” Массинджера вполне приличествующая любовь Сфорцы к своей жене “наполнена жаром /И пылом сердечным”⁵². Флетчер проводит смутное различие между “распутными мыслями, жаром бесстыдным” и “Истинной любовью... Которой умеренный жар никогда не может быть вреден”⁵³. Но в общем представляется, что драматурги не усматривали никакого физиологического различия между “похотью” и “любовью”. Ранние драматурги постоянно связывают любовь с сангвинистическим темпераментом и кровью. Один из персонажей “Молодого оленя” Марстона утверждает, что это его “удел” — любить, “естественный грех моего сангвинистического нрава. Я совершенно принудительно влюблен во всех женщин”⁵⁴. Подозрения Отелло усиливаются, когда он берет руку Дездемоны и обнаруживает, что она “Горячая, горячая и влажная”⁵⁵. В “Подмене” Мидлтона измученный влюбленный восклицает: “О, моя кровь!”⁵⁶. Купидон является “богом крови”⁵⁷. Любовь — это “Болезнь крови и праздных часов”⁵⁸, это “кровное желание”⁵⁹, это “ярость крови”⁶⁰. Сексуальное влечение часто приписывается избытку крови и воодушевления. Эротические потребности возникают от “притока крови”⁶¹ или “обилия крови”⁶². Любвеобильный старик заявляет, что его артерии “Наполнены юношескими соками”⁶³. У некоего кавалера “вены (набухли) от вожделения”⁶⁴. Вожделение есть “полнокровие”⁶⁵. Иногда оно сравнивается с паводком или морским приливом⁶⁶. Кровь влюбленного, несомненно, является горячей. Драматурги подчеркивают этот факт, используя мрачный язык физиологов: “жгучие вены”⁶⁷, “горячо зудящие вены”⁶⁸, “обожженные вожделением вены”⁶⁹. Обстоятельства вынуждают жениха отказаться от удовольствия брачной ночи: “Мои вены все в огне и горят подобно Этне, / Молодость и желание победили духов-хранителей моей крови”⁷⁰. Некая женщина восклицает, что желание “Взбесило в венах кровь мою”⁷¹. Кровь другого влюбленного “Кипит в (его) сердце”⁷².

Поскольку печень является органом, который вырабатывает кровь, она часто рассматривается как инициатор любви⁷³. Шекспировская Розалинда, описывая Орlando средство от любви, намеревается “отмыть (его) печень дочиста, как сердце невинной овечки”⁷⁴. Молодая женщина насмехается над сварливым главным героем “Женоненавистника”: Да есть ли “кровь и душа” в его венах? Несомненно, у него нет “никакой печени”, так как если бы она была, она бы “наполнила живительным и страстным жаром” все его тело⁷⁵. Фальстаф, говорит Пистол, любит миссис Форд “С жарко горячей печенью”⁷⁶. В “Насмешливой даме” персонажу, подозреваемому в распутстве, рекомендуется “насобирать салата, подходящего для охлаждения вашей печени”⁷⁷. Можно встретить и такие выражения, как “распаленный горячей печенью грубиян”⁷⁸, “наигорячейшая печень во Франции”⁷⁹, “моя сладострастная, джентльменская, горячая печень”⁸⁰.

Сексуальная распущенность отнимает у человека драгоценные жар и влагу, которые необходимы для жизни⁸¹. Илизар Мур из “Власти похоти” говорит, что разврат истощил его дух, “Похитил (его) юность”, иссушил его тело “до кожи и костей”⁸². Бесплодная женщина связывает свою бездетность с тем фактом, что у ее мужа, из-за беспутной жизни до женитьбы, “пустые вены”⁸³. Рогоносец утверждает, что он позволяет жене иметь “друга”, потому что хочет продлить свою собственную жизнь. Молодой же ухажер, по его предсказанию, умрет в тридцать один год⁸⁴. Сексуальная активность особенно вредна старикам. Молодая женщина предостерегает старика, который пытается соблазнить ее. От половой невоздержанности, говорит она ему, недолго и простудиться: “Вам не следует проклинать меня за отказ принять от вас то, что вы не должны расточать, Сэр”⁸⁵.

Ранние драматурги убеждены, что праздность, сытная пища и вино вызывают любовные наклонности. “Вино и лень... порождают похотливые мысли”⁸⁶. Секст из “Похищения Лукреции” Хейвуда сомневается, что воздержание возможно среди “неопытных и совершеннолетних женщин”, “таких, что едят хорошо и вкушают изысканные деликатесы, /Которые сразу растворяются в недорочной крови, /Которая наполняет вены и разжигает желание, /Предуготовляя, усиливая и соблазняя душу”⁸⁷. Одному из персонажей “Герцога Флоренции” Массинджера кажется странным, чтобы граф Санадзарро, который “пьет дорогие вина, / Питается сытно”, был бы равнодушен к дамам⁸⁸. Одна из женщин в “Правь женой и будь женат” объясняет свое сомнительное поведение: “Я признаю, как и все люди, которые молоды и здоровы, / Праздны и упитаны, что я жажду наслаждения”⁸⁹. В “Верной пастушке” жрец Пана окропляет молодых крестьян водой: “Пастухи, так я очищаю /От всего того, что в этот знаменательный день / Или минувшие времена способствовало /Порче вашей невинной крови: /От сильно волнующего жара / Винограда и силы мяса; /От непостоянных чувственных желаний, /Они действительно распалют своим жаром, /Вот, я омываю вас этой водой, /Да будете вы чисты и честны отныне и впредь. /Из вашей печени и ваших вен /Так я удаляю грязь. /Все ваши помыслы да будут смиренны и честны, /Да будете вы свежи и чисты, как воздух. /Пусть никогда больше похотливый жар /В вашем очищенном нутре не бьется”⁹⁰.

*/ Рифмованные и ритмизированные фрагменты приводятся в дословном прозаическом переводе. — О.С.

Праздная и роскошная жизнь при дворах насыщена любовью. Один из персонажей “Разбитого сердца” Форда уверен, что “праздность двора” вызывает “волнение в венах”⁹¹. Мальволь Марстона скорее поселил бы даму в борделе, чем “в итальянском распутном дворце”, так как здесь она “окутана распутными ароматами, /Ее вены набухли от разжигающих деликатесов, /Мягкого ложа, сладкозвучной музыки, влюбчивых масок, /Сладострастных пиров, самого греха, сверкающего повсюду”⁹². Сходные взгляды представлены в “Трагедии Нерона”: “Целомудрие! дурак! слово, не известное при дворах. /Оно с удобством селиться может лишь в полунищих и крестьянских домах, /Где люди забиты бедностью и трудом, /Где сны коротки и руки натружены тосканской пряжей, /Но никогда не приходит оно во дворцы сильных мира сего, /Где праздность и богатство порождают блудливые мысли, /Где возбуждающие блюда и избыток вин распалют”⁹³.

Некоторые продукты являются специально возбуждающими. Эринго⁹⁴, яйца, картофель, вино особенно часто упоминаются как “яства, которые возбуждают”⁹⁵. Мосье Джону предоставляется неожиданная возможность насладиться удовольствием: “ей-богу, если бы я знал об этом, я бы поел картошки или эринго”⁹⁶.

Уитгуд Миддлтона заявляет, что он согласился бы “отказаться от борделя в полдень, мускатного винограда и яиц в полночь”⁹⁷, лишь бы заполучить от дяди утраченные владения. В “Морском путешествии” некие джентльмены требуют эринго, картошки и шпанских мушек. Их спутник насмехается над ними: “Уймитесь, мошеники, пусть закупают это ваши аптекари”⁹⁸. Бестолковый ухажер из “Голландца” Глэпторна посылает к “аптекарю, в лавке которого я, бывало, едал корни эринго”⁹⁹. Очевидно, лондонские гуляки имели привычку таким образом готовиться к своим развлечениям.

Труд (который уменьшает количество крови), падающая диета и вода (вместо вина) служат противоядиями от любви. Хороший совет влюбчивому человеку: “ешь мало, отдыхай реже и приучи тело к ежедневному труду, тогда ты сможешь жить целомудренно”¹⁰⁰. Клорин предписывает такой образ жизни заблудшей молодежи из “Верной пастушки”: “исправьте кровь /Трудом и воздержанием, ослабьте ее кипение, /Либо при приближении очередного срыва примите меры /Против неутолимой жажды и в путешествие отправьтесь, но не к древу, /Усыпанному гроздьями распутства”¹⁰¹. Чтобы ослабить “распутный зуд”, можно “отречься от вина” и пить воду¹⁰². В “Жене на месяц” распутника за его прегрешения приговаривают к монашеской жизни: “Его лоснящееся тело подусохнет от ежедневного поста”; он будет “пить чистую воду, которая никогда не распалит его”¹⁰³. Герой пьесы Форда “Как жаль, что она шлюха”, стремясь укротить свою кровосмесительную страсть, “истощил вены ежедневными постами”¹⁰⁴.

Кровопускание находится среди врачебных средств от любви. Драматурги иногда шутливо или сардонически обращаются к этому надежному терапевтическому методу. В “Тщетных усилиях любви” Дюмен говорит, что ему хотелось бы, но он не может забыть свою возлюбленную, потому что она властвует в его крови, как лихорадка. Бероун при этом замечает: “надрез, /Пусть вытекает в блюдца”¹⁰⁵. Илизар Мур, зная, что король пытается наставить ему рога, хвастается, что “острием меча” он “вскроет те набухающие вены, в которых жаркую похоть /Поддерживают его пирушки”¹⁰⁶. Главный герой “Трагедии безбожника” бранит свою возлюбленную за то, что она вышла замуж за другого, пока он отсутствовал: “если твоя кровь /Так воспалилась от похоти, /То надо было сразу же /Вену вскрыть”¹⁰⁷. Леон из “Правь женой и будь женат” ругает свою распутную невесту: “Неужели вы так разгорячены, что никакая преграда не может вас остановить? /Я велю пустить вам кровь из всех ваших вен сразу”¹⁰⁸.

Другим способом борьбы с любовью будет, естественно, успокоение жидких телесных сред лекарствами. В “Парламенте любви” Массинджера врач использует этот способ для того, чтобы отделаться от придворного, который, как он знает, намеревается соблазнить его жену. Врач дает молодому человеку “успокоитель” под видом того, что это возбуждающее лекарство¹⁰⁹. Молодой человек становится совершенно бесчувственен и “обескровлен”¹¹⁰, а врач глумится над его бессилием.

В “Празднике весны” Чапмена один насмешник советует больному любовью другу “излечиться от нее слабительным, ибо любовь есть всего лишь жидкость”¹¹¹. Многие представители чапменовской елизаветинской публики приняли бы этот разумный совет во внимание. Драматические произведения (но не медицинские сочинения) наводят на мысль о том, что никто не застрахован от любви. Непредрасположенность темперамента, даже если она сочетается с мерами для укрощения плоти, не является достаточной защитой. Шекспировский Анжело — это “человек, чья кровь /Почти как талый снег; он тот, кто никогда не ощущает /Мук беспричинных и смятенных чувств, /Но неустанно он укрощает и притупляет природный зов /Издержками ума, ученья и поста”¹¹². Тем не менее Анжело оказывается безумно влюбленным. Драматурги, впрочем, согласны с врачами в том, что заболевание может поразить жертву совершенно неожиданно, как это случилось с Анжело.

Елизаветинские и ранние стюартовские пьесы изобилуют примерами любви с первого взгляда.

Любовные терзания мучительны. Рассмотрим, например, состояние Теллии в “Эндимионе” Лили. Когда она полюбила, по ее словам, она почувствовала “непрерывное жжение во всех моих внутренностях и переполненность почти в каждой вене”¹¹³. Сходное состояние обнаруживается у молодой дамы в “Новой гостинице” Джонсона: “Мои желанья и страхи соединились: я горю и леденею, /Моя печень — один большой кусок угля, мое сердце иссохло /До крайности, и вся масса крови /Внутри меня — это неподвижное озеро огня, /Волнуемое студеным ветром моих леденящих вздохов, /... /До тех пор, пока я не увижу его, я пьянею от жажды /И страдаю от голода при виде его”¹¹⁴.

Любовь неистова и могущественна. Лишь некоторым, как, например, одному из пастухов Флетчера, удается сдерживать ее с помощью постоянного напряжения воли: “Я закливаю вас, мои вены, / По которым кровь и дух текут, / Заприте выход своему непокорному жару и усмирите / Те мятежные желанья, которые иначе перерастут / В великий бунт”¹¹⁵. Множество драматических персонажей, однако, считают любовь слишком могущественной, чтобы ей сопротивляться, и вступают на пагубный путь, который ведет к трагедии или почти трагедии.

Излюбленной темой ранних драматургов является конфликт между любовью и разумом, или добродетелью, в сознании достойного и щепетильного человека. Борьба между этими двумя психологическими противниками бывает иногда очень жестокой. Тамира, влюбленная в Бюсси д’Амбуа, мечется между противоположными устремлениями: “моя безнравственная прихоть / Бушует внутри меня; ни мое имя и род, ни моя вера, соблюдавшиеся до сего часа, / Не могут удержать ее; я должна сознаться, что / Одна только мысль о необходимости расстаться рвет больше жил во мне, / Чем смерть, когда уходит жизнь; и этого святого человека, / Который, с колыбели, был воспитателем моей души, / Я теперь должна сделать посыльным ради своей крови”¹¹⁶. Монах, который выступает в роли посредника влюбленной, оправдывает ее любовь на том основании, что “буйство наших страстей, / Разыгравшееся в крови, никакие доводы разума не могут остановить”¹¹⁷. События трагедии подтверждают правоту монаха. Сходный конфликт обнаруживается в “Триумфе чести” — одном из драматических скетчей, включенных в “Четыре пьесы в одной”. Марций влюблен в жену своего друга. Он очень этого стыдится и решительно борется со своей страстью¹¹⁸. Но когда он видит даму, “дикое буйство моей крови, / Подобно океану, захлестывает береговую отмель / Моей слабой добродетели”¹¹⁹. Он должен обладать ею “или погибнуть”¹²⁰. В конце-концов, однако, он справляется со своей страстью и скетч завершается счастливым исходом. “Жертва любви” Форда содержит еще один пример. Фернандо влюблен в жену своего друга и благодетеля. Его любовь предстает физической и умственной agonией: “непомерная мука, как ярость / Пламени, невыразимая словами, / зажженная вашими святыми глазами, пожирает меня”¹²¹. “Предатель дружбы, куда я побегу, / Я, потерявший разум, неспособный управлять гонкой / Буйного раздора в моей крови?”¹²². Он является, как он полагает, “прокаженным” в душе¹²³, однако убеждается, что ему “надо высказаться или взорваться”¹²⁴. Его речь приводит всех троих участников треугольника к трагедии¹²⁵.

Аморальные действия или намерения, вызванные любовью, с удивительной легкостью оправдываются в старинной драме. При завершении “Двух джентельменов из Вероны” никто не собирается осуждать Протея за его греховные помыслы. Анжело в “Мере за меру” не считается преступником. Солдат в “Ненасытной графине” Марстона совершает из-за любви убийство. Его жертва дает ему хорошую характеристику: “Я знаю тебя, доблестный испанец, и тебе / Убийство более ненавистно, чем святотатство. / Твои поступки всегда были благородны”¹²⁶. Губернатор сожалея о его “околдованной судьбе”, не только прощает его, но и предлагает ему полковничью компенсацию¹²⁷. По-видимому, влюбленные мужчины не считаются полностью ответственными за свои поступки. Они не в состоянии вести себя нормально или разумно, так как действуют по принуждению.

Во многих елизаветинских и ранних стюартовских пьесах, таким образом, эротическая любовь изображается как низменный порыв, порождаемый физическим состоянием. Этот порыв является настолько мощным, что он может вовлечь даже самого разумного и самого добродетельного человека в грех и несчастье. Драматурги, конечно, не всегда так относятся к любви. Иногда они творят под влиянием традиции придворной любви и описывают любовь как нежное и облагораживающее устремление души. Эти два противоречащих взгляда оказываются, фактически, странным образом переплетены в мысли и литературе ренессансной Англии. Понимание любви, утверждаемое учеными и моралистами, во всяком случае, глубоко повлияло на мышление драматургов. Оно постоянно обнаруживается в их фразеологии. Оно оказывает влияние на то, как они изображают человеческое поведение. Оно объясняет их озабоченность любовью, которая противоречит здравому рассудку. Мы воспримем раннюю драму с большим пониманием, если

будем помнить, что эротическое чувство не имело во времена Шекспира и Джонсона ТОГО РОМАНТИЧЕСКОГО ОРЕОЛА, КОТОРЫЙ ОНО С ТЕХ ПОР ОБРЕЛО.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Данный параграф основан на: Philipp MELANCHTHON. *Liber de Anima // Opera* / Ed. by Bretschneider. — Halle, 1834-60. — Vol. XIII. — P. 86-87, 126-129; Pierre de la PRIMAUDAIE. *The French Academie* / Tr. by T.B.C. — London, 1618. — P. 455, 466-471; William VAUGHAN. *Approved Directions for Health*. — London, 1612. — P. 110; Thomas WRIGHT. *The Passions of the Minde in Generall*. — London, 1630. — P. 34-45; Thomas WALKINGTON. *The Optick Glasse of Humors*. — London, 1639. — P. 101-133; F.N. COEFFETEAU. *A table of Humane Passions* / Tr. by Edw. Grimeston. — London, 1621. — *Passim*; Edward EDWARDS. *The Analysis of Chyrurgery*. — London, 1636. — P. 20. (“*Liber de Anima*” была впервые опубликована в 1540, указанная часть “*The French Academie*” — в 1580 [?], VAUGHAN’s “*Directions*” — в 1600.) См. также: Rutch L. ANDERSON. *Elizabethan Psychology and Shakespeare’s Plays*. — Iowa City, 1927. — P. 78 ff., 127; Lily B. CAMBELL. *Shakespeare’s Tragic Heroes: Slaves of Passion*. — Cambridge, 1930. P. 73-74. Значительная часть материалов для данной статьи была собрана, когда автор работал в качестве стипендиата в Шекспировской библиотеке Фолгера.

² Jacques FERRAND. *Erotomania or a Treatise... of Love, or Erotique Melancholy* / Tr. by Edmund Chilmead. — Oxford, 1640. — P. 64. Французский оригинал данной работы впервые появился в 1612.

³ *Ibid.* — P. 261. Третье переваривание является процессом, посредством которого жидкости усваиваются в качестве пищи. См.: P.A. ROBIN. *The Old Physiology in English Literature*. — London, 1911. — P. 76-77.

⁴ Thomas COGAN. *The Haven of Health*. — London, 1589. — P. 240.

⁵ *Ibid.* — P. 241; VAUGHAN, "Directions", p. 69; Tobias VENNER. *Via Recta ad Vitam Longam*. — London, 1628. — P. 221. Молодые люди и люди сангвинистического темперамента, поскольку они обладают избытком крови, могут безопасно предаваться удовольствиям более часто, чем другие; невоздержанность особенно опасна для лиц холерического и меланхолического темперамента (COGAN, "Haven", pp. 239-240, 244; VENNER, "Via Recta", p. 221).

⁶ VAUGHAN, "Directions", p. 70.

⁷ COGAN, "Haven", p. 242. "Facit... ad vitae longitudinem atque robur, Veneris parvus usus; namque plurimum in ea effunditur exarteriallilo sanguine atque purissimo spiritu, quod his indigeat generatio, propter quam Venus ipsa constituta est." — Hieronymi Cardoni... de Subtilitate Libri XXI. — Basel, 1554. — P. 363. См. также: Aristotle, "De Longitudine et Brevitate Vitae", 466 b.

См.: André du LAURENS. *A Discourse of the Preservation of the Sight* / Tr. by Richard Surphlet. — London, 1599. — (Shakespeare Association Facsimiles, 1938). — P. 170; COGAN, "Haven", p. 192; WALKINGTON, "Optick Glasse", pp. 64-65. Ср.: Aristotle, "De Longitudine et Brevitate Vitae", 466 a.

⁸ Иногда можно прочитать, что желтая желчь — другая горячая жидкость — делает людей влюбчивыми: Batman uppon Bartholome, His Booke De Proprietatibus Rerum. — London, 1582. — Fol. 32; FERRAND, "Erotomania", p. 241. Некоторые авторы утверждают, что образующие газы меланхолические жидкости оказывают такое же воздействие: Timothy BRIGHT. *A Treatise of Melancholie*. — London, 1586. — (Publications of the Facsimile Text Society, 1940). — P. 176; Robert BURTON. *The Anatomy of Melancholy* / Ed. by A.R.Shilleto. — London, 1926-27. — Vol. III. — P. 66; FERRAND, "Erotomania", pp. 64-66. Кровь, однако, значительно чаще ассоциируется с любовью, чем желтая или черная желчь.

⁹ FERRAND, "Erotomania", p. 64. Под "духами" подразумеваются "жизненные духи" или "жизненный дух" — тончайшая субстанция, которая является носителем естественного жара и смешана с артериальной кровью. Существуют два других вида духов — каждый со своими физиологическими и психологическими функциями. См.: ROBIN, "The Old Physiology", pp. 108-114, 139-175.

¹⁰ COGAN, "Haven", p. 244. Ср.: FERRAND, "Erotomania", p. 141.

¹¹ WALKINGTON, "Optick Glasse", p. 117.

¹² COEFFETEATU, "Passions", p. 551. Ср.: pp. 22, 26. Кровь образуется в печени посредством второго переваривания (см.: "Batman uppon Bartholome", fol. 29; BURTON, "Anatomy" Vol. I, p. 169; ROBIN, "The Old Physiology" pp. 76-77).

¹³ BURTON, "Anatomy" Vol. III, p. 66.

¹⁴ COEFFETEATU, "Passions", pp. 655-656.

¹⁵ FERRAND, "Erotomania", p. 241.

¹⁶ Заинтересованный читатель может подробнее ознакомиться с данным предметом по любому из диетологических руководств рассматриваемого периода, среди которых найдется: Sir Thomas ELYOT. *The Castel of Helth*. — London, 1541. — (Scolars' Facsimiles and Reprints, 1937); COGAN, "Haven"; VAUGHAN, "Directions"; VENNER, "Via Recta". Сангвинистическими продуктами являются те, которые авторитетными авторами характеризуются как горячие и влажные в различной степени. Здесь названы только те продукты, которые рекомендуются при, как правило, наиболее настойчиво.

¹⁷ COGAN, "Haven", pp. 208-209. Ср.: ELYOT, *Castel of Helth*, fol. 33; VAUGHAN, "Directions", p. 19; VENNER, "Via Recta", p. 20. См. также: M.P.TILLEY. *Good Drink Makes Good Blood* // MLN. — 1924. — Vol. XXXIX. — P. 153-155.

¹⁸ Christopher WIRTZUNG. *Praxis Medicinae Universalis* / Tr. by Jacob Mosan. — London, 1598 — P. 783.

¹⁹ VENNER, "Via Recta", pp. 23-24.

²⁰ VAUGHAN, "Directions", p. 20.

²¹ BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 69. Ср.: pp. 62, 67, 70, 117; FERRAND, "Erotomania", p. 249. "Parafiores ad id malum esse putantur, qui ingentes icoris fibras habent, & qui semine abundant, ociosam vitam agunt, & delicate uiuunt. Nam & seminis abundantia & sunt causa amoris insani." — Peter van FOREEST. *Observationum et Curationum Medicinalium... Libri XXVIII*. — Frankfort, 1602. — P. 352.

²² FERRAND, "Erotomania", p. 59. Труд, говорит Брайт, охлаждает и осушает тело (BRIGHT, "Treatise", p. 248).

²³ BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 119.

²⁴ Du LAURENS, "Discourse", p. 118.

²⁵ FERRAND, "Erotomania", p. 68.

²⁶ La PRIMAUDAYE, "Academie", p. 491.

²⁷ Robert HENDERSON. *The Arraignement of the Whole Creature*. — London, 1631. — P. 264. Ср.: BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 171.

²⁸ Pierre BOAISTUAU. *Theatrum Mundi* / Tr. by John Alday. — London, 1581. — P. 192. Мисс Андерсон цитирует эту страницу. Ср.: BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 173.

²⁹ Du LAURENS, "Discourse", p. 119.

³⁰ John BISHOP. *Beautiful Blossomes*. — London, 1577. — Fol. 52^v.

³¹ Ренессанская этика основывается на том классическом принципе, что добродетель заключается в следовании велениям разума. Позволить страсти взять верх над разумом есть грех. См.: ANDERSON, "Elizabethan Psychology", pp. 132-143; CAMPBELL, "Shakespeare's Tragic Heroes", pp. 63-72, 93-102; Hardin CRAIG. *The Enchanted Glass*. — New York, 1936. — P. 116-118, 122 ff., 233-234. Осуждение моралистами любви сопровождается обычно поучениями относительно других страстей и страсти вообще.

³² COEFFETEATU, "Passions", pp. 154-155. Примеры такого рода обличения любви являются обычными. См., например: BISHOP, "Blossomes", fol. 50^v; WRIGHT, "Passions", p. 203; HENDERSON, "Arraignement", pp. 258-265; BURTON, "Anatomy", Vol. III pp. 54, 177, 213-214.

³³ Согласно одному средневековому авторитету, "si non amantibus succuratur, ut cogitato eorum auferatur, & anima leuietur, in passionem laboriosam incidunt, intidem ex labore animae in melancholiam." — Constantini Africani... Opera. — Basel, 1536. — P. 18.

³⁴ Причины этого разъясняются в: FOREEST, "Libri XXVIII", p. 352; Du LAURENS, "Discourse", p. 120; VAUGHAN, "Directions", pp. 96-97; FERRAND, "Erotomania", pp. 10, 64, 125, 131, 261; COEFFETEATU, "Passions", pp. 170-171.

³⁵ В статье: J.L.LOWES. *The Loceres Maladye of Heroes* // Mр. — 1914. — Vol. XI. — P. 491-546 — прослеживается длительная история трактовки любовной болезни в древней, средневековой и ренессанской теории врачевания. Хотя статья представляет собой преимущественно историческое и этимологическое исследование, в ней содержится множество сведений, касающихся заболевания. Эти сведения, однако, относятся скорее к меланхолической, чем сангвинистической стадии болезни.

³⁶ BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 263.

³⁷ Du LAURENS, "Discourse", p. 122.

³⁸ FERRAND, "Erotomania", p. 261.

³⁹ BURTON, "Anatomy", Vol. III, p. 218. Ср.: pp. 220-221; Du LAURENS, "Discourse", p. 123; VAUGHAN, "Directions", p. 91.

⁴⁰ COGAN, "Haven", p. 245.

⁴¹ FERRAND, "Erotomania", pp. 241-242. Ферранд не рекомендует употреблять как горячие и влажные, так и горячие и сухие продукты.

⁴² *Ibid.*, p. 238. Ферранд ссылается на: Aristotle, "Problems", 953^b.

⁴³ В настоящей работе я не рассматриваю меланхолическую любовь в драме (предмет сам по себе обширный). Тем самым я не подразумеваю, однако, что сангвинистическая и меланхолическая стадии ясно различены в сознании драматургов. Обе стадии часто смешиваются. В

- “Жертве любви” Форда, к примеру, Фернандо нелогично жалуется одновременно на избыток крови и крайнее истощение; см.: *The Works of John Ford* / Ed. by Gifford-Dyce. — London, 1895. — Vol. II. — P. 21, 34, 48.
- Соединение любви и жара является, несомненно, очень древним и хорошо известным. См.: Ovid, “*Remedia Amoris*”, строки 105, 117-120, 491; Henry Thornton Wharton. *Sappho-New York*, 1920. — P. 56. Данное соединение зародилось, по-видимому, не в научной теории, но научная теория, несомненно способствовала его укоренению.
- 46 *The Complete Works of John Lyly* / Ed. by R. W. Bond. — Oxford, 1902. — Vol. III. — P. 255.
- 47 *The Works of George Chapman: Plays* / Ed. by R. H. Shepherd. — London, 1889. — P. 4.
- 48 *The Works of John Marston* / Ed. by A. H. Bullen. — London, 1887. — Cp.: p. 210.
- 49 Sig. C1^v (Students’ Facsimile Edition). Cp.: sig C3^v.
- 50 *The Works of Francis Beaumont and John Fletcher* / Ed. by Glover-Waller. — Cambridge, 1905-12. — Vol. II. — P. 397.
- 51 *The Plays of Philip Massinger* / Ed. by William Gifford. — London, 1813. — Vol. II. — P. 284. Cp.: Massinger, “*The City Madam*”, *Plays*, Vol. IV, p. 45.
- 52 Massinger, *Plays*, Vol. I, p. 247. “*Jovial*” (в переводе: “сердечный” — О.С.) означает сангвинистический.
- 53 “*The Faithful Shepherdess*”, Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 438.
- 54 *Works*, Vol. II, p. 160. Cp.: Massinger, “*The Parliament of Love*”, *Plays*, Vol. II, 300-301.
- 55 “*Othello*”, III, IV. 40. Я пользуюсь: W. J. Craig’s “*Oxford Shakespeare*.”
- 56 *The Works of Thomas Middleton* / Ed. by A. H. Bullen. — London, 1885-86. — Vol. — P. 41.
- 57 “*The Faithful Shepherdess*”, Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 384.
- 58 “*The Lover’s Progress*”, Beaumont and Fletcher, Vol. V, p. 112.
- 59 “*The Bloody Brother*”, Beaumont and Fletcher, Vol. IV, p. 302.
- 60 Ford, “*Love’s Sacrifice*”, *Works*, Vol. II, p. 35.
- 61 Massinger, “*The Great Duke of Florence*”, *Plays*, Vol. II, p. 523. Cp.: Massinger. “*The Bondman*”, *Plays*, Vol. II, p. 38.
- 62 Ford, “*Tis Pity*”, *Works*, Vol. I, p. 160.
- 63 Tomkis. *Albunazor // A Select Collection of Old English Plays* / Ed. by Dodsley-Hazlitt. — London. 1874-76. — Vol. XI. — P. 308. Cp.: Chapman, “*The Widow’s Tears*”, *Plays*, p. 323.
- 64 Massinger, “*The Parliament of Love*”, *Plays*, Vol. II, p. 299. Cp.: “Жар похоти / Не наполняет ее лазурные вены.” — Massinger, “*The Great Duke of Florence*”, *Plays*, Vol. II, p. 465.
- 65 Ford, *Works*, Vol. I, pp. 177, 293. Форд использует слово (“*phurisy*” — О.С.) в значении “*plethora*” (полнокровие — О.С.) (см. “*pleurisy*” в NED). Cp.: BURTON, “*Anatomy*”, Vol. III, p. 263.
- 66 Marston, “*The Insatiate Countess*”, *Works*, Vol. III, p. 195; Middleton, “*The Spanish Gipsy*”, *Works*, Vol. VI, p. 128; Ford, “*Love’s Sacrifice*”, *Works*, Vol. II, pp. 21, 48.
- 67 *Lust’s Dominion* / Ed. by J. Le Gay Breton. — Louvain, 1931. — P. 121.
- 68 Dekker. *Honest Whore (II) // The Dramatic Works of Thomas Dekker*. — London, 1873. — Vol. II. — P. 131.
- 69 Webster. *Appius and Virginia // The Complete Works of John Webster* / Ed. by E. L. Lucas. — London, 1927. — Vol. III. — P. 222.
- 70 “*A Wife for a Month*”, Beaumont and Fletcher. Vol. V, p. 33.
- 71 Tourneur. *The Atheist’s Tragedy // The Works of Cyril Tourneur* / Ed. by Allardyce Nicoll. — London, 1930. — P. 200.
- 72 Heywood. *The Rape of Lucrece // The Dramatic Works of Thomas Heywood*. — London, 1874. — Vol. V. — P. 217.
- 73 Lyly, “*Endimion*”, *Works*, Vol. III pp. 26, 34.
- 74 “*As You Like It*”, III, II, 449-451.
- 75 Beaumont and Fletcher, Vol. X, p. 97.
- 76 “*The Merry Wives of Windsor*”, II, I, 119.
- 77 Beaumont and Fletcher, Vol. I, p. 271.
- 78 Dekker. “*The Honest Whore (II)*”, *Works*, Vol. II, p. 118.
- 79 Chapman, “*Monsieur D’Olive*”, *Plays*, p. 117.
- 80 Chapman, “*The Widow’s Tears*”, *Plays*, p. 332.
- 81 Massinger, “*The Bondman*”, *Plays*, Vol. II, pp. 33-35.
- 82 “*Lust’s Dominion*”, p. 9.
- 83 “*The Spanish Curate*”, Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 110.
- 84 “*The Second Maiden’s Tragedy*” (Malone Society Reprints), p. 2.
- 85 “*The Elder Brother*”, Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 45.
- 86 “*Cupid’s Revenge*”, Beaumont and Fletcher, Vol. IX, p. 222.
- 87 Heywood, “*The Rape of Lucrece*”, *Works*, Vol. V, pp. 207-208.
- 88 Massinger, “*The Great Duke of Florence*”, *Plays*, Vol. II, p. 451.
- 89 Beaumont and Fletcher, Vol. III, p. 181. Cp.: Marston, “*The Fawn*”, *Works*, Vol. II, p. 216.
- 90 Beaumont and Fletcher, Vol. II, pp. 375-376.
- 91 Ford, “*The Broken Heart*”, *Works*, Vol. I, p. 247.
- 92 Marston, “*The Malcontent*”, *Works*, Vol. I, p. 262.
- 93 *A Collection of Old English Plays* / Ed. by A. H. Bullen. — London, 1882-85. — Vol. I. — P. 15. Cp.: Massinger, “*The Parliament of Love*”, *Plays*, Vol. II, p. 244.
- 94 Эринго, определенный в Новом словаре английского языка (NED) как “Засахаренный корень морского падуба (the Sea Holly)...”, является наиболее часто упоминаемым в драме возбудителем. Случается, что эринго характеризуется не как сангвинистический, а как холерический продукт — “горячий и сухой во второй степени”. — VENNER, “*Via Recta*”, p. 136. Он согревает “детородные части”. — WIRTZUNG, “*Praxis*”, p. 717. См. также: FERRAND, “*Erotomania*”, p. 247.
- 95 Massinger, “*The Bondman*”, *Plays*, Vol. II, p. 38.
- 96 “*Jack Drum’s Entertainment*”, sig. G4r. Cp.: “*The Merry Wives of Windsor*”, V, V, 20-24.
- 97 Middleton, “*A trick to Catch the Old One*”, *Works*, Vol. II, p. 290. “Яйца и мускатный виноград” упоминаются в качестве возбудителей также
- 98 “*Cupid’s Revenge*”, Beaumont and Fletcher, Vol. IX, p. 224. Свойства мускатного винограда, или муската, рассмотрены выше.
- 99 Beaumont and Fletcher, Vol. IX, p. 33. Cp.: “Гляди-ка, возбуждающие блюда: настоящий эринго / И картофель”, p. 58.
- 100 *The Plays and Poems of Henry Glapthorne*. — London, 1874. — Vol. I. — P. 84. Некий молодой человек в “Ненасытной графине” Марстона
- 101 намекает, что его аптекарь продает ему “возбуждающие продукты” (*Works*, Vol. III, p. 159).
- 102 “*Wit Without Money*”, Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 195.
- 103 Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 442.
- 104 Massinger, “*The Guardian*”, *Plays*, Vol. IV, p. 171.
- 105 Beaumont and Fletcher, Vol. V p. 71.

¹⁰⁴ Ford, "Tis Pity She's a Whore", Works, Vol. I, p. 122.

¹⁰⁵ IV, III, 97-98.

¹⁰⁶ "Lust's Dominion", p. 52.

¹⁰⁷ Tourneur, Works, p. 216.

¹⁰⁸ Beaumont and Fletcher, Vol. III, p. 226. Другие упоминания кровопускания как средства от любви встречаются в: Field, "A Woman Is a Weathercock", Old Plays, ed. by Dodsley-Hazlitt, Vol. XI, p. 84; Massinger, "The Duke of Milan", Plays, Vol. I, p. 291.

¹⁰⁹ Massinger, "The Parliament of Love", Plays, Vol. II, p. 294.

¹¹⁰ Ibid., p. 302. Этот эпизод является одним из наиболее существенных в пьесе. См. особенно pp. 299-302.

¹¹¹ Chapman, "May-Day", Plays, p. 278.

¹¹² "Measure for Measure", I, IV, 57-61. Ср.: Cogan, "Haven", p. 245. (цитировано выше).

¹¹³ Lyly, "Endimion", Works, Vol. III, p. 74.

¹¹⁴ Ben Johnson / Ed. by Herford-Simpson. — Oxford, 1925-38. — Vol. VI — P. 481.

¹¹⁵ "The Faithful Shepherdess", Beaumont and Fletcher, Vol. II, p. 396.

¹¹⁶ Chapman, Plays, p. 150. Ср.: Marston, "The Insatiate Countess", Works, Vol. III, pp. 171, 187.

¹¹⁷ Chapman, Plays, p. 152.

¹¹⁸ Beaumont and Fletcher, Vol. X, pp. 302-303.

¹¹⁹ Ibid., p. 303.

¹²⁰ P. 304.

¹²¹ Ford, "Love's Sacrifice", Works, Vol. II, p. 47.

¹²² P. 21.

¹²³ P. 36.

¹²⁴ P. 34.

¹²⁵ Конфликт между любовью и здравым рассудком находится в центре внимания также в: Whetstone, "Promos and Cassandra"; Shakespeare, "The two Gentlemen of Verona", "Measure for Measure"; "A Warning for Fair Women"; Marston, "The Dutch Courtesan", "A King and No King", "Monsieur Thomas"; Massinger, "The Unnatural Combat"; Ford, "Tis Pity" (Works, Vol. I, pp. 122, 125); Brum, "The Queen's Exchange"; Glapthorne, "Revenge for Honour". См. также: "The Second Maiden's Tragedy", p. 27; "Bonduca", Beaumont and Fletcher, Vol. VI, p. 99; Heywood, "A Woman Killed with Kindness", Works, Vol. II, p. 108; Middleton, "Women Beware Women", Works, Vol. VI, p. 251.

¹²⁶ Marstone, "The Insatiate Countess", Works, Vol. III, p. 220.

¹²⁷ Ibid., p. 224.

Перевод сделан по изданию: Lawrence Babb. The Physiological Conception of Love in The Elizabethan and Early Stuart Drama // Publications of the Modern Language Association of America. — New York, 1941. — Vol. LVI., N 4. — P. 1020-1035.

О.А. Сычев

ПЕШКОВ. ВОТ ЗЛОНРАВИА ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ!

МАХОВ. Не понимаю. Ты стал моралистом?

ПЕШКОВ. Мораль сей басни такова: риторика познания вечно хочет блага (истины, пользы, добра, красоты!), но чем не ад, как всегда, возникает в результате имманентного действия разума: блюдца с выпущенной кровью, залеченные работой, бесчувственные люди? А ты еще вчера по радио так горячо защищал европейский рационализм, хотя никто не нападал на него. Он на всех нападает.

МАХОВ. Почему это?

ПЕШКОВ. Поэтому что чистый классический разум импотентен по своей природе, внечеловечен, его задача охладить страсть, которая, однако, мстит ему за это разгорячением мысли. Охлаждая пыл, мысль холодно кровавит, то пускает кровь, то сжигает на кострах, то гноит в ГУЛАГах.

МАХОВ. Ты уверен, что это именно мысль?

ПЕШКОВ. Мысль-мысль. Именно отрешенная от живого слова, мрачно развоплощенная мысль, которая, как раз будучи неизреченной, является по определению ложью, потому что только в изречении возможна проверка на правду.

МАХОВ. Но ведь неизреченная мысль-то совершенно безопасна. Бесконечная бессмысленная болтовня опасна.

ПЕШКОВ. Конечно. Для говорящего, а не для мысли. Неизреченная мысль и опасна. Вокруг нее накручивается столько правдоподобной чепухи, что она, несказанная, кажется Великой Истиной. Риторика познания дает механизм обоснования любой истины. Наука в целом — это политическая проститутка.

МАХОВ. Послушай, не слишком ли крутой обскурантизм ты врубаешь?

ПЕШКОВ. Зачем так. Сам же читал Фейерабенда. Потом проститутка — не всегда плохо.

Вопрос в том, с кем она живет... А вот кстати, оставаясь в Англии,

ПЕРЕНЕСЕМСЯ ИЗ XVI В XIX ВЕК...

Шла по Ситри проститутка, а за ней — Вампир

любовь и смерть
в викторианской
литературе

Sex and Death in Victorian Literature. — Ed. by
Regina Barrecca. — Macmillan Press, 1990.

Что может быть поэтичнее,
чем смерть прекрасной молодой женщины?
Э.АПО

ВЕЧЕРОМ 29 ДЕКАБРЯ 1834 ГОДА,

отправив своего мужа — весьма третьестепенного поэта

Генриха Штиглица на концерт, двадцативосьмилетняя Шарлотта Штиглиц совершила нечто чудовищное. Она надела чистую белую ночную рубашку, капот, легла в супружескую постель и закололась кинжалом, который купила еще будучи невестой.

Самоубийство — вещь тривиальная; но чудовищна посмертная записка, оставленная Шарлоттой. В записке вся соль (на раны).

В записке Шарлотта пишет, что ее самоубийство — акт самопожертвования во имя поэтического гения мужа. Генрих, пишет она, впал в депрессию и душевную летаргию, его поэтические силы ослабевают, только сильнейшая боль и сознание невозвратимой потери могут вернуть его — как поэта — к жизни. Шарлотта посмертно станет его Музой, вернет способность творить.

Поступок Шарлотты, как говорится, имел резонанс: на какое-то время она сделалась Музой Немецких поэтов, целая когорта коих посвятила ей поминальные стихи. Был ли среди них Генрих Штиглиц?

Теперь “интерпретации”. В частности, рассуждения Элизабет Бронфен (Мюнхенский университет), из чьей статьи (“Диалог с мертвой: усопшая возлюбленная как муза”) мы и заимствовали эту душераздирающую историю. В нашей культурной традиции, пишет Бронфен, предпосылкой символического изображения служит отсутствие изображаемого; поэтому литература неполное, эфемерное и вообще отсутствующее предпочитает полноценному и непосредственно присутствующему; риторическая фигура предпочтительнее объекта. Стало быть, лучшая Муза — мертвая Муза. То бишь Шарлотта, возлегши на костер, где культура сожигает всю реальность во имя дерридианского учения о знаке как “обозначении отсутствия” (“следе”), проявила тем самым замечательную семиотическую сознательность. Ладно, Бог с ним, с Дерридой: моден он. Более любопытна другая интерпретация той же Бронфен. Жена берет на себя материнские функции — по отношению не к самому мужу, но к его поэтическому гению (увы, отсутствовавшему); умирая, она дает гению новое рождение, а к мужу возвращаются его собственные жизнеродные потенции — творческая сила как способность порождать.

Но есть соблазн еще одной интерпретации: поэтический гений — общее дитя Генриха и Шарлотты (по



крайней мере, так видится Шарлотте). И супружеское ложе, — жутко сказать, — использовано по назначению?

А что хорошего могла ожидать викторианская женщина на супружеском ложе? Сексуальная активность, согласно бытовым представлениям эпохи, означала растрату жизненных сил: каждый оргазм приближает к смерти. Мужчина забирает жизненную энергию из женщин — как, впрочем, и младенец, кормимый грудью. Младенец и мужчина с их вампироподобным “питанием” одинаково отвратительны викторианской женщине (обо всем этом Регина Баррека пишет во вступительной статье сборника).

Смерть и секс — чисто физиологические акты и равно страшны, ибо совершаются в неведение души. Но связь смерти и секса в викторианском сознании — не только физиологическая. Их связует еще и, как пишет Баррека, идея греха, и осцилляция между страхом и желанием, и то, что смерть и секс в равной мере выходят за границы человеческого контроля, и потому их в равной мере надлежит бояться.

Вот, правда, линия, на которой любовь и смерть в викторианском сознании не встречаются. Смерть для викторианца — одно из главных, любимейших и занимательнейших публичных действий (мы уже в статье Роберта Трейси, Калифорнийский университет, “Люблю тебя по-всякому: вампы, вампиры, некрофилы и некрофилки в литературе 19 столетия”; в этой статье мы и останемся до конца). Викторианец просто помешан на этих катафалках, лошадях с черными попонами, факельщиках; а викторианские романы обожают изображать умирание: Поль в “Домби и сыне” умирает на ста с лишним страницах^{*}. Иное дело — секс! Если смерть, так сказать, сверхпублична, то секс — сверхприватен: о нем ни слова.

Но хотя о нем — ни слова, секс все же остается одной из тайных, подавленных, но от того лишь более мощных и необоримых маний викторианца. Обратимся же к остроумным разгадкам сексуальных шифрограмм в статье Роберта Трейси.

Если смерть и секс вечны, то так же вечна и связь между ними. Гадес, греческий бог смерти, буквально означает: “бог того, что невидимо”. Его имя этимологически связано с *aidoion* — “срамной член”. Характерно, что именно Гадес в пьесе Еврипида приходит, чтобы увести Алкестиду от мужа в подземное царство; быть может, это первое в литературе появление мотива секса как смерти, а Гадес — далекий прототип вампира в романе ужасов 19 столетия (все это — на совести Трейси! — А.Махов).

Нет сомнений, что вампировский роман 19 века происходит от готического романа предыдущего столетия. Но и различие между ними существенно: готический роман — о психологическом ужасе, вампировский — об ужасе физическом, физиологическом и, в частности, сексуальном. Изменилась структура страха. Но изменилась и структура страшного: готический призрак ужасен, но бесплотен, у вампиров же есть тела.

И еще какие тела! Вампиры, как правило, одышкой и дистрофией не страдают: они подвижны как суслики и могучи как львы. Даже если на вид вампир — хрупкая субтильная девушка. Когда генерал Шпильсдорф (в романе Шеридана Ле Фаню “Кармила”) узнает, что Кармила — вампир, погубивший его дочь, и в остервенении бросается на нее с топором, “крохотная ручка замыкается как стальные тиски на его запястье и останавливает удар”.

Разумеется, вампиры опасны не только телу, но и душе: жертва вампира сама становится вампиром.

Двойная — физическая и духовная — угроза, исходящая от вампира, изображается как... сексуальная. Так, Кармила делает Лауре — своей жертве явно эротические предложения. “Порой моя странная и прекрасная спутница брала мою руку и вновь и вновь нежно пожимала ее; загораясь румянцем, она бросала на меня томные и жгучие взгляды, а дыхание ее было таким бурным, что одежды на ней вздымались и опадали...” У Лауры все это вызывает “странное сумбурное возбуждение”, где “приятное смешано с туманным ощущением страха и отвращения”.

Вампир-лесбиянка — для чопорной викторианской литературы совсем не слабо! Но композитор лишь аранжирует — сочиняет же музыку народ. И Трейси с полным основанием обращается к фольклору. Выясняется, что два титана вампировского романа — Шеридан Ле Фаню и Брем Стокер родились и воспитывались в Ирландии. И тамошние Арины Родионовны уж конечно же рассказывали им о сказочных существах — сидуах, обитающих в пещерах и расщелинах скал. Сиды (по Трейси) — оборотни мертвых, некогда похороненных в скалах. Они заманивают к себе в подземелье молодых мужчин и женщин, там соединяются с ними в “браке” и ведут долгую (вариант: вечную) счастливую жизнь (то есть, собственно, смерть).

Вот и зародыш вампировского сюжета — сюжета эрото-танатического. Впрочем, уже в открывающей тему повести “Вампир” Джона Уильяма Полидори, выпущенной в 1819 году под именем Байрона (Полидори был его домашним врачом; в 1821 году по непонятным причинам отравился), вампир лорд Ратвен наделен явными чертами секс-бомбы (неодолимые “чары совратителя”).

Впрочем, эротический момент в вампировском романе прочно утверждается в 1840-х годах, когда с легкой руки Т.П.Приста (он же — Дж.М.Раймер), автора романа “Варни-вампир, или Праздник крови”, вампиры очень избирательно начинают интересоваться женщинами, и не просто женщинами, а женщинами желательно в

* Заметим: вышеприведенная история не вполне — по времени и месту — викторианская, но не случайно же всеведущая Регина Баррека включила ее в свой сборник.

** К.Х. Макей в статье из нашего сборника высказывает мнение, что у Диккенса подобное риторическое “рассеивание”, растягивание (и тем самым ослабление) смерти позволяет ослабить и завуалировать ее эротические моменты.

дезабиле и ночью в постели.

В “Кармилле” Ле Фаню (1871-1872) происходит знаменательное обогащение вампировского сюжета: до “Кармиллы” вампиры гетеросексуальны. Кармила превращает “спящих красавиц” в сексуально агрессивных женщин, которые, став в свою очередь вампирами, иногда преследуют мужчин, но чаще — все-таки женщин.

К рубежу веков эротика вампировского романа кульминирует в почти что откровенной, хотя и очень своеобразной порнографии: ее можно было бы назвать “гробопорнографией” или “порногробистикой”. Так, в романе Стокера “Сокровище семи звезд” (1903) вскрытие гроба по сути делу шифрует сексуальное посягательство. Распеленав мумию королевы Теры, герои обнаруживают, что она лежит нагая... рассказчик (разумеется, мужчина) ощущает “прилив стыда... нехорошо, что мы здесь, и непочтительно разглядываем эту обнаженную красоту: это неприлично...”

Вампировский роман ставит перед историком викторианства вопрос: осознавала ли сама культура, породившая этот жанр, что она породила? Осознавали сам автор — как представитель своей культуры — что он пишет? Вопрос этот навеян немислимостью сложившейся ситуации: вообразите, в пуритански-чопорной Англии, посадившей за решетку британского издателя романов Золя (как безнравственных!), запретившей клинические исследования сексуального поведения, проводимые Х.Эллисом, упрятавшей в тюрьму и Оскара Уайльда (за то самое сексуальное поведение) — в этой викторианской, одним словом, Англии процветает, несколько не беспокоимый цензурой, изысканно-извращенный болезненно-эротический жанр — и его непристойная суть, несмотря на явную актуализацию идеи непристойности в общественном сознании, вроде бы никем не замечается!

Роберт Трейси считает, что романы Стокера и Ле Фаню спасал от цензуры присутствующий в них элемент сверхъестественного. Сверхъестественность сублимировала чувственность, вуалировала ее. Дракула, Кармила, Люси — не мужчины и женщины (по крайней мере, формально) и вообще не живые существа; следовательно, чем бы они ни занимались, они не в состоянии совершить что-либо непристойное.

Очевидно, общественное сознание эпохи действительно не замечало заложенного в вампировском романе эротического подтекста. Знал ли о нем сам классик жанра — Стокер? Один из исследователей творчества Стокера, Д.Фарсон, пишет: “Сомневаюсь, что он осознавал лесбиянство “Кармиллы”, и уверен, что он не отдавал себе отчета в сексуальности “Дракулы”. Роберт Трейси, однако, придерживается иного мнения: совершенно невероятно, чтобы Стокер, вращавшийся в тех же театральных и литературных кругах, откуда вышли Оскар Уайльд и Обри Бердсли, был столь невинен...”

Выстроим вслед за Трейси два ряда: литературный и биографический.

Сюжет “Дракулы”. Люси (женщина, а позднее — вампир) по ходу романа “имеет” как минимум пятерых мужчин, в их числе Ван Хелсинг и Дракула. Все они выходят из ее объятий совершенно измученными и опустошенными, за исключением Дракулы, который сам “выпивает” из нее “все соки”. Люси ненасытна, ее вампиричность имеет нечто общее с нимфоманией, а нимфомания с вампиричностью. После смерти она становится в самом буквальном смысле уличной проституткой (но и вампиром). Когда ее “сексуальность” обнаруживает свою ненасытность, ее четыре “мужа” объединяются в попытке сексуального акта, останавливающего агрессию Люси (Трейси трактует как фаллос осиновый кол, которым разгневанные мужчины пробивают гроб с телом Люси).

Биография Стокера. По свидетельству внучки Стокера, его жена “отказалась заниматься любовью с Бремом” после рождения их единственного ребенка в 1879 году (вполне викторианское решение!). По ее же словам, Стокер умер от сифилиса, которым заразился, вероятнее всего, в 1897-м, “в год “Дракулы”, от уличной проститутки.

А теперь интерпретация. Главный преследователь Люси — Ван Хелсинг; он, как и Стокер, датчанин; как и Стокер, рыжий. Кроме того, его брак неудачен: Ван Хелсинг признается, что “моя жена все равно что мертва для меня”.

Автор — Брем Стокер — претерпевает в собственном романе двойную идентификацию, пропускает себя одновременно через двух героев (к тому же — антагонистов). С одной стороны, он — Дракула, могучий вампир, изнуряющий ночных проституток, с отвращением изображенных как “плотские и бездуховные” создания. С другой стороны, он — Ван Хелсинг, руководитель группы, уничтожающей подобных женщин. Действия группы напоминают реальное событие — массовые убийства проституток в 1888 году, приписываемые Джеку Потрошителю. Сексуальное насилие Дракулы и убийства Ван Хелсинга — оборотные стороны одной фантазии Стокера: его мечты о полной сексуальной власти и о полном сексуальном отмщении. Женщины-вампы, разносящие повсюду “заразу” вампиризма — оборотни больных проституток, ответственных за смертельную болезнь Стокера; описывая подобных вампов, Стокер мысленно наслаждается их чувственностью и мстит за себя, уничтожая их.

Во всех вампировских романах — созданиях мужчин — сквозит одна и та же обеспокоенность. Это страх перед **НОВОЙ ЖЕНЩИНОЙ**, перед эмансипе, соединяющей женские формы с мужской сексуальной свободой и сексуальной агрессией. Страх и тревога принимали причудливые формы.

В романе Хаггарда “Она” (1887) изображена **НОВАЯ ЖЕНЩИНА**, вождедеющая матриархата. Она же вампир, но сексуально агрессивна, и к тому же некрофилка: живет в склепе, спит рядом с набальзамированным трупом давно умершего любовника. Ее одежды тонки и прозрачны, и она полностью снимает их, чтобы “голой купаться



в голом огне”.

В романе Артура Мейчена “Великий бог Пан” (1890) героиня рождается от бога сладострастия в ходе таинственного и омерзительного эксперимента. В финале она растворяется — очевидец созерцает, как “ее формы перетекали от женского пола к мужскому и назад, то разделяясь, то сливаясь. Затем я увидел, как ее облик снизошел к той животной твари, из которой она и возникла...”

Особенно любопытен редкий по своей чудовищной безвкусице поздний (если не последний) роман Стокера “Логовище Белого Червя” (1911). Леди Арабеллу укусила змея. В результате этого происшествия она оказывается во власти некоего Белого Червя, живущего в пещере, который одновременно — и мужское, и женское: этаким фаллос, обитающий в глубине вагины. Червь как бы входит в Арабеллу, манипулирует ею. Арабелла, одержимая червем, становится вампиром, убивает сначала девушку, а затем начинает охотиться и за мужчиной... Но тот (его, кстати, зовут Адам) малый не промах: он закладывает в нору червя динамит и взрывает Арабеллу вместе с ее червем. По поводу этого идиотского сюжета Трейси отпускает милое пот: “Адам уничтожает заодно и Бву, и Змея.”

Сгущая краски и включая свет, суммируем: внутри викторианской ситуации мы видим страх женщины перед сексом, “сокращающим жизнь”, мы видим женщину-жертву и мужчину-вампира. Женщина обречена, а там, где, по словам поэта, “легко не быть”, легко и самопожертвование — побочный продукт так пессимистично, увы, понимаемого и принимаемого супружеского ложа (бедная Шарлотта!).

Но извне — с грязных лондонских панелей в уютный будуар — грядет
НОВАЯ ЖЕНЩИНА — И РОЛИ ОБРАЩАЮТСЯ ПРОТИВ АКТЕРОВ: КОМУ ТЕПЕРЬ ПИТЬ КРОВЬ?

Александр Махов

ПЕШКОВ. МРАЧНАЯ КАРТИНА: ЖЕНЩИНА БОИТСЯ СЕКСА, МУЖЧИНА БОИТСЯ ЖЕНЩИНЫ...

Судя по тому, как сгущаются краски, мы опять приближаемся к блоку

МЕТАФИЗИКА



Что может больше омрачить любовь, чем размышление о ней? И странное дело: все запрещено (как в Англии XIX века) — плохо, все разрешено (как во Франции XX века) — плохо. Чего им надо? Никто же тебя за уши не тянет ядро разрушать, или что — открытый (циничный) секс — это новая норма поведения, нарушать которую строго-настрога запрещено? И вот общественное мнение! Вот его метафизика!

МАХОВ. *И нет более неприятного предмета для метафизики, чем тело. Философия в 20 веке, как принято считать, открыла “проблему телесности”, но, по-моему, радости это никому не принесло. Тело — наша ахиллесова пята: оно “подвержено объективации”, то бишь через него, как через замочную скважину, Другой коварно проникает в нас как в объект, нас поработывает, умерщвляет, терзает... словом, “другой — это ад”. Вот и вся любовь!*

ПЕШКОВ. *Надо просто стать альтруистом: пусть Другому будет хорошо! Можно ведь и так повернуть: 20 век открыл тело как чистый объект, не омраченный никакими идеями греха, вины, нечистоты и прочего; как объект чистой радости. 20 век гигиеничен — он не воняет, как восемнадцатый, о чем нам поведал Зюскинд в “Парфюмере”. И тело не воняет — ни адской серой (к которой принохивались в средневековье), ни небесно-погребальными лилиями викторианцев. А отсутствие вони — как буквальной, так и метафорической — залог радостей сексреволюции. Тело равно телу, и никаких метафизических добавок! Приятная тавтология.*

МАХОВ. *Отсюда стартовало величественное шествие сексреволюции. Но все же без метафизики человек не обходится: торжество “чистого тела” было сублимировано большими социальными мифодвижениями типа фашизма, коммунизма, и, естественно, антифашизма, антикоммунизма. Первая волна, которая шла с 20 — 30 годов, ими полностью поглотилась: вторая волна сексреволюции началась почти сразу после войны. Пик подъема пришелся на конец 60-х, а вершина этого пика на конец 70-х.*

ПЕШКОВ (неожиданно). *Как хорошо, что мы не говорим о Фрейте!*

МАХОВ. *НО О НЕМ ГОВОРIT МЕРЛО-ПОНТИ.*

Кошелева В.Л.

Тело, сексуальность и метафизика любви

(Морис Мерло-Понти)

ТЕМА СЕКСУАЛЬНОСТИ И ЛЮБВИ РАССМАТРИВАЕТСЯ М.МЕРЛО-ПОНТИ В КОНТЕКСТЕ основной проблемы его творчества, определяемой самим философом как обоснование подлинного способа бытия человека и человеческой субъективности¹. Развивая теорию “феноменального тела” как особого способа существования чувственно-смысловой, интенционально-действующей субъективности и утверждая глубочайшую связь сексуальности с этим уникальным экзистенциально-смысловым “пространством”, отличным от наличного бытия вещи и интеллигибельного сознания, Мерло-Понти не обошел вниманием ни экзистенциалистскую концепцию Ж.-П.Сартра, ни психоаналитическую концепцию З.Фрейда. В основном труде французского философа “Феноменология восприятия”, где теме эротической любви специально посвящается целая глава, отчетливо просматривается влияние этих двух полюсов, создающих смысловое напряжение собственных размышлений Мерло-Понти.

Мерло-Понти не приемлет односторонние естественно-детерминистские, биологизаторские трактовки фрейдизма. В первой своей работе (“Структура поведения”) он больше критикует фрейдовскую теорию за попытку перенести категории физиологического материализма в метафизическую теорию человеческого существования; а в “Феноменологии восприятия” — прежде всего обращается к феноменологическому смыслу психоанализа, утверждая, что Фрейд, сам того в полной мере не осознавая, способствовал развитию феноменологического метода. Речь идет о том, что в результате своих конкретных психологических исследований Фрейд вынужден был прийти к признанию “недетерминированных”, “сверхприродных” смыслов сексуальных симптомов и тем самым предпринять попытку “реинтегрировать сексуальность в человеческое бытие”². Именно здесь, полагает Мерло-Понти, двойственность психоанализа обнаруживается особенно рельефно: с одной стороны, он намеревается объяснить человека посредством сексуальной инфраструктуры, или “либидо”³, а с другой стороны, стремится понять собственно человеческий смысл сексуального поведения, связывая его с некой целостной позицией субъекта по отношению к самому себе, миру и другим людям. Истоки двусмысленности теории Фрейда заключаются, по мнению Мерло-Понти, не столько в противоречивости, непоследовательности или незавершенности его построений, сколько в чрезвычайной сложности, двойственности и неоднозначности самого феномена эротической любви.

Мерло-Понти не отрицает естественно-природных, физиологических оснований, эротической любви. Но можно ли понять то значение, которое феномен эротической любви имеет в человеческой жизни, объясняя его только силой полового инстинкта, неодолимостью сексуального влечения, порождаемых естественными процессами, протекающими в организме и вызывающими болезненное напряжение в случае их неудовлетворения? Отрицательно отвечая на этот вопрос, Мерло-Понти опирается в частности на исследования психологов и психиатров — В.Штекеля, Л.Бинсвангера и др., которые развивали учение Фрейда в духе экзистенциально-феноменологического анализа. Вопреки убеждению ортодоксальных адептов фрейдизма, а также вопреки обыденным представлениям (далеким от тонкостей психоанализа), однозначно связывающим неудовлетворение сексуальной потребности с тяжелыми физическими и психическими нарушениями, результаты исследований специалистов не подтвердили какого бы то ни было непосредственного вредного воздействия полового воздержания на внутреннее равновесие, работоспособность и пр.⁴ Более того, они доказали, что сексуальное напряжение всегда оказывается значительно слабее тех напряжений, которые возникают под влиянием голода, жажды, страха, угрозы самосохранению и т.д. То, что в подобных случаях подвергается торможению не что иное, как сексуальная потребность, свидетельствует об убедительности сделанного специалистами вывода: сексуальное напряжение само по себе не способно вызывать тотального нарушения саморегуляции и жизнедеятельности человека. Но как в таком случае следует понимать те многочисленные сексуальные симптомы, с

1 Более подробно см. об этом наши статьи “Мерло-Понти” и “Феноменология восприятия”: Современная западная философия. Словарь. — М.: Политиздат, 1991, — С. 178–180, 323–324.

2 Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la perception*. — Paris. 1945. — P. 184.

3 Под “либидо” в психоанализе понимается совокупность врожденных, бессознательных инстинктов сексуального характера.

4 См. об этом: Обуковский К. Психология влечений человека. — М.: Прогресс, 1971. — С. 107–119.

которыми Фрейд и другие психоаналитики сталкивались в своей клинической практике, наблюдая самые разнообразные случаи неврозов и психических заболеваний?

Феноменологический анализ подобных патологических случаев, предпринимаемый Мерло-Понти, позволяет ему сделать вывод, что подавляющее большинство так называемых “сексуальных неврозов” вызвано отнюдь не естественно-физиологическими нарушениями, но носит более общий, экзистенциальный характер. Сексуальные неврозы чаще всего возникают в тех случаях, когда сексуальная потребность соединяется с другими жизненно значимыми, экзистенциально-метафизическими потребностями, такими, как потребность в самовыражении, самоосуществлении, общении, эмоциональном контакте, понимании, признании, обретении смысла существования и значимого “другого” и т.д. Отмечая это чрезвычайно важное обстоятельство, Мерло-Понти пишет: в сексуальности “мы имеем дело не с периферическим автоматизмом, но с интенциональностью, которая продолжает общее движение существования”; “мы открываем сексуальную жизнь как изначальную интенциональность и жизненный источник восприятия, движения и представления, основывая все эти “процессы” на “интенциональной арке”, которая нарушена у больного человека и которая у здорового человека придает опыту жизнеспособность и плодотворность”¹.

Сказанное означает, согласно Мерло-Понти, что сексуальное поведение не обусловлено лишь внутренними возможностями органического субъекта, что между сексуальным стимулом и сексуальным поведением — и в патологии, и в норме — отчетливо обнаруживается особая “жизненная зона”, “экзистенциальное”, или “антропологическое” пространство, которое определяется “феноменальным телом”, являющимся не объектом, не суммой органов, но “смысловым ядром”, “системой возможных жизненных позиций”, носителем метафизического смысла человеческого существования. Именно феноменальное тело, “ассимилируя”, “интегрируя” и “вбирая в себя все метаморфозы” пережитого, все “сцепления существования”, растягивает затем многочисленные интенциональные нити, связывающие нас с миром и другими людьми, определяет все наши возможности воспринимать, действовать, чувствовать и понимать, позволяет “быть в состоянии внутренней коммуникации с миром и другими, быть вместе, а не рядом с ними”². Итак, “воплощенный смысл” является у Мерло-Понти первоначальным феноменом, а существование — непрерывным воплощением, сложной сферой взаимодействия, взаимопроникновения и переплетения различных фактов и мотивов; именно в это целостное бытие субъекта и включена сексуальная жизнь, обретая сверхприродное, экзистенциальное, метафизическое значение.

Интегрируя сексуальность в общее движение существования и придавая ей более широкое, экзистенциальное толкование, Мерло-Понти, судя по всему, не принимает теорию сублимации Фрейда, рассматривающую либидинозную энергию в качестве единственного источника любой человеческой активности — политической, научной, художественной и т.д. — и приходящую в конечном счете к абсолютному отождествлению сексуальности и существования. Вместе с тем французский феноменолог был не склонен также элиминировать специфику сексуальной сферы человеческой жизни и трактовать сексуальность только как “эпифеномен” существования, то есть как несущественное явление, не оказывающее на человеческое бытие никакого влияния. “Сексуальная жизнь обозначает сферу нашей жизни, которая находится в особых отношениях с существованием пола”,³ — пишет Мерло-Понти. Но эротическая любовь имеет также и другой источник, в сексуальной жизни человека пересекаются два мира: естественный, природный и человеческий, культурный. Сложность и противоречивость эротической любви, таким образом, коренится в более общей драме человеческого существования, связанной с метафизической природой человеческого существа и двойственностью тела, являющегося одновременно и объектом, и субъектом, носителем неразложимых, неуничтожимых ценностно-смысловых образований, постоянно производящих и распространяющих собственные “фонтанирующие”, “бьющие ключом”, “выплескивающиеся”, “флуктуирующие” действия. С этой точки зрения становится понятным то исключительное место, которое занимала сексуальность в невротических заболеваниях, наблюдаемых Фрейдом и другими психоаналитиками: здесь в сексуальности раскрывались метафизические корни жизненной драмы невротиков, не функциональные физические недуги, но недуги экзистенциальные.

Без всякого сомнения, уникальность человеческой сексуальности и любви принципом удовольствия не исчерпывается. Для французского феноменолога она заключается в экзистенциально-метафизической сфере человеческого бытия, придающей сексуальности богатство собственно человеческих, культурных смыслов, открывающей для личности неисчерпаемый источник жизнеспособности, вдохновения, ценностей и творческих возможностей, превосходящих и трансцендирующих предзаданное природой. Человеческое существование, пишет Мерло-Понти, по самой своей сути есть движение трансценденции, “посредством которого то, что не имело смысла, обретает смысл, то, что имело исключительно сексуальный смысл, обретает более общее значение”⁴.

Мерло-Понти показывает, что метафизика в собственном развитии сексуальности “начинается вместе с

1 Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la perception*. — P. 183, 184.

2 Ibid. — P. 113.

3 Ibid. — P. 186.

4 Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la perception*. — P. 197.

открытием “другого”¹. Противоречия любви, диалектика целомудрия и желания, стыдливости и бесстыдства, отрицания и понимания, одиночества и общения имеют место в диалектике двух сознаний, моего и другого “я”.

Анализируя в “Феноменологии восприятия” диалектику любви как диалектику множественности сознаний, Мерло-Понти — что невозможно не заметить — воспроизводит некоторые аспекты экзистенциалистской концепции Ж.-П. Сартра, бывшего в ранние годы творчества его другом и единомышленником. Речь идет о сартровской идее борьбы двух сознаний-трансценденций в любви, которая по сути есть диалектика господина и раба. Поскольку “другой” — это взгляд, субъектом которого является тело, то борьба сознаний в любви с самого начала протекает как мучительная борьба взглядов, поочередно обращенных друг на друга и подтверждающих, по Сартру, невозможность “бытийственного” пребывания двух сознаний. Ибо будучи низведенным взглядом другого до “голой” объективности, я претерпеваю отчуждение моего мира и моих собственных возможностей, я переживаю свою наготу как потерю и чувство стыда; в свою очередь, устремляя взгляд на другого, “в силу одного своего самоутверждения я конституирую другого как объект и орудие, я насылаю на него отчуждение”². Итак, “проект” любви у Сартра оказывается принципиально неосуществимым, поскольку стремление обладать сознанием другого как “абсолютной свободой” наталкивается на противоположно направленное стремление, а единственно возможным отношением между индивидами в конечном счете оказывается “связь взаимного отрицания”.

Безусловно, философия любви, если она стремится быть всесторонней, не может игнорировать такой тип отношения полов, тем более что в реальной жизни деперсонализированный, отчужденный тип сексуальных отношений довольно распространен, а “сексуальная революция”, как уже отмечалось, еще больше дегуманизировала и дезинтегрировала сексуальность, сводя ее к “технике секса”, привела к девальвации и обесценению любви. Однако признавая саму возможность возникновения отчуждения в любви, Мерло-Понти, в отличие от Сартра, утверждавшего, что отчуждение двух индивидов представляет собой неустранимую онтологическую характеристику любовных отношений, справедливо отмечал, что отношения подчинения и независимости, раба и господина, которые Сартр наблюдал в любви, проистекают в действительности из более общих моментов человеческого существования, таких, как обладание и событие, зависимость и свобода. То, к чему стремятся в подлинной любви, есть не тело-объект, но “тело, одухотворенное сознанием”, делает вывод французский феноменолог, вспоминая известный афоризм Алена: “сумасшедшего не любят”³. Поскольку человеческое бытие, по глубокому замечанию Мерло-Понти, не есть сартровское чистое отрицание, но трансценденция, то есть направленность одного существования на другое существование, непрерывный диалог человеческой субъективности с миром, временем и другими людьми, среди которых любимому существу принадлежит исключительное место, постольку, настаивает французский мыслитель, метафизический смысл и понимание в любви достижимы.

“Если мое сознание имеет тело, то почему другие тела не “обладают” сознаниями?”⁴ — задает риторический вопрос Мерло-Понти. Все дело в том, как понимать “тело” и как понимать “сознание”. Если я конституирую и объективирую другого — как это имеет место у Сартра — то я не могу понимать другое сознание, ибо другой “взгляд” на мир не может быть конституирован. Если же понимать тело не как объективное тело, но как действующее, живущее, воспринимающее тело, как чувственно-смысловое ядро человеческого опыта, а сознание — не как рефлексивное когито, но как субъект поведения, бытие-в-мире, или экзистенцию, то антиномии объективистской мысли снимаются, а восприятие другого и множественность сознаний не представляют более непреодолимой трудности. В общении-любви, утверждает Мерло-Понти, между моим феноменальным телом и феноменальным телом другого устанавливаются внутренние, интимные отношения. Благодаря телу как “важнейшему культурному объекту”, “носителю поведения”, “инструменту выражения и познания” я могу воспринимать интенции другого, понимать духовный мир любимого человека, постигать его позицию и “взгляд” на мир. Говорят, что взгляд другого превращает меня в объект и отрицает меня и наоборот; на самом деле, считает французский феноменолог, это происходит в том случае, когда “и тот, и другой взгляд является бесчеловечным”⁵. В общении-любви другое тело никогда не выступает простым фрагментом объектного мира, “мое тело, которое воспринимает тело другого, находит его как чудесное продолжение его собственных интенций, как родственник способ понимать мир”⁶. Интенциональные объекты, которые “имеются в виду” коммуницирующими в любви личностями, образуют, согласно Мерло-Понти, целостную, коррелятивную систему, открытую необъятному миру смыслов и ценностей. В отличие от Сартра, который утверждал, что в любви “я” отчуждает мир и возможности “ты”, одним своим присутствием превращая другого в объект, или “трансцендированную трансценденцию”, Мерло-Понти доказывает, что в подлинном общении любви любящие открыты друг другу как “трансцендирующие трансценденции”, направленные на постижение своеобразия и

1 Ibid. P. 195.

2 Sartre J.-P. L'Être et le Néant. — Paris, 1966. — P. 479.

3 Ibid.

4 Ibid. — P. 403.

5 Ibid. — P. 414.

6 Ibid. — P. 406.

неповторимости каждого из них. Более того, ничто так не расширяет возможности личности и не способствует взаимному трансцендированию к духовной сущности другого и смыслу существования, как любовь. Будучи вовлеченным в любовь, пишет Мерло-Понти, “я заключаю союз с другим, я решаю жить с ним в одном мире, где я нахожу другому столько же места, сколько и самому себе”¹. Таким образом, подлинное общение — любовь, по Мерло-Понти, это всегда со-существование, событие, открытое необъятному миру смысла и переживаемое каждым из любящих во всей его полноте и значимости. Общение и одиночество в понимании Мерло-Понти, не являются больше альтернативой — как в экзистенциалистской концепции одиночества Сартра — но двумя моментами одного и того же фундаментального феномена человеческого существования, а именно: трансцендирования, или направленности человека на осуществление смысла, который он стремится выявить и утвердить в мире, и на другого человека, КОТОРОЙ ЗНАЧИМ ДЛЯ НЕГО И КОТОРОГО ОН ЛЮБИТ.

МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ

ТЕЛО КАК СЕКСУАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ

Из книги “Феноменология восприятия”

— *Phénoménologie de la perception*, P., 1945, p. 184-187, 193-199.



(...) СЕКСУАЛЬНОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОНОМНЫМ ЦИКЛОМ.

Она пронизывает все существо, познающее и действующее:

эти три сферы поведения (т.е. сексуальность, познание и действие — прим. ред.) обнаруживают одну характерную структуру, находятся в отношении взаимного выражения. Мы присоединяемся здесь к самым основательным достижениям психоанализа. Какими бы ни были формулировки идей Фрейда, психоаналитические исследования ведут в действительности не к объяснению человека посредством сексуальной инфраструктуры, а к тому, чтобы отыскать в сексуальности отношения и позиции, которые ранее относились к отношениям и позициям *сознания*; значение психоанализа не в том, чтобы биологизировать психологию, а в том, чтобы открыть в функциях, которые считались “чисто телесными”, диалектическое движение и реинтегрировать сексуальность в человеческое бытие. Инакомыслящий ученик Фрейда² показал, например, что фригидность почти никогда не связана с анатомическими или физиологическими состояниями, а чаще всего выражается в отказе от оргазма, от роли женщины или роли сексуального существа, что в свою очередь предполагает отказ от сексуального партнера и судьбы, которую он олицетворяет. Даже сам Фрейд не дает оснований думать, что психоанализ исключает описание психологических мотивов и противостоит феноменологическому методу; напротив, он невольно способствовал развитию феноменологического метода, когда утверждал, что каждое человеческое действие “имеет смысл”³, и пытался всюду понимать событие, вместо того, чтобы связывать его с механическими условиями. У самого Фрейда сексуальное не есть генитальное; сексуальная жизнь не является простым следствием процессов, совершающихся в половых органах; либидо не есть инстинкт, то есть деятельность, от природы направленная к неким предустановленным целям, — сексуальность есть общая способность, которая позволяет психофизическому субъекту приспосабливаться к различным средам, интегрировать себя в разнообразных переживаниях, осваивать различные структуры поведения. Она есть то, что наделяет человека историей. Если сексуальная история человека дает ключ к пониманию его жизни, то только потому, что в сексуальности человека проектируется его жизненный стиль в отношении к миру, то есть в отношении ко времени и другим людям. Сексуальные симптомы лежат в основании всех неврозов, но эти неврозы, если их правильно читать, символизируют целостный образ поведения — например, позицию завоевания или позицию бегства. В сексуальной истории, понимаемой как проекция общей формы жизни, все психологические мотивы могут взаимопроникать, поскольку более не существует противодействия двух причинных цепей и половая жизнь включена в целостную жизнь субъекта. Поэтому вопрос заключается не столько в том, основывается ли человеческая жизнь на сексуальности или нет, сколько в том, что понимается под сексуальностью. Психоанализ представляет собой двойное движение мысли: с одной стороны, он настаивает на сексуальности жизненной

1 *Ibid.* — P. 409.

2 Steckel W. *La femme frigide*. P., 1937. (Здесь и далее в тексте примечания автора — пер.)

3 Freud S. *Introduction à la psychanalyse*. P., 1922, p. 45. Сам Фрейд, в своих частных исследованиях, освобождается от каузального мышления, когда показывает, что симптомы всегда имеют несколько смыслов, что они, как он говорит, “сверхдетерминированы”. Это приводит к признанию, что симптом в момент появления всегда имеет основания своего бытия в самом субъекте; следовательно, ни одно событие в жизни не является, собственно говоря, детерминированным извне. Фрейд сравнивает внешнюю случайность с вторичным телом, которое для устрицы — лишь повод выработать жемчужину. См., например: Freud. *Cinq psychanalyses*. P., 1935, p. 91, note 1.

инфраструктуры, с другой стороны, он “раздувает” понятие сексуальности до такой степени, что интегрирует в нем все существование. Однако именно поэтому его заключения остаются двусмысленными. Если придают широкое значение понятию сексуальности и если ее делают способом бытия в мире физическом и межчеловеческом, то хотят ли тем самым сказать, что все существование в конечном счете имеет сексуальное значение или что любое сексуальное явление имеет экзистенциальное значение? Согласно первой гипотезе, существование будет абстракцией, другим словом для обозначения сексуальной жизни. Но так как сексуальная жизнь не может быть замкнутой в себе, так как она не является обособленной функцией и не определяется одной лишь причинностью, присущей органической системе, то не имеет никакого смысла говорить, что все существование объясняется посредством сексуальной жизни, поскольку эта фраза становится тавтологией. Стало быть, верно обратное и феномен сексуальности есть только выражение нашего общего способа проектировать свою среду? Однако сексуальная жизнь не есть простое отражение нашего существования: например, продуктивная жизнь в области политики и идеологии может сопровождаться расстроенной сексуальностью, она может даже извлекать пользу из этого расстройства. Напротив, сексуальная жизнь даже может достигать, как, например, у Казановы, технического совершенства, которое вовсе не предполагает обязательно особой энергии в житейских делах. Даже если сексуальная система мешает общему течению жизни, ее можно использовать для своей выгоды. Жизнь расчленяется на обособленные потоки.

Либо слова не имеют никакого смысла, либо сексуальность обозначает такую сферу нашей жизни, которая находится в особых отношениях с существованием пола. Не может быть речи о том, чтобы погрузить сексуальность в существование, как если бы она была только эпифеноменом. Действительно, если признать, что сексуальные расстройства невротиков выражают их основную драму как бы в увеличенном виде, то останется еще понять, почему именно сексуальное выражение этой драмы является более ранним, более частым и более очевидным, чем иные, и почему сексуальность есть не просто знак, но еще и знак привилегированный. Мы показали в теории Формы, что невозможно выделить пласт чувственных данных, которые непосредственно зависели бы от органов чувств: мельчайшее отдельное ощущение является нам уже будучи интегрированным в конфигурацию и уже “приведенным в форму”. Это не мешает нам утверждать, что слова “видеть” и “слышать” все же имеют смысл. В другом месте мы отмечали, что специализированные участки мозга, “зрительная зона”, например, никогда не функционируют изолированно. Это не мешает нам говорить, что в области, где наблюдаются нарушения, в картине болезни доминирует визуальная или слуховая сторона. Наконец, мы все время говорили, что биологическое существование включено в человеческое существование и отнюдь не индифферентно к его ритму. Это не мешает нам теперь добавить, что “жить” (*leben*) есть первоначальное действие, после которого становится возможным “переживать” (*erleben*) мир так или иначе, и что мы должны питаться и дышать, а потом уже воспринимать и постигать жизнь отношений, так же как мы должны уже существовать в цвете и свете посредством зрения, в звуках посредством слуха, в теле другого посредством сексуальности, прежде чем начнем постигать жизнь человеческих отношений. Таким образом, зрение, слух, сексуальность, тело не являются только точками перехода, инструментами или выражениями индивидуального существования: последнее продолжает и вбирает в себя их предданное и анонимное бытие. (...)

Телесное существование, которое протекает во мне без моего участия, есть только набросок подлинного присутствия в мире. Оно лишь создает возможность этого присутствия, оно устанавливает наше первое соглашение с миром. Я могу отлучиться из человеческого мира, освободиться от личного существования, но только для того, чтобы вновь найти в своем теле ту же самую движущую силу, на сей раз безымянную, посредством которой я приговорен к бытию. Можно сказать, что тело есть “скрытая форма бытия самим собой”, или, наоборот, — что индивидуальное существование есть возобновление, манифестация бытия в данной конкретной ситуации. Следовательно, если мы говорим, что тело в каждый момент выражает существование, то именно в таком смысле, в каком слове выражает мысль. По эту сторону конвенциональных средств выражения, которые обнаруживают для другого мою мысль только потому, что для меня, как и для него, уже даны значения каждого знака, и которые в этом смысле не осуществляют подлинную коммуникацию, необходимо, как мы покажем, распознать первоначальную операцию означивания, в которой выражаемое не существует отдельно от выражающего и сами знаки выводятся из их смысла. Именно таким способом тело выражает целостное существование — не так, что оно служит его, существования, сопровождением, но так, что именно посредством тела существование реализуется. Этот воплощенный смысл есть первоначальный феномен, по отношению к которому тело и дух, знак и значение — абстрактные моменты.

Понятно, таким образом, что выражающее и выражаемое или знак и значение соотносятся между собой не так, как оригинальный текст и перевод. Ни тело, ни *экзистенция* не могут считаться оригиналом человеческого бытия, так как одно предполагает другое: тело есть существование застывшее и обобщенное, а существование есть непрерывное воплощение. В частности, когда говорят, что сексуальность имеет экзистенциальное значение или что она выражает существование, это не следует понимать так, будто сексуальная драма³ является в

1 Merleau-Ponty M. La structure du comportement. P., 1942, pp. 80 et suivantes.

2 Binswanger. Über Psychotherapie. — Nervenarzt, 1935: “скрытая форма нашего самоосуществления”.

3 Мы берем здесь это слово в его этимологическом значении, без какого бы то ни было романтического оттенка, подобно тому, как

конечном счете лишь выражением или симптомом драмы экзистенциальной. Тот же самый довод, который не позволяет “редуцировать” существование к телу или сексуальности, не позволяет также “редуцировать” сексуальность к существованию: ибо существование не есть некий уровень фактов (например, “психических фактов”), которые можно свести к другим фактам или к которому другие факты могли бы свестись, но сложная область взаимодействия фактов, сфера, где их границы запутываются, или, более того, сплетаются в общую ткань. Речь идет не о том, чтобы поставить человеческое существование с ног на голову. Следует, без всякого сомнения, признать, что целомудрие, желание, любовь вообще имеют метафизическое значение; иначе говоря — они непостижимы, если трактовать человека как машину, управляемую природными законами, или как “пучок инстинктов”, и причастны лишь к человеку, понятому как сознание и свобода. Человек не показывает обычно своего тела, а если делает это, то с чувством страха или с намерением обольстить. Ему либо кажется, что чужой взгляд, брошенный на его тело, грабит его, похищает его у себя самого, либо же, напротив, он воображает, что выставление напоказ своего тела выдает ему другого без защиты, и в таком случае другой обращается в рабство. Стыдливость и бесстыдство, таким образом, занимают свое место в диалектике меня и другого, которая есть диалектика господина и раба: поскольку я имею тело, я могу оказаться сведенным к объекту под взглядом другого и не признаваться им более в качестве личности; или наоборот, я могу в свою очередь стать его господином и осматривать его, однако это господство — тупик, ибо в тот момент, когда моя ценность утверждена желанием другого, другой не является больше личностью, признания которой я желаю: он отныне — существо очарованное, несвободное и в таком качестве он для меня больше ничего не значит.

Следовательно, утверждать, что я имею тело, значит утверждать, что я могу быть рассматриваемым как объект, но стремлюсь быть рассматриваемым как субъект; что другой может быть моим господином или моим рабом, — таким образом, стыдливость и бесстыдство выражают диалектику множественности сознаний и имеют метафизическое значение. То же самое можно сказать о сексуальном поведении: если оно плохо переносит присутствие третьего лица, если оно видит признаки враждебности в слишком естественном поведении или слишком равнодушных разговорах желанного существа, то именно потому, что оно хочет очаровывать, а третье лицо или желанное существо слишком независимы по натуре, чтобы очаровываться. То, чем стремятся овладеть, не есть, стало быть, тело, но тело, одухотворенное сознанием, и, как говорит Ален, сумасшедшую любят разве что постольку, поскольку любили до ее сумасшествия. Важность, придаваемая телу, сами противоречия любви связаны, следовательно, с более общей драмой, которая коренится в метафизической структуре моего тела, одновременно являющегося объектом для другого и субъектом для меня. Сила сексуального наслаждения не могла бы объяснить, почему сексуальность, в частности, феномен эротизма, занимает в человеческой жизни такое место, если бы сексуальный опыт не был как бы свидетельством, всем и всегда доступной данностью человеческого состояния в таких его самых общих моментах, как независимость и подчинение. Следовательно, мы не объясняем тревоги и страхи человеческого существования, связывая его с сексуальным беспокойством, так как последнее уже включает их в себе. Но, связывая сексуальность с двойственностью тела, мы также не сводим ее к чему-то отличному от нее самой. Ибо для объективирующего мышления тело не является двойственным: оно становится таким только в опыте, который мы относительно него имеем, и в высшей степени — в сексуальном опыте, в факте сексуальности. Трактовать сексуальность как диалектику не означает сводить ее к процессу познания, а историю человека — к истории его сознания. Диалектика не есть отношение между противоречащими друг другу и взаимодополняющими идеями: она — направленность одного существования на другое существование, при этом первое отрицает второе, но и не может без него утвердить себя.

Метафизика — возникновение чего-либо сверх природы — не локализуется на уровне сознания; она начинается вместе с открытием “другого”, она повсюду, в том числе и в собственном развитии сексуальности. Верно, что мы, подобно Фрейдю, придаем более широкое толкование понятию сексуальности. Как можем мы, в таком случае, говорить о собственном развитии сексуальности? Как можем мы характеризовать как сексуальное содержание сознания? И в самом деле, мы этого не можем. Сексуальность скрывается от самой себя под маской всеобщности, она постоянно пытается избежать напряжения и драмы, которые сама же инициирует. Но что тогда дает нам право говорить, что сексуальность прячется от самой себя, как будто она — субъект нашей жизни? Не следует ли просто говорить, что она преодолевается и тонет в более общей драме существования? Здесь налицо два заблуждения. от которых следует освободиться: одно — в том, что за существованием не признают иного содержания, кроме содержания явленного, выраженного в четких образах, как это делают философы сознания; другое — в том, что это явленное содержание дублируют содержанием скрытым, но также выраженным в образах, как это делают психологи бессознательного. Сексуальность же не преодолевается в человеческой жизни и не фигурирует в ее средоточии в качестве образов бессознательного. Она постоянно присутствует в жизни как ее атмосфера. Мечтатель не начинает с того, что осознает скрытое содержание своей мечты, которое затем будет явлено во “вторичном рассказе” с помощью адекватных образов; он не начинает с того, что ясно видит гениталии в возбуждении генитального происхождения, чтобы затем перевести этот текст на язык иносказания. Но для мечтателя, который отрешился от языка реальности, генитальное возбуждение

или сексуальный импульс сразу и суть эти открыто явленные образы стены, по которой он карабкается, или фасада здания, на которое он совершает подъем. Сексуальность растворена в образах, которые сохранили от нее лишь некоторые типичные отношения, лишь определенный аффективный характер. Мужской половой член мечтателя *становится* змеей, которая фигурирует в явленном содержании. То, что мы только что сказали о мечтателе, истинно и в отношении той вечно дремлющей части нас самих, которая лежит под нашими представлениями, в отношении той индивидуальной дымки, сквозь которую мы воспринимаем мир. Тут есть неясные формы, предпочтительные связи, но отнюдь не “бессознательные”, а такие, о которых мы очень хорошо знаем, что они двусмысленны, что они имеют отношение к сексуальности, не выражая ее определенно. Из области телесной, где сексуальность преимущественно и пребывает, она распространяется как запах или звук. Мы находим здесь всеобщую функцию той же молча подразумеваемой транспозиции, которую мы уже открыли в теле, изучая телесные схемы. Когда я поднимаю руку по направлению к объекту, я имплицитно знаю, что моя рука растягивается. Когда я двигаю глазами, я учитываю их движение, не отдавая себе в этом отчета, и при этом я понимаю, что сдвиг визуального поля — лишь кажущийся. Также сексуальность: не будучи объектом ясного сознания, она может мотивировать предпочтительные формы моего опыта. Понимаемая таким образом — как амбивалентная атмосфера, сексуальность соотносима с жизнью. Иначе говоря, многозначность сущностна для человеческого существования, и все то, что мы переживаем и о чем размышляем, всегда имеет множество смыслов. Стиль жизни — позиция бегства или потребность одиночества — может быть обобщенным выражением некоторого сексуального состояния. Сделавшись, таким образом, самим существованием, сексуальность обретает столь общее значение, а сексуальная тема становится для субъекта поводом для стольких справедливых и самих по себе истинных наблюдений, стольких разумных решений, — словом, сексуальность так “нагружается” на своем пути, что уже невозможно искать в форме сексуальности объяснение формы существования. Остается признать, что само существование есть повторение и объяснение сексуальной ситуации и что, следовательно, оно всегда имеет по крайней мере двойной смысл. Существует взаимопроникновение между сексуальностью и существованием: иначе говоря, если существование растворено в сексуальности, то и сексуальность в свою очередь растворена в существовании, так что невозможно определить, какова в данном решении или действии доля сексуального мотива и доля других мотивов, невозможно характеризовать решение или действие как “сексуальное” или “несексуальное”. Итак, в человеческом существовании обнаруживается принцип неопределенности, и эта неопределенность существует не только для нас, она не вытекает из какого-то несовершенства нашего познания, не следует думать, что Бог смог бы прозондировать сердца и тела и разграничить то, что мы получаем от природы, и то, что к нам приходит от свободы.

Существование неопределенно само по себе, такова его фундаментальная структура, ведь оно есть действие, посредством которого то, что не имело смысла, обретает смысл, а то, что имело исключительно сексуальный смысл, обретает более общее значение; случайность становится причиной, так как существование преобразует факт в ситуацию. Это движение, посредством которого существование присваивает себе и преобразует факт в ситуацию, мы будем называть трансценденцией. Именно потому, что оно есть трансценденция, существование никогда ничего не преодолевает окончательно, ибо тогда исчезло бы присущее ему напряжение. Оно никогда не расстается с самим собой. То нечто, чем существование является, никогда не оказывается внешним и случайным в отношении к нему, поскольку существование вбирает это нечто в себя. Сексуальность, как и тело вообще, не должна, следовательно, рассматриваться как случайное содержание нашего опыта. Существование не имеет ни случайных свойств, ни содержания, которые не способствовали бы проявлению его формы, существование не допускает само по себе чистых фактов, поскольку оно есть движение, которое берет факты на свою ответственность. Можно было бы возразить, что организация нашего тела несущественна, что можно “представить человека без рук, ног, головы”¹, а еще с большим основанием — человека без пола, размножающегося черенками или побегам. Но это возражение имеет смысл только в том случае, когда руки, ноги, голову или половые органы рассматривают абстрактно, как куски материи, а не в их жизненных функциях, — когда создают о человеке столь же абстрактное понятие, в которое входит только *Cogitatio*. Если же, напротив, искать определение человека в его опыте, то есть в его собственном способе придавать форму миру, и если возвратить “органы” в ту целостную функцию, из которой они выделены, то человек без руки или половой системы станет так же не понятен, как и человек без мышления. Нам могут еще возразить, что наше предположение остается парадоксом, пока не превращается в тавтологию: мы ведь считаем, вкратце, что человек будет отличен от того, что он есть, и не будет, следовательно, человеком, если лишится одной из систем отношений, которыми он обладает в действительности. Но, добавит наш оппонент, вы ведь определяете человека как эмпирическое существо, таким, каков он есть на самом деле, и тем самым объединяете в сущностно-необходимом, в априорно-человеческом все те свойства, которые в человеке на самом деле были соединены только в результате встречи многочисленных причин и капризов природы. В действительности же мы вовсе не измышляем с помощью ретроспективных иллюзий ничего сущностно-необходимого, мы лишь констатируем связи существования. Поскольку все “функции” в человеке, от сексуальной до двигательной и мыслительной, строго взаимосвязаны,

1 Laforgue. L'Échec de Baudelaire, P.126

2 Pascal. Pensées et Opuscules (Ed. Brunschvicg), p. 486.

то невозможно различить в целостном бытии человека телесную организацию, которую якобы следует трактовать как несущественный факт, и другие свойства, которые принадлежали бы ему с необходимостью. Все необходимо в человеке, и, например, не простое совпадение — что разумное существо есть также существо, которое стоит на задних конечностях и имеет большой палец, противопоставленный другим пальцам; и здесь, и там проявляется один способ существования¹. Все случайно в человеке в том смысле, что человеческий способ существования не гарантирован каждому человеческому ребенку некоторой сущностью, которую он якобы получает при рождении и которая якобы должна постоянно возобновляться в нем вопреки случайностям объективно данного тела. Человек — историческая идея, а не естественный вид. Другими словами, в человеческом существе нет ничего безусловно данного и вместе с тем — никакого случайного свойства. Человеческое существование заставляет нас пересмотреть наше обычное понимание необходимости и случайности, поскольку оно есть переход случайности в необходимость посредством акта ее принятия. Все то, что мы есть, мы есть на основе ситуации факта, который мы присваиваем и непрерывно преобразуем посредством неких *выплескиваний* (*eschappement*), никогда не являющихся абсолютно свободными. Невозможно объяснить сексуальность, редуцируя ее к чему-то отличному от нее самой, ибо она уже стала иным, и если хотите, целым нашим бытием. Говорят, что сексуальность драматична, оттого что мы вовлечены в нее всей нашей личной жизнью. Но почему мы вовлекаемся в нее? Не потому ли наше тело является для нас зеркалом нашего бытия, что оно есть мое *естественное я*, поток данного мне существования, так что мы никогда не знаем, принадлежат ли силы, которые мы ощущаем в себе, нам или себе самим — а скорее всего, они никогда не принадлежат полностью ни себе, ни нам.

Не существует преодоленной сексуальности, как не существует
И СЕКСУАЛЬНОСТИ, ЗАМКНУТОЙ В САМОЙ СЕБЕ.

Перевод В.Копелевой в редакции А.Махова.

ПЕШКОВ. *ВОТ ТЕ НА! ПОХОЖЕ, МЕРЛО-ПОНТИ ПРОСТО ЛИШИЛ НАС НАШЕГО предмета. Сексуальность так растворена в существовании, что нам, как ни бейся, никак не выделить ее в чистом виде. Не слишком ли это общая мыслительная схема? Ведь точно так же можно утверждать, что и "религиозность" растворена в существовании, или же "эмоциональность", или любая другая "ость". Словом, в формулу можно подставлять любые значения.*

МАХОВ (*мечтательно напевая*). *А мне симпатичен меланхоличный француз. Не дано нам знать, где кончается, где начинается секс — и все тут. Он, как и Фрейд, выпускает секс из загона в широчайшее мотивационное поле, но у него есть одно приятное отличие: вера в обратимость мотиваций. У Фрейда все идет от секса, но не обратно; у Мерло-Понти — есть обратная связь. Грубо говоря: по Фрейду музыкант, играя на органе, мысленно мастурбирует; по Мерло-Понти, мастурбация может быть мысленной игрой на органе. Там — сублимация секса, здесь — секс как метафора музыки. Там — за музыкой тупо кроется секс, тут — возможно обратное: "любовь — мелодия". У Фрейда секс везде, у Мерло-Понти мы не знаем, где он.*

ПЕШКОВ. *А какое забавное расхождение с Бахтиным, что пойдет дальше! Бахтин разводит историю и биологизм: биологические учения, типа фрейдизма, лишают человека истории, которая, конечно же, социальна. А Мерло-Понти просто, как нечто само собой разумеющееся, отмечает: "Сексуальность есть то, что наделяет человека историей".*

МАХОВ. *Вот различие француза и русского! Для нашего-то либидо всегда одно, а для галла "мужчина и женщина" и "мужчина и женщина двадцать лет спустя" — две разные проблемы.*

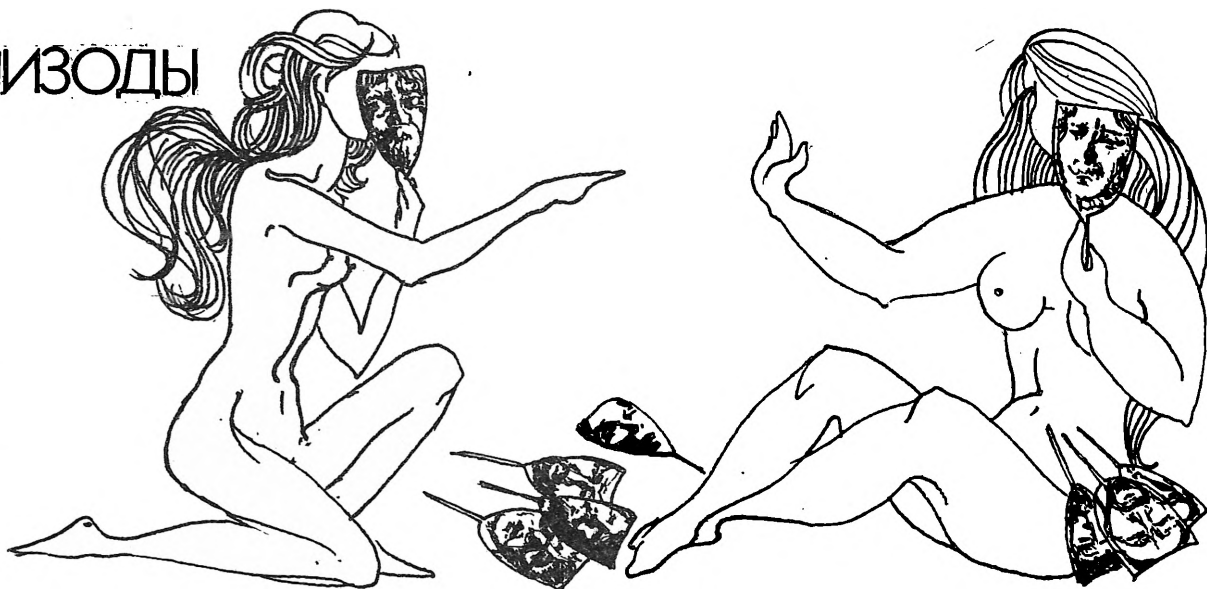
ПЕШКОВ. *Своевременное замечание: мы ведь выходим из Европейского содружества и приближаемся к русской границе, А ТАМ И КИТАЙ НЕ ЗА ГОРАМИ...*



1 Cf La structure du comportement, p. 160-161.

ЭПИЗОДЫ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ



В.Н.Волошинов

ОСНОВНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ФРЕЙДИЗМА

(из книги “Фрейдизм”)

1. Фрейдизм и современность. 2. Идеологический мотив фрейдизма. 3. Родственные мотивы современной философии.
4. Предварительная оценка фрейдизма.

1. В 1893 Г. ДВА ВЕНСКИХ ВРАЧА — ФРЕЙД и БРЕЙЕР — ВЫСТУПИЛИ НА СТРАНИ — цах специального психиатрического журнала с небольшой статьей,¹ названной ими “О психическом механизме истерических явлений” (предварительное сообщение) и посвященной новому методу лечения истерии с применением гипноза. Это “предварительное сообщение” и было тем зерном, из которого развился “психоанализ” — одно из наиболее популярных идеологических течений современной Европы.

Появившись на свет в качестве скромного психиатрического метода² со слабо развитой теоретической основой, психоанализ уже в течение первого десятилетия своего существования выработал собственную общепсихологическую теорию, по-новому освещающую все стороны душевной жизни человека. Затем началась работа по применению этой психологической теории к объяснению различных областей культурного творчества — искусства, религии и, наконец, явлений социальной и политической жизни. Таким образом, психоанализ разработал собственную философию культуры. Эти общепсихологические и философские построения психоанализа мало-помалу заслонили собой первоначальное, чисто психиатрическое ядро учения.³

Успех психоанализа в широких кругах европейской интеллигенции начался еще до войны, а в послевоенное время, особенно в самые последние годы, влияние его достигло необычайных размеров во всех странах Европы и в Америке. По широте этого влияния в буржуазных интеллигентских кругах психоанализ оставил далеко позади себя все современные ему идеологические течения; конкурировать с ним в этом отношении может разве только одна антропософия (штейнерианство). Даже такие модные течения интернационального масштаба, какими были в свое время бергсонизм и ницшеизм, никогда, даже в эпохи наибольшего своего успеха, не располагали таким громадным числом сторонников и “заинтересованных”, как фрейдизм.

Сравнительно медленный, а в начале (до десятых годов нашего века) и очень трудный путь, приведший психоанализ к “завоеванию Европы”, говорит о том, что это не скоропроходящая и поверхностная “мода дня”, в роде шпенглеризма, а более устойчивое и глубокое выражение каких-то существенных сторон европейской

буржуазной действительности. Поэтому всякий, желающий глубже понять духовное лицо современной Европы, не может пройти мимо психоанализа: он стал слишком характерной, неизгладимой чертой современности.

Чем же объясняется такой успех психоанализа? Что привлекает к нему европейского буржуа?

Конечно, не специально научная, психиатрическая сторона этого учения. Было бы наивно думать, что все эти массы горячих поклонников психоанализа пришли к нему, интересуясь специальными вопросами психиатрии и следя за специальными органами этой науки. Не на этом пути они встретились с фрейдизмом. В подавляющем большинстве случаев Фрейд был первым и последним психиатром, которого они прочли, а "Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse" — первым и единственным специальным психиатрическим журналом, который они раскрыли. Было бы наивно думать, что Фрейду удалось завоевать внимание широких кругов к специальным вопросам психиатрии. Конечно, и не практический интерес к успехам терапевтического метода привлекает к психоанализу. Нелепо было бы предположить, что все эти массы поклонников Фрейда — жаждущие исцеления пациенты психиатрических клиник. Несомненно, что Фрейд сумел задеть за живое современного буржуа не специально научной и не узко практической стороной своего учения.

Во всяком идеологическом течении, которое не остается достоянием узкого круга специалистов, а захватывает широкие и разнообразные читательские массы, не могущие, конечно, разобраться в специальных деталях и нюансах учения, — всегда может быть выделен один основной мотив, идеологическая доминанта всего построения, определяющая его успех и влияние. Этот основной мотив, убедительный и многоговорящий сам по себе, относительно независим от сложного аппарата своего научного обоснования, недоступного широкой публике. Поэтому его можно выделить в простой и грубой форме, не боясь быть несправедливым.

В настоящей вступительной главе мы, несколько предвосхищая наше дальнейшее изложение, ставим своей задачей выделить этот основной идеологический мотив фрейдизма и дать ему предварительную оценку.

При этом мы руководствуемся следующими соображениями.

Прежде чем вводить читателя в довольно сложный и временами увлекательный лабиринт психоаналитического учения, необходимо с самого начала дать ему твердую критическую ориентацию. Мы должны прежде всего показать нашему читателю, в каком философском контексте, т.е. в ряду каких других философских течений, владевших или еще владеющих умами европейской интеллигенции, он должен воспринимать психоанализ, чтобы получить верное представление об идеологической сущности и ценности этого учения.

Поэтому-то и необходимо выделить его основной идеологический мотив. Мы увидим, что этот мотив вовсе не является чем-то абсолютно новым и неожиданным, а вполне укладывается в основное русло всех идеологических устремлений буржуазной философии первой четверти XX века, являясь, быть может, наиболее ярким и смелым их выражением(...)

2. Каков же основной идеологический мотив фрейдизма?

Судьба человека, все содержание его жизни и творчества — следовательно: содержание его искусства, если он художник, его научных теорий, если он ученый, его политических программ и действий, если он политик — всецело определяется судьбами его полового влечения, и только ими одними. Все остальное — лишь обертоны основной, могущественной мелодии сексуальных влечений

Если же сознание человека говорит ему другое о мотивах и движущих силах его жизни и творчества, то оно лжет. Развитию основной темы все время сопутствует у Фрейда критика сознания.

Таким образом, существенно в человеке совсем не то, чем определяется его место и роль в истории — тот класс, та нация, та историческая эпоха, к которой он принадлежит, существенны только его пол и его возраст; все остальное — надстройка над этим. Сознание человека определяется не его историческим бытием, а — биологическим, главной стороной которого является сексуальность.

Таков основной идеологический мотив фрейдизма.

В своей общей форме он и не нов и не оригинален. Но оригинальной и новой является разработка его составных частей — понятий пола и возраста: здесь Фрейду действительно удалось обнаружить громадное богатство и разнообразие новых моментов и оттенков, до него научно совершенно не обследованных, вследствие чудовищного лицемерия официальной науки во всех вопросах, касающихся половой жизни человека. Фрейд настолько расширил и обогатил понятие сексуальности, что те обычные житейские представления, которые мы привыкли связывать с этим понятием, оказываются лишь маленьким уголком его необъятной теории. Это нужно помнить при оценке психоанализа: бросая ему, например, обычный упрек в "пансексуализме", не следует упускать из виду этого нового, чрезвычайно расширенного, смысла слова "сексуальный" у Фрейда.

Далее, много неожиданного обнаружил психоанализ и в вопросе о связи между сексуальностью и возрастом. История сексуального влечения человека начинается с момента его рождения, проходит через длинный ряд своеобразно окрашенных периодов развития и совсем не укладывается в наивную схему: невинный младенец — созревший юноша — невинный старец. Загадка возрастов человека, заданная сфинксом Эдипу, нашла у Фрейда неожиданное и своеобразное решение. Насколько оно сновательно — вопрос другой, мы им займемся позже. Здесь нам важно лишь отметить, что обе составные части основного идеологического мотива фрейдизма — пол и возраст — обновлены и обогащены новым содержанием. Поэтому старый сам по себе мотив зазвучал по-новому.

Мотив стар. Он постоянно повторяется во все те эпохи, в которых происходит смена творящих историю социальных групп и классов. Это — лейтмотив кризисов и упадка.

Когда тот или иной социальный класс находится в стадии разложения и принужден покинуть арену истории, его идеология начинает навязчиво повторять и на все лады варьировать тему: человек есть прежде всего животное, — и старается с точки зрения этого откровения переоценить все ценности мира и истории по-новому. Вторая часть знаменитой аристотелевской формулы (“человек — животное социальное”) при этом совершенно игнорируется.

Идеология таких эпох переносит центр тяжести в изолированный биологический организм, а три основных события его общеживотной жизни — рождение, coitus, смерть — начинают по своему идеологическому значению конкурировать с историческими событиями, становятся как бы суррогатом истории.

Не-социальное, не-историческое в человеке абстрактно выделяется и объявляется высшим мерилom и критерием всего социального и исторического. Кажется, словно люди этих эпох хотят уйти из ставшей для них неуютной и холодной атмосферы истории и укрыться в органическую теплоту животной стороны жизни.

Так было в эпоху упадка греческих государств, упадка Римской империи, в эпоху разложения феодально-дворянского строя перед Великой французской революцией.

Мотив всеилия и мудрости природы (и прежде всего природы в человеке — его биологических влечений) и бессилия праздной и ненужной суеты истории — одинаково звучит нам, пусть и с различными нюансами и в различных эмоциональных тонах, в таких явлениях, как эпикурейство, стоицизм, литература римского упадка (например, “Сатирикон” Петрония), скептическая мудрость французских аристократов конца XVII- XVIII века. Боязнь истории, переоценка благ частной, личной жизни, примат в человеке биологического и сексуального — таковы общие черты всех этих идеологических явлений.

3. И вот, с самого конца XIX века в европейской идеологии снова отчетливо зазвучали родственные мотивы. Абстрактный биологический организм опять стал главным героем буржуазной философии XX века.

Философия “чистого познания” (Кант), творческого “я” (Фихте), “идеи абсолютного духа” (Гегель) — эта достаточно энергичная и по-своему трезвая философия героической эпохи буржуазии (конец XVIII, первая половина XIX века) — была еще полна исторического и буржуазно-организаторского пафоса. Во второй половине века она все больше и больше мельчала и застывала в мертвенных и неподвижных схемах школьной философии эпигонов (неокантианцев, неогегельянцев, неофихтеанцев) и, наконец, в наше время сменяется пассивной и дряблой философией жизни, биологически и психологически окрашенной, спрягающей на все лады и со всеми возможными префиксами и суффиксами глаголы “жить”, “переживать”, “изживать”, “вживаться” и т.п.⁶

Биологические термины различных органических процессов буквально наводнили мировоззрение: ко всему старались подыскать биологическую метафору, приятно оживляющую предмет, застывший в холоде кантианского чистого познания.

Каковы основные черты этой современной нам философии?

Всех, столь разнородных и во многих отношениях несогласных между собой мыслителей современности, какими являются: Бергсон, Зиммель, Гомперц, прагматисты, Шелер, Дриш, Шпенглер, — в основном все же объединяют три мотива:

1) *в центре философского построения находится биологически понятая жизнь.* Изолированное органическое единство объявляется высшей ценностью и критерием философии;

2) *недоверие к сознанию.* Попытка свести к минимуму его роль в культурном творчестве. Отсюда критика кантианства, как философии сознания;

3) *попытка заменить все объективные социально-экономические категории субъективно-психологическими или биологическими.* Стремление понять историю и культуру непосредственно из природы, минуя экономику.

Так, Бергсон, до сих пор остающийся одним из наиболее популярных европейских философов, в центре всего философского построения ставит понятие единого жизненного порыва (elan vital), пытаясь вывести из него все формы культурного творчества. Высшие формы познания (именно философское интуитивное познание) и художественное творчество родственны инстинкту, наиболее полно выражающему единство жизненного потока. К интеллекту, создающему положительные науки, Бергсон относится с пренебрежением, но и его формы он выводит непосредственно из биологической структуры организма.

Недавно скончавшийся Георг Зиммель — кантианец в своих первых работах — в XX веке стал одним из наиболее ярких выразителей модных биологических тенденций. Замкнутое органическое единство индивидуальной жизни является для него высшим критерием всех культурных ценностей. Только то, что может приобщиться к этому самодовлеющему единству, получает смысл и значение. В одной из своих работ — “Индивидуальный закон” — Зиммель старается понять этический закон как закон индивидуального развития личности. Полемизируя с Кантом, который требовал для этического закона формы в с о б щ н о с т и (категорический императив), Зиммель и развивает свое понятие индивидуального этического закона, который должен регулировать не отношения людей в обществе, а отношение сил и влечений внутри замкнутого и самодовлеющего организма.

Еще более грубые формы биологический уклон в философии принимает у прагматистов, сторонников недавно умершего американского психолога Джемса, отца прагматического направления, — пытающихся свести все виды культурного творчества к биологическим процессам приспособления, целесообразности и пр.

Своеобразную близость к фрейдизму обнаруживает незаконченная система компатриота Фрейда — венского философа Генриха Гомперца — “панэмпиризма”. Гомперц пытается все категории мышления — причинности, предмета и др. — свести к чувствам, к эмоциональным реакциям человеческого организма на мир, не без влияния венского сексуолога Отто Вейнингера.¹⁰

Те же мотивы, но в более осложненной форме, мы найдем и у самого влиятельного немецкого философа наших дней — главного представителя феноменологического направления, Макса Шелера. Борьба с психологизмом, борьба с примитивным биологизмом, проповедь объективизма связывается у Шелера с глубоким недоверием к сознанию и его формам, с предпочтением интуитивных способов познания. Все положительные эмпирические науки Шелер, примыкая в этом к Бергсону, выводит из форм приспособления биологического организма к миру.¹¹

Стремление подчинить философию задачам и методам частной науки — биологии — наиболее последовательно выражено в философских работах Ганса Дриша, известного биолога-неовиталиста, одного из основателей экспериментальной морфологии, ныне занявшего кафедру философии. Основное понятие его системы — “энтелехия” (термин Аристотеля, в дословном переводе с греческого значит: “имеющее в себе цель”). Энтелехия — это как бы квинтэссенция органического единства и целесообразности. Она руководит всеми проявлениями организма, как его низшими биологическими функциями, так и его высшей культурной деятельностью.¹²

Наконец, упомянем еще о напумевшей, но уже почти забытой попытке Шпенглера применить биологические категории к пониманию исторического процесса.¹³

Мы видим, таким образом, что основной идеологический мотив фрейдизма отнюдь не одинок. Он звучит в унисон со всеми основными мотивами современной буржуазной философии. *Своеобразный страх перед историей, стремление найти мир по ту сторону всего исторического и социального, поиски этого мира именно в глубинах органического — проникают собой все построения современной философии, являясь симптомами разложения и упадка буржуазного мира.*

“Сексуальное” Фрейда является крайним полюсом модного биологизма, собирая и сгущая в одном сжатом и пряном образе все отдельные моменты современного антиисторизма.

4. Как же мы должны отнестись к основной теме современной философии? Основательна ли попытка непосредственного выведения всего культурного творчества из биологических корней человеческого организма?

Отвлеченной биологической личности, того биологического индивидуума, который стал альфой и омегой современной идеологии, вообще не существует. Человека вне общества и, следовательно, вне объективных социально-экономических условий, не бывает. Это — дурная абстракция. Только как часть социального целого, в классе и через класс, становится человеческая личность исторически реальной и культурно продуктивной. Чтобы войти в историю, мало родиться физически — так рождается животное, но оно в историю не входит. Нужно как бы второе, с о ц и а л ь н о е, рождение. Человек рождается не как абстрактный биологический организм, а как помещик или крестьянин, как буржуа или пролетарий, — это главное. Далее, он рождается или как русский, или как француз, и, наконец, рождается в 1800 или 1900 г. Только эта социальная и историческая локализация человека делает его реальным и определяет содержание его жизненного и культурного творчества. Все попытки миновать это второе, социальное, рождение и все вывести из биологических предпосылок существования организма — безнадежны и заранее обречены на неудачу: ни один поступок цельного человека, ни одно конкретное биологическое образование (мысль, художественный образ, даже содержание сновидения) не могут быть объяснены и поняты без привлечения социально-экономических условий. Более того, даже специальные вопросы биологии не найдут исчерпывающего разрешения без полного учета социального места изучаемого человеческого организма.

Ведь “сущность человека — это вовсе не абстракт, свойственный отдельному лицу.

В СВОЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭТО ЕСТЬ СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ...”¹⁴

Примечания

¹ Эта статья вошла в книгу: Dr. Breuer und Dr. Freud, “Studien über Hysterie”. 1. Auflage 1895 (четвертое издание в 1922 г.)

² Предложенный Фрейдом и Брейером метод лечения истории должен был послужить только дополнением других практиковавшихся в медицине методов.

С нашим утверждением согласятся не все психоаналитики, но тем не менее оно верно. Две последних книги Фрейда: “Jenseits der Lustprinzip” 1920 г. и “Das Ich und das Es” 1923 г. — носят чисто философский характер. На последнем всемирном съезде психоаналитиков

в 1922 г. многими участниками съезда были высказаны опасения, что спекулятивная (умозрительная) сторона психоанализа совершенно заслоняла его первоначальное терапевтическое назначение. Об этом см. Dr.S.Ferenczi und Dr.O.Rank, "Entwicklungsziele der Psychoanalyse", 1924.

⁴ О широте движения фрейдизма можно судить по тому, что в настоящее время существует целая интернациональная организация фрейдистов. В 1924 г. состоялся восьмой конгресс фрейдистов, на котором присутствовали представители местных групп, — из Вены, Будапешта, Берлина, Голландии, Цюриха, Лондона, Нью-Йорка, Калькутты и Москвы. Существует ряд периодических изданий по психоанализу и специальное "Интернациональное психоаналитическое издательство в Будапеште". В 1920 г. в Берлине открыта первая психоаналитическая клиника для нервнобольных. — Прим.ред. (Не наше. — П. и М.)

⁵ Автор подчеркивает только основной мотив фрейдизма. Из дальнейшего изложения (гл. III) читатель убедится, что учение о наличии бессознательных душевных процессов, о "сопротивлении и вытеснении" являются такими же неотъемлемыми элементами фрейдизма (см. ст. Фрейда в Handwörterbuch der sexualwissenschaften 1926, стр. 614). — Прим.ред. (Не наше. — П. и М.)

⁶ См. Г.Риккерт, "Философия жизни" (Academia, 1922 г.). В книге довольно много осведомительного материала, но точка зрения автора — идеалиста-неокантианца — непримлема.

⁷ Важнейший философский труд Бергсона — "Творческая эволюция", русский перевод, М., 1909.

⁸ См. Зиммель, "Индивидуальный закон" ("Логос" 1914 г.). Эта работа в качестве одной главы вошла в последнюю книгу Зиммеля "Lebensanschauung" (1909 г.). О Зиммеле: небольшая статейка с марксистским подходом проф. Светловского, приложенная к книжке Зиммеля, "Конфликты современной культуры" (Пгр. "Начатки Знаний", 1923 г.).

⁹ См. философскую книгу Джемса, "Прагматизм" (русский перевод изд. "Шиповник"), являющуюся основным трудом этого направления.

¹⁰ Основной труд Гомперца: "Anschauungslehre". Есть русский перевод: "Учение о мировоззрении" изд. "Шиповник". О влиянии на него Вейнингера см. "Учение о мировоззрении", стр. 172-175.

¹¹ Из трудов М.Шелера называем: "Phänomenologie und Theorie der Sympathiegeföhle, Halle 1913 г.; "Vom Ewigen im Menschen" 1920 г. Русских работ о Шелере нет, за исключением статьи Баммеля: "Макс Шелер, католицизм и рабочее движение" ("Под знам. марксизма", 7-8, 1926). Шелеру мы посвящаем особую главу в подготовляемой нами к печати книге "Философская мысль современного Запада". В первой из названных книг Шелер уделяет ряд страниц анализу и оценке фрейдизма.

¹² Основной труд Дриша: "Philosophie des Organischen" V.1-2. 1909 г. Есть новое значительно измененное однотомное издание 1921 г., "Ordnungslehre" (1926) и "Wirklichkeitslehre" (1924). На русском языке имеется книга Дриша "Витализм, его история и система" (М., 1915 г.). Из русских работ о нем см. И.И. Канаев, "Современный неовитализм", журн. "Человек и Природа", NN 1-2. 1926. (Леноттиз).

¹³ Его книга "Untergang des Abendlandes", V. 1-2. В русском переводе имеется первая часть первого тома: "Причинность и судьба" (Academia, 1924). Марксистская критика Шпенглера: Деборин, "Философия и марксизм" (сб. статей), статья "Гибель Европы или торжество империализма" (ГИЗ, 1926 г.).

¹⁴ К.Маркс. Из шестого тезиса о Фейербахе. См. Фр. Энгельс, "Людвиг Фейербах"; перевод Г.В. Плеханова. Изд. "Красная Новь", М., 1923, стр. 89.

ПЕШКОВ. НУ, ВОТ, ВИДИШЬ:

хоть ты и не любишь про Бахтина,

но он и тут — первый. Твой француз когда только начал Фрейда критиковать, а Бахтин ибн Волошинов уже в 1927 году, в разгар фрейдистской доминанты российской сексреволюции этот самый фрейдизм по кирпичикам разнес...

МАХОВ. *Но не будем забывать, с каких позиций.*

ПЕШКОВ. *Не думаю, что с марксистских. Да и были ли эти позиции как таковые в то время. Марксизм давно (я боюсь, не со времени ли его основания — ведь друзья начали "Манифестом", а не "Капиталом") выродился в миф-знамя в руках вождя. Но и наоборот, кто взял знамя, тот и вождь — отсюда постоянная междуусобная псевдотеоретическая возня — кульминация риторики познания: когда люди вчистую, без религиозных усложнений, борются за значок владельца абсолютной научной теории; при этом в ход идут классические общие места риторики.*

МАХОВ. *Вопрос не просто в том, надел ли Бахтин маску "Волошинов", это элементарная клоунада или, если хочешь, античная трагедия, что не так уж далеко друг от друга, вопрос в том, надел ли Бахтин маску марксизма.*

ПЕШКОВ. *Судя по публикуемому нами тексту, надел и даже очень...*

МАХОВ. *Возможно, Волошинов одел его в эту маску.*

ПЕШКОВ. *Вряд ли. Волошинов в крайнем случае мог одеть текст в некий ритуальный промарксистский костюм, что он наверное и сделал, но стиль — это лицо, лицо красным флажком не прикроешь, тут нужна маска.*

МАХОВ. *Причем натуралистическая. Включается имитационная игра. Бахтин решал свои теоретические задачи: теоретически уничтожал и фрейдизм и, может быть, в большей степени — сам марксизм. Наверное, он думал, что кто-то еще серьезно интересуется теорией. Мол, подмочу-ка я теоретическое ядро большевиков, они и пошатнутся на зыбкой почве.*

ПЕШКОВ. *Каким же боком он марксистскую теорию рушит? Это не очевидно.*

МАХОВ. *Не очевидно, конечно, а то б и работа не вышла. Кстати, вот судьба: 66 лет книга у нас не переиздавалась, шесть лет при гласности, два года при свободе слова. Не хотят слышать двуголосое маскировочное слово самого Бахтина. Мессию диалога привычно видеть проповедующим, привычно слышать его прямое монологическое слово вне риторического жанра. То черновики, то отрывки, то диссертация.*

ПЕШКОВ. *А что, диссертация — не жанр?*

МАХОВ. *Интимный жанр сублимации внутреннего монолога, чуть прикрытого формальной структурой. А "Фрейдизм" — это слово в идеологической борьбе. Посмотри, как близки "основной идеологический*

мотив” фрейдизма и, если его прояснить, основной идеологический мотив марксизма. Маркс заявил, что прежде всего человеку нужно есть, одеваться, иметь жилище, то есть есть и иметь, а не иметь или быть: в деле все те же биологические сюжеты, которые критикует Бахтин как буржуазные и лишь один из которых — фрейдистский.

ПЕШКОВ. Но идеологическая игра Бахтина оказалась исторически проигранной — не потому ли Бахтин так не любил вспоминать эти свои демарши под маской, вообще не раз отрекся от них: мотивы биологического выживания человека меньше всего были нужны Сталину накануне тридцатых, нужно было готовиться к плановому голоду и сублимации сексуальной энергии в военную. “Фрейдизм” теоретически перегоняет людей в классово-историческое стойло со свободного сексуального пастбища.

МАХОВ. Наверное поэтому промарксистски замаскированный Бахтин и никому не в масть сегодня. Никто здесь не брал на себя ответственность показать такого Бахтина, все как бы стеснялись.

ПЕШКОВ. Только мы не постеснялись.

МАХОВ. Потому что игра серьезнее жизни. Жизнь легкомысленно радикальна, а игра может быть серьезной и ответственной. Тогда ее именуют поступком. Ведь можно посмотреть на это дело и так: Бахтин предупредил об антибиологической, а значит об античеловеческой сущности марксизма. Марксизм-то соблазнил Россию хлебом, миром и жизнью, а вот смотрите теперь — теоретически вычитывается — отберут и хлеб, и жизнь, и мир.

ПЕШКОВ. Очень сложно зашифрованное предупреждение.

МАХОВ. А что, была простая альтернатива? Не было ее. И: 26-й — 27-й годы. С НЭПом уже все ясно. И Бахтин смело вступает в политическую игру, попутно решая свои чисто научные задачи.

ПЕШКОВ. М-да, сложная игра.

МАХОВ. Сложная, да не ложная.

ПЕШКОВ. Это каламбур?

МАХОВ. Не все тебе... Бахтин сыграл точно, стилистически безупречно показал, как под марксистской маской можно писать настоящую гуманитарную науку. Его маска — прародитель классического эзопова языка гуманитариев “эпохи застоя”.

ПЕШКОВ. Кстати, Бахтин так хорошо замаскировался, что на Западе, по заверению Махлина, его до сих пор марксистом величают.

МАХОВ. Я ж говорил, там игры проще!

ПЕШКОВ. А вот, поскольку мы как раз доиронизировали

(в первичном древнегреческом значении этого слова) до статьи Виталия Львовича, теперь и посмотрим, что там у них за ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ С БАХТИНЫМ.



В. Л. Махлин

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Мистер Мартин: Как это странно, удивительно, непостижимо! Так, значит, мадам, мы живем в одной комнате и спим в одной постели. Может быть там-то мы и встречались?

Миссис Мартин: Как удивительно и какое совпадение! Вполне возможно, мы там и встречались, и, возможно, даже вчера ночью. Но я ничего не помню, мсье!

Э.Ионеско. "Лысая певица"

МЫ ЖИВЕМ В ТАКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ВРЕМЯ САМО, КАК В НАЧАЛЕ XX В., КАК БЫ вышло из берегов хронологии: то, что на языке политики было первоначально названо "перестройкой", в самой жизни обернулось новым тектоническим извержением нашего исторического прошлого — не разрешенного, не "выжитого", по слову Достоевского, прошлого, отомстившего, по существу, всем, кого разумный Разумихин в "Преступлении и наказании" называет "тупицами прогрессивными". Наивно думать, что переживаемое нами сейчас радикальное переворачивание "вечных" смыслов при изменении исторического контекста — Мих.Бахтин называет такой "серьезно-смеховой" тектонический сдвиг истории "карнавализацией сознания"¹ — касается и затрагивает только нас, только Россию. Вернее, пожалуй, сказать так: нас, как всегда, общий ход вещей затрагивает жестче и, если угодно, "веселее", чем Запад, потому что, пытаясь быть "западниками" или "славянофилами", мы почти всегда пребывали — и пребываем — в каком-то неравном браке, не в состоянии сделаться ни самими собою, ни Другим. А между тем наша любовь-ненависть к Другому не всегда оставалась без взаимности и без последствий.

Клайв Льюис удивительно описал "расторжение брака" между жизнью вечной и жизнью земной в душе современных людей. Нас будет занимать "расторжение брака" в существенно ином смысле: метафорически выражаясь, не по вертикали, а по горизонтали, и не в трагически безысходном, а в продуктивном "серьезно-смеховом" аспекте, в знакомо-чуждом аспекте того, что С.С.Аверинцев назвал однажды "западно-славянским судовоговорением"², притом не в российской только, а в обоюдной, "брачной" и не в теоретической "духовной" только, а в практической "постельной" социально-исторической тематизации и конфигурации. Нужно увидеть свое в другом, а другое в якобы своем, чтобы расторгнуть старый и ложный, рабский брак с Западом, неотделимый от "русской идеологии", описанной уже в "Вехах". Но не ради ненависти, а ради любви, ради воскресения и оправдания прошлого в возможности, поняв его, осмеяв его — западно-русского Дон-Кихота всех времен и народов — "умереть и возродиться", "родиться новым, лучшим и большим"³.

А потому стоит начать с Ивана Шопенгауэра, посвятив ему тему "расторжения брака" в целом. Знаете ли вы Ивана Шопенгауэра? Нет, вы не знаете Ивана Шопенгауэра... А если знаете, то — признаете ли его? Не как фатальное вечное возвращение того же самого признаете, а как обновленную возможность "лучшего и большего", т.е. в свете абсолютного будущего?..

Историю солдата Ивана Асленкова, попавшего в плен к немцам в первую мировую войну и выхоженного там, в немецком госпитале, сестрою милосердия фрейлайн Шопенгауэр, поразившей воображение русского мужика полной и обескураживающей бюргерски-культурной трансцендентностью своей, — историю эту сохранил для нас Мих.Пришвин в "Журавлиной родине". Вернувшись в родную деревню, Асленков сменил фамилию в знак протеста против всего строя жизни, частью которого был он сам и не желал больше быть. Так родился "Иван Шопенгауэр" — русский человек в споре с собою же, не только и не просто "униженный и оскорбленный", но, главное, осознавший себя униженным и оскорбленным своим же отечеством и не пожелавший остаться в традиции, решившийся быть другим в свете радикального другого.

"Всему наследственному жульничеству Асленковых, — говорит М.Пришвин, — ему, естественно, захотелось противопоставить самое возвышенное, самое прекрасное, что только приходилось в жизни встречать, сестру милосердия фрейлайн Луизу Шопенгауэр"⁴.

Расторжение брака во имя любви и новой жизни — вот тема. В такое время, как наше — время тотального идеологического оборотничества, т.е., собственно, метаидеологического "перехода" (слово Достоевского) одних крайностей в другие, время подстановок и реституций прежних идеологем и мифологем в формах "актуального" настоящего, — особенно важно, но и особенно трудно уметь видеть и понимать человечески, слишком человечески для идеологизированного сознания, мотивы и интенции. Тему Ивана Шопенгауэра мне хотелось бы услышать, однако, не только с одного, но и (снова по Достоевскому) "с другого конца", в ее, темы, контрапунктической, полифонической дружости. В наших представлениях о самих себе как социокультурной

общности всегда присутствует образ Запада — манящий, пугающий, обогащающий, отвращающий, мучительный, “амбивалентный” образ Другого. Но ведь и мы для Запада — вот что удивительно или не удивительно — были и есть тоже некоторый Другой. Особенно интересны и, так сказать, актуальны случаи, когда “самым прекрасным, что только приходилось встречать в жизни”, — как для Ивана Асленкова фрейлайн Луиза Шопенгауэр, — для западных людей оказывались мы, граждане первого в мире социалистического государства. Иван Шопенгауэр “у них” — ценное дополнение и пояснение явления, каким мы знаем его “у нас”, в особенности в советские годы.

Любовь неотделима от образа Другого, которому мы никогда не соответствуем до конца. Этот образ сами отчасти и порождаем в сознании любящего, того, кто знает и верит: “самое прекрасное, что только приходилось встречать в жизни”, впереди. И вот таким обнадеживающим Другим для западной интеллигенции очень долго, на протяжении почти всего XX века, была Россия и Советский Союз. Иван Шопенгауэр в современном или даже “постсовременном” варианте на Западе — это, собственно, мечта гнилого буржуазного интеллигента и властителя прогрессивных дум об освобождении от ужасных пороков капиталистической эксплуатации, а еще точнее — от того самого, что отвращало от Запада не одних только Герцена и Достоевского: от мещанства и “бездуховности”... Где-то здесь, мне кажется, не то чтобы тайна, а своего рода “заговор молчания”, так сказать, постельный секрет любви-ненависти между “нами” и “ими”. Обе стороны не соответствовали своему образу для другого, и обе корыстно нуждались в таком бескорыстном образе.

Философ Лев Шестов в своих воспоминаниях о русской революции приводит замечательный факт: когда рухнуло самодержавие, то на обломках самовластья в чаянии новой, свободной России, ораторы всех группировок и партий были солидарны в одном — мы пойдем другим, не западным, а своим путем. И это та именно “русская” точка зрения, одержимая Западом в самой ненависти к нему, которая и сегодня еще брачно венчает самых крайних наших “правых” с самыми крайними западными “левыми”. А тогда, на рубеже XX века и позднее, эта “русская” точка зрения больше всего разделялась нищепоевствующими и марксистствующими западными интеллигентами, наиболее циничными и нигилистичными вроде Шпенглера (“пораженца рода человеческого”, как называл его Томас Манн) с его провокациями, подстегивающими фашизацию культуры, или Георга Лукача, этого основоположника современного западного марксизма, переосмыслившего мессианизм Достоевского и “русскую идею” в направлении “большевизации философии” и приоритета “классового сознания” в истории: этот сын еврейского банкира, возненавидевший во всех банкирах мира красный цветок зла, был, конечно, не лучше, но ведь и не хуже нашего друга Ивана Шопенгауэра: для обоих клич “Отречемся от старого мира...” не был только иллюзией, простой ошибкой или, тем меньше, злой волей, как хочется думать их внукам, “отвернувшимся в тоске”, а по слову А.Ахматовой, и имитирующим позицию “судей окончательных” (опять Достоевский!).

Никогда, кажется, не было в моем поколении столько молчания, столько смертной тоски, как сейчас, в этой вакханалии трепа и бесплодных, безлюбовных усилий “тупиц прогрессивных”, подготавливающих в очередной раз свое собственное “снятие” по Гегелю и не по Гегелю. Первый фильм Киры Муратовой “Короткие встречи” узнаваем: это наше, нашего века шестидесятничество; узнаваем и ее второй фильм “Долгие проводы”: это — семидесятые, начало застоя, это еще “мы”. И все: третьего узнаваемого, “нашего” фильма Кира Муратова не сделала, и никто не сделал; расторжение брака с трансцендентальной совковостью обернулось потерей всякой трансценденции — “кина не будет!”

И вот почему Иван Шопенгауэр — трансцендентальная совковость с обоих концов, нашего и западного — требует с нашей стороны неторопливого, нежного, “родственного внимания”, по выражению М.Пришвина, потому что только от такого чувства — любви в широком и подлинном смысле — загорается новая жизнь и заключаются настоящие браки на небесах; хотя бы даже предметом нашего, воистину родственного внимания и были бы, как в данном случае, настоящие, “комплиментарные идиоты”... Ведь хороший, веселый, карнавалыный смех, учит Бахтин, это смех и над самим собой, т.е. освобождение, преодоление себя — прошлого, “отпавшего в бытие”, по принципу “Ну и дурак же я!..” Расторгнуть бессознательный брак в абсурдистской пьесе века значит вернуть память мистери и миссис Мартин...

Э. Бентли в своей книге “Жизнь драмы” высказывает такую мысль: то самое, что сделало Бертольда Брехта “первым в истории большим драматургом, вооруженным правильным пониманием прошлого”, — теорией научного коммунизма, — может оказаться фатальным в смысле “обратного предположения”, которое, по словам Э.Бентли, любил высказывать и сам Брехт. “Как-то раз он сказал, что в случае, если советский коммунизм не одержит всемирно-исторической победы, у его произведений не будет будущего (...). Так что если он (коммунизм) не восторжествует он окажется лжеучением, а для его правоверных последователей это будет означать крушение всего, в том числе, конечно, и творческих установок Брехта”.

Какое счастье, что человек смертен, какая удача! Эти слова невольно приходят на ум, когда подумаешь не только о таких общественных деятелях, как Сталин, “бессмертных”, к счастью, только в памяти народной, но и о тысячах таких, как Брехт и о десятках тысячах правоверных последователей его и других. История пришла к тому, что можно заново оправдать смерть как раз на той прогрессивной стадии мирового духа, когда для смерти вообще уже не находится логического места в борьбе за лучшее будущее или, на худой конец, за “выживание”. Ибо не может реальный человек выдержать “крушение всего, в том числе...”, хотя в нашем XX веке это тоже помимо всего прочего выпадало и выпадает на его долю. Прежние поколения еще жили в “свое” время; нам

приходится родиться в одно, образовываться в другое, а жить в третье и четвертое времена: вот, может быть, и разгадка этого гнетущего молчания конца века, расторжение брака и по вертикали, и по горизонтали, состоявшееся и не состоявшееся.

“Ортодоксальные последователи” — и у нас, и на Западе — успели перестроиться; такая “перестройка”, собственно, и есть так называемый “постмодерн”. “Левые” сегодня уже не за коммунизм, а за “демократию” и полное освобождение человечества от “слишком человеческих” элементов в нем: старый марксо-фрейд-ницшеански-формалистический комплекс у постсовременных “тупиц прогрессивных” выступает уже, как выражается Иван Карамазов о своем двойнике — черте, “с другою рожей”, — бракосочетание не расторгнуто. А между тем любви-то и нет уже: вот откуда это, по словам Бахтина, “человекоборчество”, этот *ressentiment* постмодернизма, более или менее переносимый, амортизуемый на цивилизованном Западе, а на нас обрушивающийся сейчас под знаменем Фуко и Деррида, как альтернатива русской “духовности”, подобно тому, как прежде этой альтернативой выступал исторический материализм, да еще перенесенный — как же иначе? — в родные края с глумливой злобой рабского сознания, желающего отомстить за свое происхождение. Кто сумеет отделить во всех случаях Ивана Шопенгауэра от Смердякова, Ивана Карамазова, от черта в нас же самих?

Вот в каком смысле встает сегодня вопрос о “расторжении брака”. Когда тотальное, однозначное понимание (точнее, непонимание) Другого и отрицание его внутренне связаны с невозможностью на самом деле стать другим по отношению к отрицаемому. Это значит: я только воображаю себя другим, так сказать, рвущим ненавидимые цепи (“долго в цепях нас держали” — ведь держали же...), а в действительности я — такой же, только “с другой рожей”, все равно “лакей” (как говорит в “Бесах” Шатов — говорит и о себе, в отличие от сегодняшних Шатовых-идеологов). А по-современному это — “совок” в самом догматически-обльжном отрицании совковости. В отрицании своего же Двойника.

Одним из великих Иванов Шопенгауэров Запада был, конечно, один из самых inferнальных в своей прогрессивной расхристанности писатель и философ, временами большой друг Советского Союза Жан-Поль Сартр. Всякий, кто читал его поэтический роман “Тошнота” и еще более гуманистический и inferнальный философский трактат “Бытие и ничто” (сыгравший — сегодня это трудно представить — прогрессивную роль в борьбе с фашизмом), должен все же признать, что цензура первого в мире социалистического государства не совсем напрасно и не только по глупости удерживала нас, строителей нового мира, от знакомства с этими и подобными произведениями, сочинявшимися — признаем правоту некоторых “официальных” оценок — как раз прогрессивными и явно декадентскими деятелями западной культуры. Такие вот и были особенно верными друзьями нашей страны, разумеется, оставаясь, согласно знаменитому выражению Макса Вебера, в “железной клетке” загнивающего буржуазного общества.

Я говорю о браке с нечистой совестью, который был, с одной стороны, достаточно духовным, чтобы кой-чего не видеть, не замечать, не помнить, а с другой — достаточно “постельным” (это здесь мягко сказано, почти эвфемизм). Вы заметили, что с особой ненавистью о прогрессивных друзьях Советского Союза высказываются у нас теперь как раз те неофициальные друзья официальной народности известного патриотического оттенка, которые со своей стороны участвовали в браке духовно и постельно? Ну, а наши Иваны Шопенгауэры, как и полагается “оппонентам”, “идеологам”, как раз в таких, как Сартр, до сих пор еще склонны видеть, прости господи, “самое прекрасное, что только приходилось в жизни встречать”, и это, представьте, из любви к свободе! Понятно ли теперь, о каком тайном жидо-масонском браке-заговоре идет речь? О нем не расскажут ни несчастному советскому человеку, ни гнилому буржуазному интеллигенту идеологи прогрессивной радиостанции “Свобода”, не говоря уже о постсовременных нео-Шариковых, бессознательно знающих в своей ненависти к “инородцам”, из какой идеологической спермы они сами сделаны... Мистер и миссис Мартин не могут по-настоящему ни разойтись, ни сойтись снова, так сказать, ни кончить, ни начать: абсурд и клиника в том, что потеряна память; как бы потеряна, потому что освобождение от прошлого и одержимость Двойником прошлого и составляет, как мне кажется, специфическую атмосферу времени-на-глубине, еще в конце 70-х годов названную Лиотаром “ситуацией постмодернизма”. Вот и вспомним кое-что.

Как известно, наш старый друг Сартр проблематизировал роль Другого в философии XX века с тем особым радикализмом “шоковой терапии”, который больше всего отвечал революционным инстинктам трансцендентальной совковости и на Западе, и у нас, и на официальном, и на неофициальном уровне. Ведь чем ярче изображается прогрессивным западным художником, “вопреки”, а то и “благодаря” собственной упаднической идеологии безысходность буржуазного индивидуализма, тем ближе мы к экзистенциально-совковому эсхатологизму, выплеснувшись, как отмечал, мы помним, Л.Шестов, в 1917-м году: наш путь — не ваш путь: вы — “часть гроба”, мы — будущее человечества. Поэтому нас не должен удивлять тот факт, что изображенное у Сартра отождествление Другого с собственным Я, только отрицаемым, экзистенциальное взаимообуение человечества, символом которого стало знаменитое; “Ад — это другие” (“L'enfer, c'est les autres”) — в общественно-политическом измерении знаменитого экзистенциалиста компенсировалось тем более упорным, неотвязным и трогательным образом другого Другого, так сказать, ино-сартровского Другого, каковым для него тоже, как и для такого же буржуазного сынка и “семейного идиота”, Брехта, была наша страна — надежда трудящихся всего мира. В особенности, как теперь выясняется, надежда вырожденцев из состоятельных буржуазных семей.

В 1939-м году Ж.-П. Сартр опубликовал рецензию на роман Набокова “Отчаяние”⁶: за вычетом неискоренимой

буржуазной пристойности этот прогрессивный документ можно было тогда же воспроизвести у нас в любом печатном органе, не исключая газеты “Правда”, под таким, к примеру, заголовком: “Прогрессивный западный писатель об агонии эмигрантского отребья”. Для идеологов сегодня это не актуально: тупицам прогрессивным и перестроившимся хочется думать, что тот же В. Набоков и вообще, метафорически выражаясь, “распад атома” — лучшая альтернатива тоталитаризму и классической литературе, а равно и необходимая прививка демократичности; Сартр в этой новой конstellляции оказывается тем же Набоковым. Вот почему особенно интересно, что же думал автор “Тошноты” об авторе “Отчаяния” в звездный час прогрессивной западной интеллигенции, в эпоху “красных тридцатых”.

В рецензии Ж.-П. Сартра на роман русского собрата по перу примечательно, как кажется, вот что: Сартр пишет о Набокове так, как если бы это была рецензия его на собственный, за год до того опубликованный, роман “Тошнота”. Создается впечатление, что французский интеллигент прочитал роман русского интеллигента о Двойнике как роман о себе же самом. И осудил героя и автора (отметив, впрочем, талантливость последнего), как самого себя, с позиций высокой ангажированности писателя перед обществом, образцы которой Сартр видит в советской литературе.

“Конечно, у Достоевского сегодня нет недостатка в учениках, старательных и циничных, куда более просвещенно-интеллигентных, чем их прародитель”, — говорит Сартр, упоминая “Фальшивомонетчиков” А. Жида и, конечно, только из скромности не упоминая себя и не каюсь. “Беспочвенность Набокова и его Германа Карловича — тотальна”.

И вот здесь происходит самое интересное, особенно трогательное для нас, БСЧ, бывших советских человек. “Тотальность” — это такой, Гегелем навеянный, кунштштук и обман воображения, усвоенный БСЧ, как говорится, “не по Гегелю”, особенно интересен не самим собою, а реальным коррективом, который сознательно или чаще бессознательно вводится в игру. Ибо любая “тотальность” воображения допускает и даже требует Другого. Пусть мы прогрессивно изобразили мир в категориальном модусе экзистенциальной “тошноты”; пусть вскоре после этого появится еще более прогрессивная и экзистенциальная трактовка Другого как моего Двойника (в “Бытии и ничто”, 1943, я должен отрицать Другого, в котором вижу себя, только себя, мною же отрицаемого, а потому нужно уничтожить этот овнешненный самостыд, ибо поистине “ад — это другие”). Кроме всего этого, трансцендентной “тотальности” (теоретически не имеющей никакой трансценденции), появляется здесь у Сартра то, что Ж. Деррида называет supplement, “дополнением”, а мы обозначаем гротескно-карнавалено-абсурдистским инонаучным термином — “трансцендентальная совковость”. Проще сказать, в Сартре восстает Иван Шопенгауэр, каждому БСЧ понятное и кровное: “Но есть же, есть же в мире еще что-то другое, что-то, знаете, святое и непорочное...”

Ибо истинно, истинно сказано: браки заключаются на небесах. Мы ничего не поймем в дехристианизации современной культуры, если не разглядим в ней и не признаем энергий, заданных христианским трансцендентализмом и “историцизмом”, — вот откуда и знаменитый сартровский категорический императив из статьи о Фолкнере (тоже 1939 г.) “Дальше так продолжаться не может...”

И вот в интересующей нас маленькой рецензии ученый литератор Сартр противопоставляет “ученой литературе”, как он выражается, советскую литературу, занятую не индивидуалистическими “экспериментами”, а коллективным трудом — строительством новой жизни в единстве со своим народом. Сартр выделяет одного писателя как пример: Юрия Олешу — понятно почему. “Даже потаенный индивидуализм Олеши, — убеждает Сартр своих читателей, а на самом деле, конечно, себя самого, — не мешает ему участвовать в жизни советского общества. У него есть корни .

Нетрудно представить себе их вместе — Жан-Поля Сартра и Юрия Олешу — на каком-нибудь конгрессе сторонников мира 30-х, 40-х, 50-х годов, как они “дружат” под уверенный аккомпанемент Ильи Эренбурга, тоже интересного персонажа-двойника Германа Карловича или Гумберта Гумберта.

Ведь “дружили” же еще в 60-е годы, насколько мне известно, Мераб Мамардашвили и Луи Альтуссер. Дружили ли вы с Луи Альтуссером, крупнейшим постсовременным марксистом, возродившим на Западе в 60-е — 70-е годы ленинский дух марксизма? Да еще с опорой на структурализм и семиотику, которые в нашей стране “объективно были к этому духу в оппозиции? Позднее М.К. Мамардашвили, проделав посильный “путь самоосвобождения”, скажет в интервью конца 80-х годов об “антропологической катастрофе”, но не скажет ни о собственной к этому причастности, ни о западной трансцендентальной совковости вроде альтуссеровской, в которой прогрессивный и демократический порыв логически требовал “смерти человека”, “смерти субъекта”, “теоретического антигуманизма”. Лук Ферри, политический философ и историк “мышления 68-го года”, пишет в последней своей книге: “Характерный парадокс нашей демократической культуры: декретирование смерти человека сопровождалось такими претензиями человека на автономию, каких вне всякого сомнения еще не знала история человечества”⁸.

Понятно ли, о каком метаидеологическом “браке” мы пытаемся заговорить, невольно путаясь в “чужой речи”, нарушая достаточно жуткую немоту прогрессивного трепа и бешенства правды-матки, буквально подставляющих нас под фашизм, который мы сами же и разгромили однажды. То есть, с одной стороны (традиционно выражаясь, “слева”) мы видим, как “тупицы прогрессивные”, перестроившиеся Швондеры и ныне отцы русской демократии доводят до предела утопизм и совершенно незрячий индивидуализм “идеи” трансцендентальной совковости, с другой стороны (приходится говорить: “справа”) фашизация общества — а как же иначе? —

происходит под благовидным и необходимым предлогом защиты общественной морали и национальной идентичности от беззащитного духа “рынка”. Духа, который мы раньше представляли себе с чужих слов и могли даже идеально любить — не меньше, чем Жан-Поль Сартр любил советскую литературу с Юрием Олешей во главе, — а теперь мы можем познакомиться с этим духом поближе, сменив азиатский социализм на азиатский капитализм и списав это, в который раз, на счет Запада.

Так возникает ситуация, с точки зрения “литературности” и “текста” описанная Достоевским в “Бесах”: дурачок-губернатор Лембке, сойдя с ума, когда “началось”, и сразу поумнев (типичная у Достоевского рокировка ума и глупости, никем, кажется, еще не анализировавшаяся кроме М.Бахтина), кричит: “Для зажигания домов употребляли гувернанток...” То есть прогрессивные дурачки нужны, очень нужны для того, чтобы Федька Каторжный, науськанный Верховенским и Ставрогиным, взялся за дело, не забывая, как мы помним, Бога, и даже занимаясь на досуге Библейской герменевтикой.

Великая русская литература встала сейчас перед нами так, как она еще никогда не стояла перед нашим поколением, — встала за текстом и корчится, безъязыкая, как улица в раннем стихотворении Маяковского. Пользуясь терминологией Ю.М.Лотмана (см.его книгу “Культура и взрыв”), мы очутились внутри такого взрыва, когда то, что еще недавно представлялось “наукой”, оказывается чем-то совсем иным, притом имеющим неожиданные, на первый взгляд, инонаучные последствия.

Ибо не может нормальный человек с претензией на “идею” остаться нормальным в условиях перманентной революции и перманентного острашения “своего” времени. Кстати, создатель теории “острашения” В.Б.Шкловский — тоже интересный Гумберт Гумберт со своими постельными секретами перманентных предательств и “поисков оптимизма”, со своим долголетием формалиста и графомана. Еще выразительнее судьба последнего советского верующего марксиста Эвальда Ильенкова, зарезавшего себя кинжалом. А еще — трансцендентальная совковость с другого конца — гораздо более поучительный конец марксиста—ленинца Л. Альтуссера, во время очередного припадка (падучая?! опять Достоевский, о господи!) убившего свою жену в попытке спрятаться в нее от внутреннего ужаса и потом, насколько мне известно, спасенного и выкупленного французской коммунистической партией, — ведь во Франции (не только в Германии) еще есть судья!...

Расторжение брака: мы начинаем понимать, о чем идет речь, какой “брак” на самом деле должен быть расторгнут, и не на том свете, а на этом. Мы видим, каким образом и в каком направлении идет реальная перестройка: Набоков вместо Горького, пасха вместо октябрьских и первомайских праздников; коммунисты вновь близки народу, а либералы и отцы русской демократии вновь — “страшно далеки” от него. Трансцендентальная совковость для особенно далеких от народа субъектов оказывается каким-то трансцендентальным издевательством, по-своему переживаемым и так называемым народом. Произошло, благодаря победе демократии, второе после семнадцатого года крушение интеллигенции: как и революционная дореволюционная интеллигенция, так и постреволюционная постсоветская самоопределялась в основном только от противного, в совковости своей не хуже и не лучше Брехта и Сартра опираясь либо на “Запад”, у которого, как всегда догматически, заимствовались изолированные элементы, либо на “почву”, соединяющую элементы славянофильско-германского мечтательного барства с народническим марксизмом казацки-черносотенного оттенка. Это — полный трансцендентально-исторический “Енфраншиш” (вспомним “Петербург” Андрея Белого), благодатно возвращающий нас к идее литературы, таки отражающей реальную действительность...

Кончается, если я правильно вижу, старый брак, т.е. старая форма самосознания и любви, между нами и Западом. Расторжение брака не должно воспринимать как только “антропологическую катастрофу” с обеих сторон — хоть это и катастрофа, конечно. Вглядевшись, мы увидим не трагическую только, повторяю, серьезно-смеховую реальность того, что на языке народной смеховой культуры, описанной М.Бахтиным, называется “двутелым телом”, двуетельным телом исторического смысла. Браки совершаются на небесах. Кино истории, фиктивный эпос — кончился, и если Христос, якобы, никогда не смеялся, то значит ли это, что на смех подготавливается уже новый запрет?

Вот, кажется, до меня самого, автора, дошло наконец, о чем же я, собственно, пишу. О покаянии. Не о совковом покаянии, а о подлинном, о “перемене ума” настолько радикальной, что о ней почти невозможно рассказать, почти некому. “Вспомните звено за звеном всю нашу русскую Кащееву цепь”. Так обращается к другу молодости Мих.Пришвин в самом ответственном, культурологически-любовно-взрывном месте сюжета своей романтической биографии.

И мы вспомним. Мы вспомним и посмеемся над собой так, чтобы и жизнь, построенная на ложной любви, и любовь, возвращенная на лживой жизни, оказались не равными себе. “Ничего окончательного в мире еще не произошло...”, — говорит М.Бахтин, определяя не-трагический катарсис в романе Достоевского¹⁰. Вопрос о будущем — это вопрос о любви и обратно. Освобождение от Двойника, от кащеевой цепи — вот где будет положен позитивный предел “судоговорению”, о котором писал С.С.Аверинцев. Ложный брак, неложное двойничество, заставляющее “старательных и циничных” подражателей Достоевского (его ненавидящих, как в случае Набокова или Ю.Олеши) убивать своего Двойника, тогда как у Достоевского старомодно и честно убивают сами себя, — этот брак-двойничество с Западом должен быть расторгнут. На этом пути, надо думать, мы откроем заново и Запад, и самих себя. То есть — как знать:

может быть нам еще немножко повезет и мы, хоть в какой-то мере, еще родимся снова,
ЛУЧШИМИ И БОЛЬШИМИ — В ЛЮБВИ, ДЛЯ ДРУГОГО?

ПРИМЕЧАНИЯ.

¹ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. Худ. литература, 1965, с.57.

² Аверинцев С.С. К характеристике русского ума. // "Новый мир", 1989, с.194.

³ Бахтин М.М., цит. соч., с.27.

⁴ Пришвин М.М. Собрание соч. в шести томах, т. 4., М. ГИХЛ, с.436.

⁵ Бентли Э. Жизнь драмы. М., Искусство, 1978, с.130.

⁶ Sartre J.-P. Situations I. Paris, Gallimard, 29-eme edition, 1947, p. 58-61.

⁷ Ibid., p.61

⁸ Ferry L. Homo Aestheticus. L'invention du gout e l'age democratique. Paris, Grasset, 1990, p.11. Luc Ferry, Allain Renaud. La pensee 68'. Essai sur

l'anti-humanisme contemporain. Paris, Gallimard, 1985.

⁹ Пришвин М.М. Кащеева цепь. // Пришвин М.М. Собр. соч. в восьми томах, т. 2 М., Худ. литература, 1982, с. 379.

¹⁰ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., Сов. писатель, 1963, с.223.

МАХОВ (СОКРУШЕННО ГЛЯДЯ НА ПЕШКОВА КАК НА НЕ СПРАВИВШЕГОСЯ С комсомольским поручением). Где же любовь Запада к Бахтину?

ПЕШКОВ (ведет себя соответственно). Где, где... Виталий Львович написал более широко: межконтинентальный баллистический брак ЗР-20.

МАХОВ. Три пэ двадцать?

ПЕШКОВ. Вот я тебя и раскусил. Не по-русски мыслишь аббревиатуры. "Запад — Россия — XX век" — вот что.

МАХОВ. А почему "баллистический"?

ПЕШКОВ. Потому что находился все время в неустойчивом равновесии.

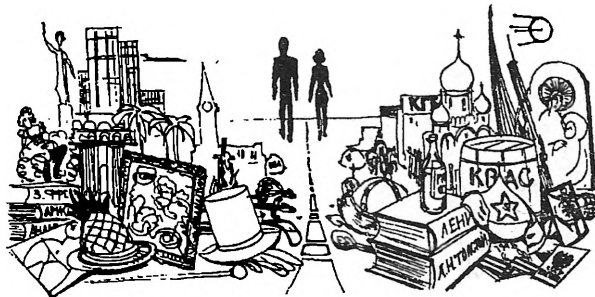
МАХОВ. А теперь устоялся что ли?

ПЕШКОВ. А теперь, видишь, Махлин говорит — развод...

МАХОВ. Махлин говорит: "расторжение брака" и неизвестно еще, что это значит, ибо статья его сфинксоподобна и вполне подошла бы в номер о тайне.

ПЕШКОВ. Иди почитай Бахтина. Он годится в комментаторы Махлину: все темные места яснее.

МАХОВ. БЕГУ!



МАХОВ. "ДРУЗЬЯ, СЕСТРИЦЫ, МЫ В РОССИИ!"

И я хочу напомнить, как по-разному продихотомировали Бахтин и Мерло-Понти историзм и сексуальность.

ПЕШКОВ. Если признать точку зрения Бахтина национально-типической, то русский человек не обретает в сексуальности никакой истории. Поэтому стоит поговорить об истории сексуальности в России.

МАХОВ. А я хочу поговорить о неподвижности. Я с Бахтиным здесь, в общем-то, согласен. Мне в связи с русской любовью почему-то приходит на ум идея о неподвижных идеях. Посмотри: европейский поэт говорит: "Любовь, что движет все светила". Русский же поэт с каким-то непонятным восторгом восклицает: "Все, кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви". Для одного важно, что любовь движет, для другого — что любовь недвижима. Но что привлекательного в неподвижности солнца? Как будто под таким солнцем можно жить.

ПЕШКОВ. А Пушкин, наш певец любви, солнце нашей поэзии...

МАХОВ. Но у него красавица "покоится стыдливо"! Кстати, его тоже интересовал мотив неподвижных идей — помнишь, в "Пиковой даме": "Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место". Вообще выражение "неподвижные идеи" очень стоит проработать — оно наводит еще и на мысль об обломовщине как чисто русском...

ПЕШКОВ. Да, скажем, Раскольников как Обломов мысли, которой не способен сдвинуться с idee fixe, благополучно ее проскочить.

МАХОВ. Или герой истории русской сексуальности — приятель Пушкина Алексей Николаевич Вульф как Обломов идеи обладания... Ну об этом я сейчас расскажу поподробнее (УСАЖИВАЕТСЯ ПОУДОБНЕЕ).

ФИЗИКА

ОБЩЕЖИТИЕ → (РУССКОЕ)



Я ВАС ЛЮБИМ!
ЦЕГО УЖ БОЛЕ!

„Опасение Верности“

Алексей Николаевич Вульф *ne rendez-vous*



Открыты шея, грудь и выюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе,
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

И Девы-Розы пьем дыханье —
Быть может — полное Чумы!

Все вышеприведенные восклицания —
А. С. Пушкина

КОНЕЧНО, ДЕЙСТВИЕ ИСТИННО РУССКОГО РОМАНА ДОЛЖНО

разворачиваться зимой — все в порядке, так оно и происходит. Градус романа низкий, вполне минусовой: кульминация его приходится на эротические игры в жуткий мороз под медвежьей шкурой, что придает нашему и без того мрачноватому герою зловещее сходство с локисом (что поделаешь: где зима, там и славянский фольклор!... шкура, кстати; — бывают нестранные сближения — пушкинская: Вульф то ли незадолго до, то ли сразу после приключения поменялся с Пушкиным шубами, приплатив 75 рублей).

...Градус романа минусовой — и если средневековые филологи справедливо нас учат об аллегории, скрытой за всякой буквальностью (*Litera gesta docet, quid credes allegoria*; любовь ведь как-то мистически связана с восхождением от конкретного к абстрактному, от вещи к символу), то никуда нам не уйти и от банальной аллегории мороза — вот она уже сучает в дверях.

Итак, мороз чувств и чувственности — мороз любви. Как ни странно, наш герой — для Вересаева, биографа Пушкина, гнусный развратник, для Пушкина милый ученик в любовной науке, для одной простодушной девочки, наблюдавшей за забавами Пушкина-Вульфа в Тверской губернии, “Алексей Николаевич Вульф, который любил влюблять в себя молоденьких барышень и мучить их”¹, — наш герой, однажды, за шахматной доской, поразивший Пушкина мрачным (и, как оказалось, точным) предсказанием чумной эпидемии (не сетуй, читатель, что рядом с любовью тут же появились мороз и чума — мотивы лучше сразу завязать в тугой узел, чтобы Эроту, наглому распускателю завязок, было над чем потрудиться), — словом, этот наш вроде как бы российский Казанова, в своем дневнике подаривший нам “целое откровение для истории чувства и чувственности среднего русского дворянства 1820-30-х годов” (еще один биограф, Щеголев), чувственностью, по собственным признаниям, не отличался. “Я слишком рассудителен и холоден, чтобы питать безнадежные чувства”, пишет он в одном месте²; “не имею с природы пылких страстей”, — признается в другом месте³; самой Анне Петровне Керн лишь иногда удавалось “возбудить мою холодную и вялую чувственность”⁴. Любуясь, сравнивал себя — строкой Языкова — с волною: “Горит, блещит, но холодна!”⁵.

А поскольку нас, адептов восхождения к Абсолютному Эросу, интересует не сам Вульф, а русская любовь как таковая (пусть в ее частном проявлении), то придется признать, что дневники Вульфа — этот первый скандально-откровенный “памятник русской чувственности” — вроде бы фиксируют отсутствие таковой.

Вот первая оригинальная черта русской любви, как она явлена у Вульфа. Но что в таком случае вместо чувственности? Помещик Вульф (со всей его пресловутой откровенностью) хозяйничает на задворках биографий русских поэтов каким-то мрачным демоном обладания. Если Пушкин по поводу Анны Керн создал этаким эталон поэтической сублимации, где в гладкой стене абстрактных формул, наваленных как попало (“гений”, “чудный”, “чистый”, “настало”, “явилась” и т.п.), лишь совсем уж помешавшийся краевед будет безуспешно искать биографическую скважину, — то Вульф ее имел, о чем и сообщает простодушно. Если Пушкин воспел дикую красу своих калмычек и нечитание ими “Сен-Мара”, — то Вульф своих калмычек (в его случае — молдаванок, полячек) имел, в чем расписывается. Если в Софье Салтыковой счастливый барон Дельвиг обрел ту “милую деву”, что “все искал душою я”, а Плетнев в чопорном сонете назвал ее “душистой лилией”, то Вульф (собственные слова) “не имел ее совершенно потому, что не хотел”. Если Пушкин забавлялся куртуазной игрой с Лизой Полторацкой — то Вульф ее имел; если Пушкин обессмертил Сашу Осипову в неприступно-безжалостной (сжальтесь!) Алине, — то Вульф ее имел; если Пушкин суеверно боготворил в Наталье Гончаровой мадонну, — то Вульф... не путайся, читатель! Просто наш герой, похоже, не сомневался, что получил бы от Пушкина нечто с надписью “Победителю-ученику...” (и так далее, если бы захотел, — во всяком

случае, сестре Анне он пишет с явным сознанием своих выдающихся возможностей, стесненных лишь обязательствами дружбы: "... я не столько нетерпелив видеть Госпожу Пушкину, потому что *я себя изведать — и смиряюсь*".⁶

Имение есть сущность Вульфа — подлинного русского помещика. Волею судеб заброшенный в украинско-бессарабские степи, наш унтер-офицер Гусарского принца Оранского полка, удаленный от женщин (а "женщины — все еще главный и почти единственный двигатель души моей"⁷), оказывается перед экзистенциальной дилеммой: "Быть или иметь?" Проводя все свое время в обществе какой-то жалкой и к тому же в силу обстоятельств недоступной ему трактирщицы, Вульф находит ответ на этот вопрос. Быть... конечно, быть! Но как? Не просто быть, а быть с... с кем бы вы думали? Ответ целиком так хорош, что его стоит выделить курсивом: "*Меня томит желание быть с женщинами, если нельзя их иметь*".⁸

Кажется, в полной мере своей страсти (если тут можно говорить о страсти — но заметил же сам Вульф: "страсти мои вещественны") Вульф отдался лишь выйдя в отставку и уединившись в своем имении (читатель, смотри не только под ноги, но и вверх: тут над буквальностями понаразвешаны метафоры). "Последние 40 лет жизни А.Н.Вульфа прошли очень однообразно в заботах о хозяйстве", — замечает биограф⁹; да, внешне все выглядело прозаично: Вульф приводит в порядок запущенное поместье, создает молочный и сыроваренный заводы — при этом становится крайне скуп, вызывая у новой тригорской молодежи смех жалкими клычками своей повозки и колпаковидной черной фуражкой; питается, как злословили, лишь рыбой, им самим же пойманной в пруду... Его (и пушкинские) пассии, кажется, от него не отставали: вот Анна Ивановна Колзакова (урожденная Бегичева), предмет юношеского увлечения, просит в 1858 году у Вульфа совета: не обратить ли ей свое хозяйство из трехпольного в четырехпольное или лучше в пятипольное¹⁰. Хозяйственная наука вытеснила любовную? Не так просто. В одном месте "Дневников" Вульф описывает гаремные наклонности своего дяди Ивана Ивановича, и не подозревая при этом, что предсказывает собственное будущее: до нас дошло достоверное предание о том, что в Малинниках Вульф устроил гарем из 12 крепостных девушек, а также присвоил себе "право первой ночи".¹¹ При этом так и остался холостяком.

Не правда ли, образцовый пример восхождения чувства к Эросу- как-таковому — Эросу обладания? Вульф хотел (когда действительно хотел) иметь женщин, но в глаголе "иметь" от частого употребления может и стереться переходность, и вот наш герой уже просто хочет иметь, и он имеет в своем имении все, что можно иметь.

Вульф хотел иметь женщин, но боялся, как огня, их верности. Нельзя иметь то, что тебе верно (наверно, потому, что верное тебе уже само тебя имеет). Об этом он написал сам с поразительной прямоотой (смотри ниже, в тексте дневника).

И при всем при этом благодетельная основа русской любви — "мысль семейная" — все же имеет к Вульфу-холостяку самое прямое отношение. Вот что, пожалуй, особенно резко отличает Вульфа от Казановы западного типа! Что может быть парадоксальнее в любовных похождениях, чем упорная верность родовому гнезду? — но именно таковы похождения Вульфа. Достаточно сказать, что Елизавета Петровна Полторацкая и Анна Петровна Керн — сестры, дочери Петра Марковича Полторацкого и Екатерины Ивановны Вульф, родной тетки Вульфа.

Любопытно, что это свойство Вульфа служило поводом частых упреков со стороны родственниц, которых тревожила маниакальная вульфова верность "своим", и Вульфу приходилось оправдываться перед сестрой Анной: "Я готов сделать обет никогда не мотиться родным божествам, но виноват ли я, когда я нахожу в одной то, а в другой *другое* любви достойным?"¹²

Ничто не помогало: вне контакта с "родной кровью" Вульф словно бы лишался ореола обольстителя. "Самонадеянности я столько потерял, что даже и с женщинами я застенчив до юношеской стыдливости", — записывает он в дневнике во время своего прозябания в далекой степной деревне.¹³

Феномен вульфовой любовной семейности — не в самом факте любви к сестрам, но скорее в странной путанице, которая возникла между эротическими и братско-сестринскими отношениями. Анна Петровна Керн, любовница Вульфа, в каком-то другом плане все-таки оставалась для него сестрой, что позволяло им свободно откровенничать друг с другом насчет своих любовных походов на стороне; под старость их отношения приняли чисто семейственный облик — в поздних письмах Анна Петровна называет Вульфа "мой верный друг и моя всегдашняя опора"¹⁴. И напротив, испытывая к родной своей сестре Анне чисто родственные чувства, Вульф в куртуазной своей щедрости все-таки договаривается до желания расцеловать "твои ручки, даже ножки — от восторга..."¹⁵

Получается, что Вульф хотел иметь лишь то, чем был. Чем был он сам или что было им самим — свой род, свою кровь. Вновь и вновь возвращался он "к себе в своих" — и умер, и похоронен там же, где родился.

Стало быть, быть...

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Поздняя осень в Петербурге, 1828 год. Вульф готовится к поступлению на военную службу. Здесь же две его любовницы — сестры Полторацкие: Лиза и Анна (в замужестве Керн). Лиза испытывает к Вульфу сильное и мучительное чувство; отношения с Анной носят, напротив, взаимно легкомысленный характер. В конце сентября Лиза, полная недобрых предчувствий, уезжает в имение отца в Тверскую губернию. Анна Петровна живет в одном доме с семьей Дельвигов (Загородный проспект, участок дома N 1, дом снесен в 1986 году), куда Вульф

наведывается весьма часто и где начинает приударять за женой Дельвига, Софьей Михайловной, продолжая и интимную связь с Анной Керн.

Декабрь — начало января 1829 года Вульф проводит в Тверской губернии, где происходит неприятная сцена с Лизой, прослышавшей о его петербургских похождениях.

В январе того же года Вульф возвращается в Петербург, его отношения с Софьей и Анной продолжают в том же духе. Наконец, в феврале 1829 ГОДА ОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ (ШЛА РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА).

Примечания

1. Воспоминание К.Е.Синициной. — Цит. по: Колосов В. А.С.Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888. С.11.
2. А.Н.Вульф. Дневники. 1827-1842. М., 1929. С.438.
3. Там же. С.351.
4. Там же. С.195.
5. Письмо к сестре Анне от 26 февраля 1830 г. — Пушкин и его современники. Вып. 1. СПб., 1906. С.90.
6. Письмо от 20 января 1831 г. — Там же. С.93.
7. Дневники. С.375-376.
8. Там же. С. 304.
9. М.Л.Гофман. — Пушкин и его современники. Вып. 21-22. С.VI.
10. Пушкин и его современники. Вып.1. С.169.
11. Пушкин и его современники. Вып. 21-22. С.256.
12. Пушкин и его современники. Вып.1. С.81.
13. Дневники. С.271.
14. Пушкин и его современники. Вып.1. С.74.
15. Там же. С.103.

А.Н.Вульф. Из дневников 1828-1830 гг.

20-26 СЕНТЯБРЯ 1828г.... РАЗЛУКА БЛИЗКАЯ С ЛИЗОЮ ЗАСТАВЛЯЛА МЕНЯ тоже чаще с нею быть. Справедливо она жаловалась на мою холодность и простила ее; любовь всегда снисходительна, легко верит тому, что желает, а самолюбие помогает нам обманывать себя. — Мне хочется кинуть суетное желание нравиться женщинам: это слишком жестокая забава; ради одного времени, которое на нее тратишь, уже вредна она, не упоминая душевного спокойствия, которое она может погубить. 25 вечером я простился с матерью и с нею, поехавшей вместе отсюда. Я ни за что не хотел бы в другой раз в жизни быть столь же счастливым, как был. — Занимаясь женщиной, несравненно более страдаешь, чем бываешь счастлив. — Не знаю, буду ли я иметь силы вперед отказаться от желания быть любимым и от чувственных наслаждений, но хотел бы никогда не входить в искушение. — Если бы можно было возратить ей спокойствие! Может быть, это большое незнание женщин — опасение их верности, но одна такая возможность мне страшна.

14 октября. ...вечер провел с Дельвигом и Пушкиным. Говорили об том и другом, а в особенности об Баратынском и Грибоедова комедии Горе от ума, в которой барон, несправедливо, не находит никакого достоинства.

В 10 часов ушли они ужинать, а я остался с Анной Петровной и баронессою.¹ Она лежала на кровати, я лег к ее ногам и ласкал их. Анна Петровна была за перегородкою; наконец вышла на минуту, и Софья подала мне руку. Я осыпал ее поцелуями, говорил, что я счастлив, счастлив, как тогда, как в первый раз целовал эту руку. — Я не думала, чтобы она для вас имела такую цену, — сказала она, поцеловав меня в голову. Я все еще держал руку, трепетавшую под моими лобзаниями; не в силах выдерживать мой взгляд, она закрыла лицо. Давно бездельца меня столько не счастливала, — но зашумело платье, и Анна Петровна взошла.

18 октября. Поутру я зашел к Анне Петровне и нашел там, как обыкновенно, Софью. В это время к ней кто-то приехал, ей должно было уйти, но она обещала возвратиться. Анна Петровна тоже уехала, и я остался чинить перья для Софьи; она не обманула и скоро возвратилась. Таким образом были мы наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я, как почти всегда в таких случаях, не знал что говорить, она, кажется, не менее моего была в замешательстве, и видимо мы не знали оба с чего начать, — вдруг явился тут Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в Северные Цветы, и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает.

Странное было для меня положение быть наедине с женщиной, в которую я должен быть влюблен, плачущею об древних своих грехах. Но она вдруг перестала, извинялась передо мною, и мы как-то оцупью на истинный путь напали; она просила меня переменить обращение с нею и не стараться казаться ей влюбленным, когда я такой не есть, — тогда нам будет обоим легче, мы не будем принуждены в обращении друг с другом, и хотела, чтобы я ее просто полюбил как друга.

Внутренно я радовался такому предложению и согласен был с нею, но невозможно было ей это сказать: я остался при прежнем мнении моем, что ее люблю, что мое обращение непринужденно с ней, что оно естественно

и иначе быть не может, согласясь, впрочем, стараться быть иначе с нею. Я поспешил уйти, во-первых, чтобы прервать разговор, который клонился не в мою пользу, и чтобы не дожидаться прихода мужа. Я даже отказался от обеда на ее приглашение, ибо я точно боюсь подозрения барона: я не верю ему.

Вечером я нашел ее опять там же. Анна Петровна заснула, и мы остались одни: я, не теряя времени, заметил ей, что все ею поутру сказанное несправедливо, ибо основано на ложном мнении, что ее не люблю; она отвечала, написав Баратынского стихи: не соблазняй меня, я не могу любить, ты только кровь волнуешь во мне²; я жаловался на то, что она винила меня в своей вине; она мне предложила дружбу; я отвечал, что та не существует между мужчиною и женщиною, да и ее бы столь же скоро прошла, как и любовь, ибо, когда я первой не мог удержать за собою, то невозможно заслужить и последнюю. — Что же вы чувствуете к Анне Петровне, когда не верите в дружбу, — написала опять она; — и это следствие любви — отвечал я — ее ко мне! И я остановился, не имея духа ей сказать “люблю”: *c'est l'amour* — вырвалось у меня. Она стала упрекать, что я все твержу свое, и слова мне, как в стену горох, и писала, что я должен быть ей другом без других намерений и требований, и тогда она тем более будет меня любить, чем лучше я стану себя вести с нею. Довольный вообще такими условиями, которые я мог толковать всегда в свою пользу и не исполнять, когда невыгодны они, я спешил ее оставить, опасаясь прихода мужа. На прощанье я опять завладел рукою, хотел поцеловать ее, но встретил ее большие глаза, которые должны были остановить дерзкого, — это меня позабавило: я отвечал насмешливо — нежным взором, как бы веселясь слабостью ее и своей собственной невредимостью.

21 октября. ... Вечер я был у барона, который спрашивал, не подрался ли я с его женой, что так давно у него не был.

23 октября. ... Анна Петровна сказала мне, что вчера поутру у ней было сильное беспокойство: ей казалось чувствовать последствия нашей дружбы. Мне это было неприятно и вместе радостно: неприятно ради ее, потому что тем бы она опять приведена была в затруднительное положение, а мне радостно, как удостоверение в моих способностях физических. — Но, кажется, она обманулась.

24 октября. ... После обеда, когда началось смеркаться, во время, называемое между собакой и волком, я сидел у Анны Петровны подле Софьи: целуя ее руку, благодарил я за наслаждение, которым она меня дарит, награждает за мое доброе поведение; она уверяла, что этому она не причиною, и что я не заслуживаю награды, ибо я не таков, каковым должен быть; потом смеялась надо мною, что я верно сделал завоевание дочери моего хозяина, и говорила *que je suis séduisant*, в чем я никак не соглашался; она вообще, кажется, была в волнении.

7 ноября. ... Ночь была, кроме маленького ветра, прекрасная; на чистом темно-синем небе высоко стоял месяц, резкие, не длинные тени домов лежали на чистой и яркой белизне снега и делили улицы на две половины; черта, их разделявшая, тянулась то ровная, то уступами, сообразуясь с неровной высотой зданий. — Я, Анна Петровна и Софья Михайловна поехали кататься, — легко скользили сани по уезжанной уже улице, следы полозьев ярко блестели в лучах месяца и параллельно тянулись за санями, летел брызгами мелкий снег из-под копыт лошади, и два столба пара клубились из ее ноздрей; много саней видно было на Невском проспекте: иные постепенно перегоняли нас, другие также отставали, изредка лихой извозчик или купец быстро мчались мимо на рысаках, которые, казалось, неслись не по воле правящих ими, а как будто закусив удила. — Катание было весьма приятное, холод как-то живил и веселил чувства... — Остальной вечер я просидел у ног Софьи на полу; она была довольно нежна и пела все: “Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей” etc.

24 ноября. ... Софья упрекала меня в нежности к ней — и была со мною еще нежнее прежнего, чесночный дух (третьего дня она с мужем много его ела) не отнимал более ничего от сладости поцелуев, — она сидела у фортепиано, и стоя перед нею на колене, мне ловко было ее обнимать, тогда когда ее рука окружала мою шею... Так наша воля слаба, наши намерения противоречат словам, — после каждого поцелуя она закрывала лицо и страдала от того, что сделала и что готова была снова повторить, — я молчал, не смел не только утешать или разуверять, но даже говорить: оставлял ее и бегал по комнате. Надо кончать наслаждаться, забыв все, или совсем не искушать себя напрасно.

28 ноября. Петр Маркович у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни. Это дало мне случай ее жестоко обмануть (*la gater*³); мне самому досаднее было, чем ей, потому что я уверил ее, что я ранее, а в самом деле не то было, я увидел себя несамостоятельным: это досадно и моему самолюбию убийственно. — Но зато вечером мне удалось так, как еще никогда не удавалось. — Софья была тоже довольно нежна, но не хотела меня поцеловать.

4 декабря. Вечером я танцевал у Шахматова. (...) Вальсируя с одною роскошною, хорошо сотворенною и молодою вдовою, которая и лицом не дурна, я заметил, что в это время можно сильно действовать на чувственность женщины, устремляя на нее свою волю. Она в невольное пришла смятение, когда мерно, сладострастно вертятся, я глядел на нее, как бы глазами желая перелить негу моих чувств: я буду делать опыты, особенно с женщинами горячего темперамента.

29 декабря 1829 г. Сарыкиной.⁴ — Выезд из Петербурга 15 декабря 1828 г. (...) ... простившись очень нежно с Анной Петровной и с Софьей Михайловной, а с бароном очень дружественно (он рад был, что сбывает с рук опасного друга и от того только смеялся над нежностями его жены со мною), я уехал в очень хорошем расположении духа. ... Одна только встреча с Лизой меня тревожила.

Лиза. Вот история моей связи с ней. За год ровно, день почти в день (я приехал в Петербург 17 декабря 1827) перед сим, приехав в Петербург кандидатом успехов вообще в обществе и особенно в любви, по слуху, не видел

еще Лизу, я решил ее избрать предметом моего первого волокитства: как двоюродная сестра, она имела все права на это. (...) Родство, короткая связь с сестрой ее, способность всякий день ее видеть, — все обещало мне успех. Сначала он мне даже казался скорым, ибо уже во второй день нашего знакомства, вообще видев ее только несколько часов, я вечером, обнимая ее, лежавшую на кровати, хотел уже брать с нее первую дань любви, однако не успел: она не дала себя поцеловать.

2 января 1830г. Софья Михайловна Дельвиг. Между тем я познакомился в эти же дни, и у них же, с общей их приятельницей Софьей Михайловной Дельвиг, молодой, очень миленькою женщиною лет 20. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность... Рассудив, что, по дружбе ее с Анной Петровной, и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решил я ее предпочесть, тем более, что, не начав с нею пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. (...) Но неожиданно все расстроилось. Муж ее, движимый, кажется, ревностью не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц нашего знакомства увез мою красавицу. — Разлученный таким образом, по-видимому, надолго с предметом моего почитания..., не нашел я никого другого, кроме Лизы, кем можно бы было с успехом заняться. (...) После двухмесячных постоянных трудов, снискав сперва привязанность, как к брату, потом дружбу, наконец я принудил сознаться в любви ко мне. — Довольно забавно, что, познакомившись короче, я с нею бился об заклад, что она в меня влюбится.

Не стану описывать, как с этих пор возрастала ее любовь ко мне до страсти, как совершенно предалась она мне, со всем пламенем чувств и воображения, и как с тех пор любовью ко мне дышала. Любить меня было ее единственное занятие, исполнять мои желания — ее блаженство; быть со мною — все, чего она желала. — И эти пламенные чувства остались безответными! Они только согревали мои холодные пока чувства. Напрасно я искал в душе упоения! одна чувственность говорила. — Проводя с нею наедине целые дни (Анна Петровна была все больна), я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако, не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу, — ибо она сама кажется желала быть совершенно моею, и, вопреки моим уверениям, считала себя такою.

После первого времени беззаботных наслаждений, когда с удовлетворенной чувственностью и с прошедшей примадкой новизны я точно стал холоднее, она стала замечать, что не столько любима, сколько она думала и сколько заслуживает. С этих пор она много страдала и, кажется, всякий день более любила. Хоть и удавалось мне ее разуверять, но не на долго; холодность моя становилась слишком явною. — Я сам страдал душевно; слишком поздно раскаивался; справедливые ее упреки раздирали мне душу. Приближавшийся ее отъезд с отцом умножал еще более ее страдания — и любовь. Это время было для нас обоих ужасное. — Наконец роковая минута настала, расстроенное ее здоровье кажется изнемогало от душевной скорби. Без слез, рыдая, холодные и бледные уста замирали на моих, она едва имела силы дойти до кареты... Ужасные минуты! Ее слезы вьелись мне в душу.

С моей матерью и сестрой поехала она в Тверь, где имела еще огорчение узнать мои прежние любовные проказы, и некоторые современные. Несмотря на все это, мне легко было в письмах ее разуверить, — как не поверить тому, чего желаешь! Ответы ее были нежнее чем когда-либо. — В таких обстоятельствах встреча моя с нею опять очень меня беспокоила.

Встреча с Лизой. На третий день моего приезда в Старицу приехала, наконец, и Лиза с отцом... Из саней вышедши, она прямо пошла наверх во второй этаж, где жили, по тесноте, все молодые девушки, до 10 всех на все, в двух маленьких комнатах, под предлогом переодевания. Я оставался внизу, надеясь, что присутствие публики избавит меня от трогательных сцен свиданья: слез, обмороков и т.п. Ошибся я: без них не обошлось. (...) Взойдя на половину лестницы, я увидел наверху оной Лизу, ожидающую меня, окруженную всем чином молодых дев. Недовольный блистательным таким приемом, еще увеличивавшим затруднительно мое положение, сказала я, не помню что-то, долженствовавшее выразить обыкновенное удовольствие встречи, и стал за нею, как бы желая дать проход всему народу, стоявшему у лестницы вероятно для того, чтобы сойти с нее. От этих ли слов, или от встречи просто, или от чего другого, не знаю, но красавица моя упала в обморок, в руки шедшего за мною Ивана Петровича⁵, который, вскинув ее на мощные плечи, понес до ближайшей постели. Быть причиною и зрителем всего этого было мне весьма неприятно. Понемногу она пришла в себя: когда очутилась на постели, мы, оставшись втроем с Сашей, успокоили ее немного.

(...) Я уверил ее, что люблю, а она была нежнее, чем когда-либо; только я не был в духе пользоваться этой нежностью. (...)

Положение мое в отношении с красавицей было весьма затруднительно. Несмотря на 3-х месячную разлуку с Лизой, я не мог себя принудить быть с ней таким же, как прежде, — очарование исчезло. Наружное же внимание я должен был иметь к ней, чтобы не вовсе растерзать душу, кроме того уже много страдавшую от меня. Столько, однако, власти над собой я не имел, чтобы для нее отказаться от удовольствия волочиться за другими. Таким образом мы мучили друг друга.

Отъезд Лизы. 2 января 1829. Давно уже Петр Маркович⁶ собирался ехать в Малинники, — наступил, наконец, решительный день. Хотя через Сашу⁷ и объявляла Лиза, что меня больше не любит, просила, чтобы я сжег ее письма и т.п., но когда мы оставались наедине, то она также твердила про свою любовь, искала моей, как и

прежде. Не стану говорить про слезы этой второй разлуки — Mon Ange!! были последние ее слова, когда она садилась в кибитку! — Что она теперь зовет ли меня, любит ли? — Бедная, лучше бы ей было меня забыть или разлюбить...

С ее отъезда я имел более свободы кокетничать, но не имел более успеха.

Сарыкиной, 20 февраля 1830 г. (*Вульф вспоминает о событиях января 1829 г., после возвращения его из тверских именов в Петербург*). Здесь зато любовные дела мои шли гораздо успешнее: Софья становилась с каждым днем нежнее, пламеннее, и ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от меня зависело увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением вечера, которые я просиживал почти наедине с ней (Анна Петровна сидела больше с Александром Ивановичем Дельвигом, юношей, начинавшим за ней волочиться), проводить в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний.

В прежнюю мою бытность в Петербурге еще собирались мы ехать за город кататься, но все по различным причинам день ото дня откладывали гуляние. Наконец назначили день не настоящего катанья, а только пробы, "пример парада", как говорил барон, и на двух лихих тройках, из которых на одну сел барон, Сомов, Анна Петровна и я, а на другую Софья, Щастный (молодой поэт) и Александр Иванович. — Я, чтобы избежать подозрения, не хотел сесть с моей красавицей.

Красный кабачок искони славился своими вафлями (...) — Нельзя нам было тоже не помянуть старину и не сделать честь достопримечательности места. Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь. — Софья и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов, — нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать. Он начал рассказами про дачи, мимо которых мы мчались (слишком скоро), занимать нас, весьма кстати, потому что мне было совсем не до разговора. Ветер и клоками падающий снег заставил каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку моею широкой медвежьей шубой, так что она очутилась в моих объятиях, — но и это не удовлетворило меня, — должно быть извлечь всю возможную пользу из счастливого случая... Ах, если б знал почтенный Орест Михайлович, что подле него делалось, и как слушали его описания садов, которые мелькали мимо нас.

С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упустили ни одной удобной минуты для наслаждения, — с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно потому, что не хотел, — совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон, но несколько вечеров провел я наедине с нею (за Анной Петровной в другой комнате обыкновенно волочился Александр Иванович Дельвиг), где я истощил мое воображение, придумывая новые.....

18 августа 1830 г. Сквир. (*Вульф вспоминает о своем прощании с Софьей при отъезде из Петербурга в Тверскую губернию, а оттуда — в действующую армию 7 февраля 1829 г.*). В назначенное время я нашел мою неутешную красавицу, и мне чрезвычайно тяжело было видеть страдания женщины, которые ничем я не в силах был облегчить: — Вдруг, совсем неожиданно, зашел муж к Анне Петровне и очень был удивлен меня еще раз встретить; к счастью, у меня был предлог — неожиданный приезд в Петербург дяди Петра Ивановича со всем его семейством, который и послужил благовидной причиной моей остановки. — После его ухода настала решительная минута прощанья; что я в продолжении одного чувствовал, страдал, — рассказать невозможно. Видеть женщину милую на коленях перед собой, изнемогающую от страсти, раздирающей ей душу, и в исступлении чувств, судорожными объятиями желающую удержать того, который бежит на край света, и чувствовать свою вину перед ней — есть наказание самое жестокое для легкомысленного волокиты. Вырвавшись из объятий, я побежал от нее, не внимая ее словам, призывавшим меня, когда я уже вышел из комнаты и побежал к саням, как будто бы гонимый огнем и мечом, и только тогда успокоился, когда был далеко от знаменитой мне Владимирской улицы. — Точно был то рай в сравнении с моей теперешнею жизнью!!

Вместо эпилога:

"Болдинская осень" Вульфа

Холера шла на Россию с юга, и Вульф встретился с нею годом раньше Пушкина — где-то в Бессарабии, в деревне некрасовцев — потомков донских казаков, участников Булавинского восстания, ушедших после поражения на юг.

11 ноября 1829 г. День за днем проходит однообразно и незаметно... Прошлого года в это время я читал Смитта и Манзони описания чумы, восхищался ужасами оной, а теперь сам остерегаюсь ее. (...) У зараженного болезнь начинается сперва головною болью, потом с ним делается жар, тошноты, и наконец открываются на теле пятна или желваки (бубоны): тут обыкновенно человек умирает; примеры весьма редки, чтобы люди выздоравливали. Умершего чумою можно узнать тотчас потому, что он не костенеет, как другие тела умерших.

Что делают мои красавицы теперь, вспоминают ли своего холодного обожателя? и подозревают ли они соблазнителья своего в чумной деревне, в одной хате с некрасовской семьею и полдесятком гусар, судьба отмищает их. Если не все, то некоторые верно часто обо мне вспоминают. Лиза, я уверен, еще любит меня, и если

я возвращусь когда-нибудь в Россию, то ее первую я вероятно увижу...

Саша всегда меня будет одинаково любить, как и Анна Петровна.

СОФЬЯ, КАЖЕТСЯ, ТАК ЖЕ СКОРО МЕНЯ РАЗЛЮБИЛА, КАК И ПОЛЮБИЛА.

КОММЕНТАРИЙ

¹ баронесса — Софья Михайловна Дельвиг, урожденная Салтыкова (1806-1888). Жена А.А.Дельвига с 30 октября 1825 г. Вот как пишет о ней барон Андрей Иванович Дельвиг (двоюродный брат поэта): «Она была очень добрая женщина, очень милостивая, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его ладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся» (Дельвиг А.И. Полвека русской жизни. Воспоминания. М.-Л., 1930. т.1, с.71).

² С.М.Дельвиг перифразирует «Разуверение» («Не искушай меня без нужды») Баратынского.

³ Оплошать с ней, потерпеть с ней неудачу (франц.).

⁴ Начиная отсюда записи принимают ретроспективный характер: Вульф вспоминает события конца 1828 — начала 1829 гг., уже находясь в действующей армии (он участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 гг.). Сарыкей — ныне город в Румынии между Тулчей и Бабадагом.

⁵ И.П.Вульф — двоюродный брат А.Н.Вульфа.

⁶ П.М.Полторацкий — отец Лизы Полторацкой и А.П.Керн.

⁷ Саша — Александра Ивановна Осипова, в замужестве Беклешова, падчерица П.А.Осиповой (матери А.Н.Вульфа), любовница Вульфа.

⁸ Двоюродный брат Антона Дельвига.

⁹ Парафраза стихотворения Баратынского «Сердечным нежным языком» (1825):

И сладострастных осязаний

Язык живой употреблял...

Предисловие и комментарий А.Е.Махова

МАХОВ. КАК ЗАМЕТИЛ МАКС ФРИШ, «У КАЖДОГО - СВОЯ ИСТОРИЯ».

Сейчас Маркс Тартаковский нам расскажет парочку чужих историй.

Они, в общем-то, и так хорошо известны, но нам всякое лыко в строку: в pendant к менее известному Вульфу - хрестоматийные классики доводят к концу века нашу внутреннюю морозность до блеска и глянца полного сексуального отречения...

ПЕШКОВ. Может быть, эта возгонка - как раз способ согреться. В холодном погребе плоти поднимается градус духа. И не надо это переносить на всю нацию!

МАХОВ. Да где она, нация? Под столом, что ли? (Ищет под столом. В это время

входит Маркс и молча вешает по стенам

ПОРТРЕТЫ БЛОКА И ЧЕХОВА).

М.С.Тартаковский

У Кирилла Львовича...

археологические подступы к русским литераторам

КАК ЭТО БЫВАЕТ В ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ СЕМЬЯХ,

сохранился дневник его двоюродного дедушки, то есть брата

дедушки по прямой линии. В самом начале нынешнего, если не в конце прошлого века, в тихий весенний вечер где-то на тогдашней окраине Киева молодой человек приятной наружности (овальное фото в рамочке из бристольского картона), с заметными усиками, раскрыл толстую, с золоченой виньеткой тетрадь и записал впечатление прошедшего дня.

Был он, как это можно понять из разбросанных по дневнику случайных упоминаний, подмастерьем в какой-то кроватной мастерской, снимал комнату под наружной, обычной в сравнительно южных наших городах, лестницей. Наверху же, в одной из чердачных комнат (на мансарде или в мезонине, если угодно), поселилась скромная незнакомка «осмнадцати», примерно, лет. Так вот, он ее впервые увидел, это и побудило его разориться — купить роскошную тетрадь и начать свой дневник, который мы сейчас с Кириллом Львовичем разглядывали с понятным волнением.

В конце дневника, на последних, вклеенных уже страницах, автор познакомился, наконец, с девушкой: то есть она, потупясь, назвала ему свое имя, а он ей — свое, и все еще не подымая глаз, она процокала каблучками по наружной деревянной лестнице, на которую, как говорилось, выходило его окно, на свой чердак.

Не знаю, продолжал ли давно исчезнувший из жизни молодой человек свой дневник в следующей толстой тетради, — другое останавливает воображение. Сколько же времени понадобилось для элементарного, в

общем, знакомства двух симпатичных друг дружке молодых людей!.. Ну, допустим, не годы, — человеческая жизнь для такого деликатничанья слишком коротка, — целое лето, все ж таки, даже больше: начат дневник в апреле, окончен в сентябре.

Нет, я решительно не за такой темп жизни, при котором мы сегодня просто пятились бы назад, — все же это вызывает во мне уважение. Какая-то, что ни говорите, основательность. Не суетились люди, не прищипоривали естественный ход событий.

Хотя, конечно же, смотря кто; многое тут зависит от элементарной физиологии: от гормонов, ферментов, мелких, но крупных в масштабе нашего с вами организма, молекулярных факторов. Мы-то привыкли думать только о половых органах, а тут, оказывается, еще как-то и гипоталамус участвует, только ли он один!.. Наука еще отказывается отвечать нам сразу на все вопросы.

И все-таки, как хотите, пять-шесть месяцев робких “здрасьте” с приподыманием фабричного картузика, — как хотите, это все-таки поражает. Многие, я знаю, все еще согласятся со мной.

Хотя, конечно, молодой человек с усиками мог при случае сходить во вполне легальный тогда публичный дом, не упомянув об этом в своем лирическом дневнике, — но вряд ли. Очень уж был он чувствителен к движениям своей души. Он — я так думаю — до поры до времени, до законного бракосочетания, воспринимал невинную девушку как цветок, как нечто бестелесное, доступное разве что лишь слуху и зрению. И не считал потерянным для себя это жаркое лето плюс полтора золотых весенних месяца. Быть может, где-то в последующих тетрадах он с грустью вспомнит, что то был самый прекрасный момент его жизни, как знать...

Кирилл Львович (чей двоюродный дедушка) тоже был согласен, что о публичном доме в такой момент не могло быть и речи. Он взял с полки том “Анны Карениной” и раскрыл на том самом месте, где Левин мучается от того, что сам он далеко не так чист, как его невеста Кити, и где, как бы ни было мучительно для него, он собирается рассказать ей о той гадкой жизни молодого здорового мужчины, которую он вел до их окончательного знакомства.

Ну, мы могли бы допустить, что это какой-то там художественный прием, гипербола. Что-то, наверно, он все-таки пропускал, рассказывая о своей здоровой молодой жизни, великий писатель сгустил краски... Как бы не так! Левин собирался как раз дать Кити почитать свой дневник, где излагал все до деталей, как на духу...

Нам уже невероятно трудно в это поверить.

И это еще не все. “Он и писал этот дневник тогда в виду будущей невесты”, — походя замечает классик. Но мы-то знаем уже, что здесь художественно описано то, что некогда в действительности происходило между ним и Софьей Андреевной, будущей супругой, тогда еще барышней: так же, как Левин, Лев Николаевич не без внутренней борьбы передал ей тогда свой дневник...

Мы бы сегодня, вероятно, и внимания не обратили на то, что здоровый мужчина, которому за тридцать, далеко не так невинен, как невинна девушка, коей не стукнуло и двадцати. Но Левин тогда лишь, когда дал Кити почитать дневник и увидел ее заплаканное лицо, окончательно “понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты и ужаснулся тому, что он сделал”.

Сам я, между прочим, тоже ужаснулся.

Может быть, и наш двоюродный дедушка писал свой дневник “в виду будущей невесты”? может, так принято было? может, и она тоже, этажом выше, на чердаке, вела свой дневник?.. Этого мы не знаем. И вообще видим события несколько однолинейно, с единственной точки зрения. Вероятно, и героиня на своем чердаке долгими тихими вечерами без телевизора, без его ТСН и “Поля чудес”, тоже мечтает о скромном загадочном молодом человеке с заметно пробившимися усиками; и у нее, и у него, вероятно, есть родственники, косвенно участвующие в их судьбе.. Разумеется, живет она не одна, с мамой. Мама торгует курицами здесь же на Подоле, на Житнем базаре, этой достопримечательности Киева...

В дневнике есть очаровательный эпизод, какого не придумать и Казанове, и лучшим образом свидетельствующий в пользу автора.

Где-то в июле, в зените этой классической любви, у ее мамы сломался зонтик. И она (мама), сокрушаясь, расспрашивала во дворе, где бы ей починить этот зонтик. И наш герой, конечно, тут же сам взялся починить его. И, конечно, тут же отнес зонтик за свой собственный счет какому-то лучшему на всем Подоле мастеру, чтобы только иметь повод однажды постучать в заветную дверь и заслужить благодарность ее мамы...

А сам этот дом, где цвела данная уже непостижимая для нас любовь!.. Я представляю, что дом как бы вращал спиной в крутой глинистый бугор и был с этой стороны гораздо ниже, чем с лица. Туда, на улицу, выходило три фасадных этажа с пузатенькими балконами в узорчатой, модерно выгнутой решетке, тогда как сюда, во двор, только два: полуподвал, затененный наружной лестницей, и тут же над ним — чердак (вероятно, все же мансарда?) с узенькой наружной галереей, куда выглядывали и оконца и двери низеньких тесных келий... (Я сам жил в таком доме, в одной из келий бывшего монастырского общежития, и все хорошо помню).

Бугор за домом снизу доверху покрыт кустарником; под его пологом происходят свои драмы: дерутся петухи, копошатся куры, пацюки (большие серые крысы) воруят цыплят... Тут же в глине нарыты неглубокие пещеры, служащие погребам; к ним прилажены дверцы с ржавыми висячими замками...

Молодой человек с усиками в погожие воскресные дни всегда отдыхал с книгой на солнечном глинистом косогоре как раз против ее чердачной двери. В дневнике не упоминается, что это была за книга. Имеет ли это значение!.. Вполне допускаю, что книга неизменно была одна и та же. Раньше, до вторжения незнакомки в его

жизнь, молодой человек имел обыкновение загорать здесь без сорочки. (Разумеется в брюках!) Сейчас это было бы немислимо!

Подумать только, даже совместное пребывание на пляже казалось тогда дерзостью, почти вызовом общественной морали! Речи не могло быть, чтобы втиснуться, как сейчас, в совместный автобус, в давку, буднично, так сказать в порядке вещей, чувствовать на своем лице чье-то дыхание, — когда, каких-то восемьдесят лет назад, и платья касанье казалось немислимым восторгом и счастьем.

Хотя, вроде бы вполне современные люди, в смысле интеллекта уже ни в чем не уступающие нам с вами — Чехов, Лев Толстой, Блок.

НО И ТОГДА, В НАЧАЛЕ ВЕКА, тоже, наверное, не каждому пришло бы в голову, сочетавшись законным браком с долгожданной невестой, сберечь во что бы то ни стало ее изначальную чистоту и непорочность. Не каждый бы и справился с подобной задачей, если учесть, что та, которой и на брачном ложе (было ли такое ложе? не метафора ли?..) назначалось хранить девственность, как полковое знамя, сперва ничегошеньки не поняла, а поняв, взбунтовалась, как, вероятно, взбунтовалась бы и овца, сообразив, что ее ведут на заклание. Много лет спустя Любовь Дмитриевна Блок вспомнит свое ужасное состояние после свадьбы: “Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница... Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это “Астартизм”, “темное” и бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его — опять теории... Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой... Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной”...

Астарта — жестокая и чувственная богиня древнефиникийского фаллического культа, покровительница и любви, и войны, — нагая всадница, натягивающая тугой лук (на других изображениях с копьем наперевес), выгибающаяся дугой на ложе страсти и неистово раскрывающая бедра. Мог ли поэт, посвятивший своей Прекрасной Даме столько пленительных стихов, представить ее в подобной позиции?! Зато сама она, как вспоминает впоследствии, оставаясь одна в супружеской спальне, “долго, долго любовалась собой” в зеркале, принимая соблазнительные позы, так что “задолго до (Айседоры) Дункан... привыкла к владению своим обнаженным телом... гармонии его поз и ощущению его в искусстве, в аналогиях с виденной живописью и скульптурой”; в красоте своего розового тела (несколько в кустодиевском духе) она видела “лучшее, что я могу в себе знать и видеть, мою связь с красотой мира”, горько сетуя при этом на невостробованность ее божественного дара: “Никогда не просил он (Блок) у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы с ним в цветущих кустах”.

Зигмунд Фрейд, вероятно, подчеркнул бы здесь прорвавшееся с досадой — “не заблудились” (от — “блуд”, “блудить”); с веткой же вербены связан у Л.Д. любовный намек времен затянувшегося жениховства Блока, когда счастье с этим рослым плечистым спортивным молодым человеком казалось возможным, и близким.

И не стоило ли сдерживать кипение страсти, устоять — ради великой русской поэзии, классических стихов, вдохновленных “Владычицей вселенной” (только так: Владычица, как имя Божье, — с прописной буквы, вселенная — с обычной), “Величавой, Вечной Женой”, “Девой, Зарей, Купиной”, “Женой, облаченной в солнце”?.. Нам, со стороны, кажется, что определенно стоило, что сами мы, наверное, понимая всю меру ответственности, устояли бы, рассчитывая на благодарность потомков; и не очень жалуем Л.Д., признавшуюся в том, что это с ее “злым умыслом” порой “происходило то, что должно было” (мы-то превосходно понимаем, что именно), но для поэта это всякий раз было крушение идеала. И, вероятно, терпела урон прежде всего наша поэзия...

Сам Блок, подбивая эти итоги, убеждал Л.Д.: “Невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня меня же самого, как бесов... Позволь мне не убивать себя самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной” и так далее. Он по-прежнему убежден: “Запрещенность всегда должна оставаться и в браке”, Любовь “земную” и “небесную” он персонифицирует в своем воображении в Афродиту Пандемос (всенародную, площадную) и Афродиту Уранию — образец для собственной супруги: “Суровый хлад — твоя святая сила. Безбожный жар нейдет святым местам”.

Он притчеобразно разъясняет Л.Д. эту ее роль: “Одна женщина, принадлежавшая к Пифагорейской общине в VI веке до Р. Хр. (заметь, заметь!), написала между прочим вот что: “когда женщина победит низшие побуждения и овладеет живою силой духа, тогда родится в ней божественная гармония”... Хочешь верить ты? Я верю.”

И ближайшие друзья поэта, тоже талантливые, тоже оставившие след в русской словесности, — “аргонавты”, “секта Блоковцев”, как они себя называли, — подкрепляли поэта в его аскезе. Кто-то из них уже посетил публичный дом, кто-то еще нет, но теоретически тоже уже был подкован, — и со знанием дела они в один голос твердили: “Не убив дракона похоти, не выведешь Евридику из Ада”. А вывести так хотелось!..

Они задавались глубокомысленными вопросами: “А что есть Прекрасная Дама?” “В каком отношении находится Она к учению Владимира Соловьева о будущей (интеллектуальной) теократии?” “В каком смысле Она церковь в космосе и царица семистолпного дворца поэзии?”...

В неустанных хлопотах о “семистолпном дворце” поминают Данте (безмолвно вздыхавшего по Беатриче, жившей по-соседству), Пётрарку (лишь в сонетах изъяснявшегося самому себе в любви к Лауре, замужней даме, почтенной, рано расплневшей матери семейства)... Намечают (как писал Андрей Белый, один из “Блоковцев”) основание “рыцарского ордена, не только верящего в утренность своей Звезды (Любови Дмитриевны — М.Т.),

но и познающего Ее”.

Разумеется, познание могло быть только символическим, раз уж сам супруг уклоняется от физического познания. Все его рассуждения можно бы свести к мысли Стендаля, стойкого холостяка и неудачника, подытожившего свои размышления в трактате “О любви”: “Чем больше физического удовольствия лежит в основе любви... тем более она подвержена непостоянству и в особенности неверности”.

Мысль эта (всем обязанная христианству и противоречащая любому мало-мальски нормальному жизненному опыту) могла бы послужить эпиграфом к рассказу Льва Толстого “Крейцера соната” с куда большим правом, чем обе предпосланные ему цитаты из Евангелий. Рассказ настолько знаменит, что довольно будет одной лишь фразой напомнить содержание: герой его, не найдя счастья не только в семейной жизни, но и в самом “хваленном медовом месяце” (“Ведь название-то одно какое подлое!”), в конце концов подозревает жену в измене и, яростно возревновав, убивает ее.

В самом беглом пересказе нельзя не упомянуть этот “медовый месяц” — потому что героя, по его же признанию, завлекли в брак именно чаемые им чувственные радости (а не приданое или что-то еще); притом и до этого он отнюдь не был невинен как Будда, напротив — “гваздался в гное разврата”, то есть имел к тому вкус. А тут вдруг, наедине с возлюбленной, представлявшейся ему “верхом совершенства”, сразу же почувствовал себя “неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно”.

Такая уж явная психологическая передержка — как искаженная аксиома в основании какой-нибудь “новой геометрии”, — для чего она классику? Чтобы не было недомолвок, он дополнительно раскрывает “предмет написанного рассказа” в чисто публицистическом “Послесловии”. Так вот, оказывается, “убеждение в том, что половое общение есть дело, необходимое для здоровья”, насквозь ложно; оно, это общение, недостойно какой бы то ни было поэтизации, ибо это “унизительное для человека животное состояние”. И из-за “того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл... стало помехой для приятного продолжения любовных отношений”; хуже того, сами эти “дети людей воспитываются как дети животных”, отчего “появляется непреодолимая чувственность”; “и от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но и на вредную работу”...

Вот так, по пунктам: во-первых, во-вторых, в третьих... И все это уже имеет прямое отношение к акмеологии, утверждающей прямо противоположное, что в концентрированном выражении можно бы сформулировать даже так: исчезновение либидо (сексуального влечения) предвещает распад личности и самое смерть.

Воздержание как “Идеал” или “одно из условий к нему” подсказано Толстому учением Христа. “Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему, — пишет Толстой. — Плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть во всяком случае препятствие служению Богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех”. Итог — то ужасное, что случилось с героем рассказа.

Эти убеждения — вероятно, прямо навеянные “Крейцеровой сонатой”, всюду обсуждавшейся в те годы, — полностью овладевают молодым Блоком. И его исключительная судьба (впрочем, жирно проштампованная Временем) приобретает для нас важнейшее экспериментальное значение...

КОНЕЧНО, ВО МНОГОМ ЗДЕСЬ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТИПОВ.

Имею ли я в виду темперамент по Гиппократу? Да, отчасти. Имею ли в виду физический тип человека по Шелдону либо Кречмеру? И это тоже. Имею ли в виду типологию характеров, всякий раз уточняемую и утрясаемую по-новому? Отчасти и ее — в общих чертах...

Однако и физический тип, и темперамент, и характер присущ животному тоже — собаке или кошке, не говоря уже об обезьянах. Но только человек, и никто, кроме него, не способен отдаваться сексу как игре, как спорту, — тем более как терапии души — вне прямого предназначения, диктуемого естеством.

А вот в этом их качестве людей, согласно акмеологии, можно разделить на три типа. Личность ЧУВСТВЕННОГО склада стремится лишь к наслаждению; это отменный любовник (любовница), от которого глупо требовать чего-либо еще вне постели. Личность МАТЕРИАЛЬНОГО склада и в любовных делах ценит прежде всего обладание — верность партнера; это человек семейственный, чадолюбивый — и в силу этого поневоле ограничивающий себя в удовольствиях. Для личности ДУХОВНОГО склада все плотское приемлемо лишь после всестороннего осмысления и должно вести к акту творческому, которым будто бы только и может быть оправдано наслаждение... (Характерно, что кинорежиссер Андрей Тарковский ответил американскому студенту на вопрос, как быть счастливым: “А зачем вам быть счастливым?”).

Думаю, читатель сам определит типы личностей, присущие нашим героям (а заодно и свой собственный тип). Вспоминает Андрей Белый, гостивший в Шахматово у Блоков: “Л.Д., нагибаясь, покачиваясь, с перевальцем, всходила (на террасу), округло сутулясь большими плечами, рукой у колена капот подобравши и щуря глаза на нос, — синие, продолговатые, киргиз-кайсацкие, как подведенные черной каймой ресниц, составляющих яркий контраст с бело-розовым, круглым лицом и большими растянутыми, некрасивыми вовсе губами... Не казалась дамой в деревне, — ядреною бабою: кровь с молоком! Я подметил в медлительной лени движений тайный какой-то разбойный размах”.

Вот этой-то ядрености Блок никак не предвидел. Тревожная и туманная запись накануне свадьбы: “Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет”. Но очень скоро вносится другая запись: “Люба понимает. Я ее обижаю. Она понимает больше меня”. (Уточнение: самому Блоку уже дан

некоторый интимный урок женщиной старше его; у Л.Д. никакого такого опыта нет). Еще более тревожная запись: “Прежде представлялась как яблочный цветок, с ангельским оттенком. Ничего похожего нет”.

Ничего похожего и быть не могло! Много лет спустя в героине поэмы “Двенадцать” всплывает этот же сексуальный тип. 12 августа 1918 года Блок пишет иллюстратору поэмы Ю.Анненкову, подсказывает (явно вспоминая облик юной Л.Д.), как бы надо нарисовать Катюку, до остервенения “крутящую любовь”: “Катюка — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка: свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется... Рот свежий, “масса зубов”, чувственный... “Толстомордость” очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости)”.

Но все это, в понимании Блока, годилось для шлюхи, Афродиты Пандемос, толстозадой Катюки, — не для боготворимой Жены; так что суждено ему было “падать” не с женщиной, возлюбленной им до небес, а со случайной, безличной, порой купленной на полчаса.

(Ему всегда) все тот же жребий
Мерещится в грядущей мгле:
Опять — любить Ее на небе
И изменять ей на земле.

В этом неустанном поединке интеллекта, отшлифованного декадентской культурой перелома эпох, и темного инстинкта, питаемого самой природой, интеллект постоянно терпел поражения. Уже и Л.Д. увлеклась сперва Андреем Белым (ближайшее окружение) — тоже теоретиком, от которого не могло быть никакого “ущерба”, затем — более основательными “пажами” (по аналогии с “Королевой” блоковских стихов) из театрального мира; от одного из них она родила мальчика, принятого Блоком, но тут же умершего. Короткие бесплодные примирения — и опять случайные “дрейфы” (так называла ЭТО Л.Д.), мимолетные связи — и ее, и его. Записи Блока уже не просто тревожны, но все более трагичны: “Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь... Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные...”

Не этого ли всего боялся и Чехов — тоже, по моде тех лет, много теоретизировавший по поводу сексуальных отношений? (Хотя сами они не только нигде напрямую не названы, но и как бы выведены за скобки реальной жизни). Подгорин (“alter ego” самого автора в рассказе “У знакомых”) с отчуждением вспоминает красивую девушку, которая “ни о чем не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья, страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи”; мечтает же он, чтобы рядом с ним была какая-то идеальная женщина, которая “если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда”.

Пока что, впрочем, в ожидании идеала “Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия, и им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие...” (Хотя в действительности именно страсть оправдывает абсолютно все, что происходит в постели.)

Когда же сам Чехов, не дождавшись “новых форм жизни”, женился наконец, все покатило, как позже у Блока, по тому же накатанному эпохой пути. Жена скитается с театром, супруг тоскует в разлуке, — ослеплены лишь будущие литературоведы, делающие азартную стойку перед этим обилием писем друг к другу, дневниковых свидетельств, вынужденных объяснений в стихах и прозе...

Заметим, что при прочих относительно благополучных обстоятельствах жизни, при неплохой ФИЗИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, ЧЕХОВ ПРОЖИЛ ВСЕГО 44 ГОДА, БЛОК — 41 ГОД.

ПЕШКОВ. “СВЕТЛАЯ, ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ, ПОЛНАЯ ВЕРЫ МАНЕРА МЫШЛЕНИЯ, видимо, способствовала долголетию художника”, — так заметил один университетский преподаватель (увы, покойный) в своей книжке о Томасе Манне. Но если прав Тартаковский, то не одним светом гуманизма...

МАХОВ. А может, и одним гуманизмом, если гуманизм трактуется с известной иронией (как это и делал Манн): то бишь если от него берется лишь полезное для организма, а вредное — ни-ни, не берется. “Я готов идти с ними до костра, но не включительно”, — говорил Монтень о гугенотах. У нас же иступленный русский радикализм. А для радикализма организм — прозаизм. Так вот, по поводу организма: Блок не так музыкально бы слушал революцию, если бы был не символистом, а акмеологом. Кстати, что это за наука?

ПЕШКОВ. Наука. Родоначалником которой и является Маркс Самойлович Тартаковский. Вершина жизни без сексуальной гармонии недостижима.

МАХОВ. Да. Но как достичь гармонии?

ПЕШКОВ (кисло). На то и наука. Но, видишь, если с нежной страстью все о’кей, возникают проблемы с друзьями, врагами, которые, конечно, такого простить не могут и убивают тебя на дуэли. Так что переход от основоположника акмеологии к прародителю акмеизма будет ознаменован нарастанием

антилюбных мотивов: так безопаснее.
Правда, говорят, что Анненский тоже
УМЕР НЕ СЛИШКОМ СТАРЫМ.

Галина Мелогурова

„И ТЕБЯ НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ПОЗВОЛЬ“

Об одном мотиве в творчестве И. Анненского



“Влюбленный Леконт де Лиль?... Как?
этот разрушитель поэзии “d’amour
terrestre et divin”, и вы ждете, что
он вам даст что-нибудь вроде “Ночей”
Альфреда Мюссе?..”

(И. Анненский. Леконт де Лиль и его
“Эриннии”).

ОТСУТСТВИЕ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ АННЕНСКОГО, ТОГО, ЧТО ПРИНЯТО называть любовной лирикой, привычно фиксируется исследователями как некая аксиома, как правило не анализируется, либо объясняется довольно бегло. И в самом деле, кто станет возражать против факта, оспаривать очевидное? И все же углубиться в этот вопрос представляется необыкновенно интересным и заманчивым. Предвосхитивший и в известном смысле подготовивший многие открытия русской поэзии XX века, тесно связанный с русской классической литературой, Анненский упорно избегает вторгаться в традиционно благодатное поле лирических построений, где романтически толкуемая любовь является одной из первооснов бытия, распаивает перед поэтом врата в вечность, приобщает его божественному универсуму и естественно становится высшей целью его существования и всепроникающей темой его творчества. Не то у Анненского. Немногочисленные стихотворения, в которых лишь маячит отдаленный призрак любви, колеблется расплывчатый облик возлюбленной (лишенный романтического флера, намеренно сниженный — “Прерывистые строки”, а то и доведенный до какого-то жутковатого гротеска — “Моя тоска”), явно не дают права вести разговор о разработке поэтом любовной темы. Подобное утверждение было бы натяжкой и по отношению к его трагедиям. (Даже “Лаодамия” не является исключением. Любовь-мечта героини все отчетливее вырисовывается по мере того, как в ее памяти постепенно стираются подлинные черты уходящего навстречу своей гибели Иолая, так и не ставшего настоящим супругом, и реализуется — если это слово здесь уместно — в любви к призраку).

В случае Анненского не получится списать очевидное равнодушие к любовной теме в традиционном понимании ни на счет склонности к оригинальничанию, ни на счет стремления эпатировать читателей, ни на счет странностей характера. В стройной и целостной художественной системе, каковую являет собой его творчество, само по себе отсутствие столь значимого пласта говорит о многом. В контексте этико-эстетических ценностей Анненского гораздо более значимой и, пожалуй, более определенной категорией, чем любовь, становится безлюбовь, прямо названная (“безлюбая”) и откровенно противопоставленная любви в, как считается, последнем и, хотим мы того или нет, в определенном смысле итоговом стихотворении.

Мотив безлюбовности организует стихотворение “Расе” с подзаголовком “Статуя мира”. На предметном уровне² — это описание статуи с точным указанием ее местоположения в Екатерининском парке: “Меж золоченых бань и обелисков славы / Есть дева белая, а вокруг густые травы”. Уже в следующем двустишии появляются реалии мира эллинской древности: тирс и тимпан — атрибуты вакхического культа, Пан — бог животворящих природных сил, согласно мифам, входивший в свиту Диониса. Дионисийская стихия сразу же объявляется чуждой деве, дается как бы в своем значимом отсутствии. Противопоставленность девы дионисийству получает объяснение на уровне мифологического подтекста. В стихотворении Расе называется богиней, но, во-первых, филолог-классик Анненский как никто знает, что богини с таким именем нет в античных мифах, во-вторых, в этом случае бессмысленной выглядит оппозиция Расе / служители Диониса.

Отдельные символические детали наводят на мысль, что в мифологизирующем сознании поэта образ скульптуры Расе трансформируется в образ богини-девственницы Артемиды — многократно повторенный мотив девственности и непорочности: слово “дева”, усиленное эпитетом “белая”, символика сжатых ног, нераспушенной косы, образ густых некошенных трав, воспринимаемый в этом контексте как образ девственного

1 “Моя тоска”. 12 ноября 1909 г. Как утверждает в дневниковой записи М. Кузмин, стихотворение было написано после спора с Анненским “за безлюбовь и христианство”, в котором автор записи выступал “в защиту любви”. См. публикацию А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика: И. Ф. Анненский. Письма к С. Маковскому. // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома 1976. — Л., 1978. — С. 241

2 Общеизвестна особая значимость скрытой предметности в поэтике Анненского.

леса — извечного прибежища богини-охотницы. Останется добавить, что Артемида — сестра Аполлона, и потаенный смысл стихотворения прояснится.

Противопоставление аполлонизма и дионисийства как двух путей развития искусства было воспринято русскими художниками начала века главным образом через учение Ф. Ницше о рождении трагедии. Анненский как специалист-классик имел по сравнению со многими современными поэтами более глубокое представление о мифологических корнях этого противопоставления, о его преломлении в культуре и искусстве Древней Греции.

Как известно, в античном искусстве существовала довольно четкая оппозиция Аполлона и Диониса. В то время как дионисизм традиционно связывался с представлением о блаженном восторге, об утрате собственной индивидуальности и обретении себя в слиянии с целым миром, аполлонизм соотносился с идеей индивидуализации, с понятием соразмерности, “мудрой самоограниченности” (А. Ф. Лосев), с миром фантазии и иллюзии. Кроме того Аполлон воспринимался как бог, несущий истину (оракул святилища Аполлона в Дельфах — самый почитаемый и авторитетный прорицатель) и гармонию.

Анненский отстаивает большую художественную самоценность аполлонизма по сравнению с дионисийством, в котором он не видит самостоятельной творческой силы. В статье “Дионис в религии и поэзии” он трактует объединение обеих культур, давшее начало аттической трагедии, не как синтез, подобно Ницше, а как воздействие гармонии аполлонического начала на дисгармонию дионисийского. Пути развития современного искусства Анненский видит не в приобщении к стихии дионисийства, как полагает другой классик, Вячеслав Иванов, сосредоточием художественных интересов которого становится архаический миф, а в устремленности “к стройному, сознательному, “аполлоническому” началу творчества.”¹

Возвращаясь к стихотворению “Расе”, можно предположить, что образ безлюбой и одинокой богини оказывается нужным Анненскому для того, чтобы высказать (не голословно, не декларативно) одну из сокровеннейших своих мыслей о природе художественного творчества, переводя проблему, как он часто это делает, на столь понятный ему язык античности²: безлюбовь, “равнодушие к обидам и годам” — непереносимое качество художника (героя) — аполлониста.

Стремление к гармонии и пластичности образов (как это было в эпоху ранней классики — А. Ф. Лосев говорит даже об особом, “скульптурном” стиле истории³) побуждает Анненского столь часто вводить в свои произведения образ статуи: “Я на дне”, “Бронзовый поэт”, “Трактир жизни”, “Там”, “К портрету А. А. Блока” (“Под беломраморным обликом Андрогина...”), трагедия “Лаодамия” — этот список можно продолжить. “Страсть не дается его героям... Любовь, страх и другие аффекты, конечно, ближе связаны с музыкой, чем с живописью или скульптурой. И живопись, и скульптура уходят в познание и в существе своем холодны, зрительные впечатления, решительно преобладая в душе, занимают наблюдательный ум (курсив Анненского) и служат как бы противовесом для резких чувств и волнений”⁴. В трагедии “Фамира-кифарэд” эта поэтика застывших форм воплотилась в образе камня (ср. с ранней лирикой О. Мандельштама) — центрального символа пьесы, становящегося апофеозом безлюбого и созерцательного существования в вечности. (Характерно, что мотив камня был взят художницей А. Экстер за основу оформления спектакля А. Я. Таирова “Фамира-кифарэд” в Камерном театре).

Ставка на “зрительные впечатления” предполагает известную дистанцию, требует трезвого, анализирующего взгляда на эстетический объект, подразумевает не духовную “близость поэта с читателями, а, наоборот, его отобщенность от них, даже более — его “статуарность”⁵ (Снова статуя!). Согласно Анненскому, художник-аполлонист стремится к невозможному — “оставаться в жизни чистым созерцателем, ... всему уйти целиком в мир легенд и творчества или стать только мозгом и правой рукой, как мечтал когда-то Жюль де Гонкур”⁶.

Главным препятствием на этом пути для него становится любовь, точнее то романтизированное представление о ней, которое на протяжении веков складывалось в европейской культуре, притязая называться ее главной вдохновляющей силой. Любовь, зовущая к слиянности с другим, к осуществлению себя через другого, неприемлема для художника-идеалиста, мыслящего космическими категориями и мучительно ощущающего силу земного притяжения. А стало быть и женщина, женская красота для него — “одно из осложнений в жизни, одна из помех для свободной души”⁸.

Героев Анненского (будь то герой оригинальной трагедии Фамира или герой его статьи Ипполит⁹) “пол

1 И. Ф. Анненский. Письма к С. К. Маковскому — С. 225

2 Отмечая наличие разных “напластований” в качестве характерного признака поэтической системы Анненского, Л. Я. Гинзбург выделяет античность в качестве одного из основных культурных слоев, формирующих его поэзию. См. Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., 1971

3 А. Ф. Лосев История античной эстетики. — М., 1963. — Т. 1. — С. 50.

4 И. Ф. Анненский. Гончаров и его Обломов. // Инокентий Анненский. Книги отражений. — М., 1979. — С. 254. Только ли Гончарова имеет здесь в виду Анненский-критик, писавший, по его собственному признанию, лишь о том, что было созвучно ему самому?

5 А. Г. Коонен. Страницы жизни. — М., 1975. — С. 229

6 И. Анненский. Леконт де Лиль и его “Эриннии” // Книги отражений. — С. 417

7 И. Анненский. Трагедия Ипполита и Федры. // Книги отражений. — С. 395

8 И. Анненский. Символы красоты у русских писателей. // Книги отражений. — С. 132

9 И. Анненский. Трагедия Ипполита и Федры.

оскорбляет как одна из самых цепких реальностей¹. В приложении к своему переводу трагедии Еврипида Анненский трактует поединок Ипполита и Федры отнюдь не в духе отношений Иосифа Прекрасного и жены Потифара. Природное целомудрие Ипполита, сознательно обращающего свое религиозное чувство на богиню девственности Артемиду (чем и навлекает на себя, согласно мифу, гнев Афродиты) исключает само понятие соблазна применительно к ситуации. Ненависть к женскому полу это не столько чувство, сколько символ веры идеалиста Ипполита — веры, сотворенной им самим.

Фамира-кифаред, герой одноименной драмы Анненского, в известной мере продолжает развивать линию еврипидова Ипполита. В жизни царевича, избравшего себе долю отшельника-музыканта (Фамира — исполнитель гимнов Аполлону, снискавший себе славу, но не удовлетворенный своим искусством и жаждущий приобщиться музыке небесных сфер), «ни матери, ни сестрам, ни отцу нет места»². По его собственному признанию, он живет «для черно-звездных высей»³. Исповедь нимфы — матери Фамира, отыскавшей сына после двадцати лет мытарств, вызывает у него совсем иное чувство, нежели можно ожидать в такой ситуации. Заявляя о полном безразличии к самому рассказу, Фамира извольнованно отмечает красоту ритмов речи нимфы, ласкающие слух звуки ее голоса. Он с увлеченностью аранжировщика распечивает повествование, сопровождая оригинальными художественными ремарками наиболее «ударные» его моменты, но не в его силах подарить матери сострадание — лишь на музыкальный строй монолога откликается его душа. Это даже не черствость⁴, не бессердечие, это — взгляд из иного мира, в котором жизнь подчиняется одному закону — закону творчества. Бурление земных страстей вокруг него — любовные забавы сатиров, неистовые служения вакханок, блаженство опьянения (Силена), трагические повороты судьбы (нимфа) Фамира наблюдает с полным бесстрашием, порой лишь досаду на попытки нарушить его одиночество. Он завидует участи камней, которые «живут... глубоким созерцанием»: «Молчат/ И никого смущать не ходят камни, /И никого не любят, и любви/ У них никто не просит»⁵.

Антипод Фамира сатир Силена, певец земных радостей, не понимающий «счастья минералов», противопоставляется Фамире не только в рамках поэтического текста, но и на более глубоком уровне. Анненский выносит спор героев в область музыки, дав в руки Фамире кифару и сделав инструментом Силена флейту. Как известно, мифологическая традиция приписывает Аполлону искусство игры на кифаре, в то время как спутники Диониса обычно изображались с флейтами (достаточно вспомнить миф об Аполлоне и Марсии). В античности в понимании мелоса входила не только игра на инструменте, но и пение («древние вообще не допускали чистой музыки как таковой... Музыку они понимали всегда в соединении со словом»⁶). Поэтому флейта как чужеродный инструмент, разрушающий традицию (игра на флейте исключает одновременное пение), долгое время не принималась греками. При разборе последней трагедии Анненского Вяч. Иванов отмечает, что антитеза флейты/кифара держалась в греческой мифологии довольно долго, в конце концов оба инструмента остались существовать на равных правах

В пьесе Анненского тема примирения двух культур, символами которых становятся флейта и кифара, не получает воплощения. Фамира с отвращением говорит о «нечистом дыхании» флейты, об отталкивающем облике музыканта-флейтиста. Его реакция вполне объяснима, если вспомнить восхваление флейты Силеном в качестве совершенного инструмента для покорения женских сердец. Не задевающая простых чувств кифара представляется неконятой и опасной старому сатиру: «Ох, эти струны — холоду напустят, /Да, как туман, отравят вас мечтой/ Несбыточной...»⁸. Этот нерв драмы почувствовал Бальмонт, который впоследствии писал: «Струнный инструмент ведет к стройным снам души, он устанавливает гармонию мысли, он не позволяет душе, сорвавшись со своих осей, низринуться в хаос. Гармонию устанавливает струна, как высшее начало бытия»⁹. Не потому ли на миг соприкоснувшийся с музыкой сфер Фамира ослепляет себя (значимое отклонение от мифологической канвы: Фамиру ослепляют музы), предпочитая «стройные сны души» видимому миру. — «Не видеть — /Не слышать — не любить»¹⁰. Круг замкнулся. Лишенный музыкального дара, осужденный богами на долгую жизнь на Земле, Фамира уподобляется своему идеалу — камню. «Жизнь этого — поэта была именно высокомерным отрицанием самой жизни ради солнечного воспоминания»¹¹. Эти слова Анненского вполне

1 И. Анненский. Трагедия Ипполита и Федры. — С. 395

2 И. Анненский. Стихотворения и трагедии. — Л. 1990. — С. 492.

3 Там же.

4 Характерно в этой связи признание В. Брюсова (в данном случае мы не касаемся вопроса о том, насколько искренним оно было — значим телен сам факт его признания): «... Я вообще плохо понимаю чувства, являющиеся в душе от взаимных отношений людей. Я бывал влюблен, я сердился, я мучился стыдом, — но все же эти волнения... очень поверхностно касались моей души. (...) Вы знаете, — если бы теперь умерла Надя или Женя, или даже мама, — я не был бы поражен. Я их не люблю (курсив Брюсова) — это истина и глубокая истина. ... Я живу истинной жизнью только только ведин с собой, затворившись в своей комнате, читая, размышляя, создавая». (Из письма З. А. Бакулиной.) // В. Брюсов и его корреспонденты. — М., 1991. — С. 735

5 И. Анненский. Стихотворения и трагедии. — С. 505

6 А. Ф. Лосев. Античная музыкальная эстетика: Предисловие. // Античная музыкальная эстетика. — М., 1960. — С. 37

7 Вяч. Иванов. О поэзии И. Ф. Анненского. // Аполлон, 1910. — N 4

8 И. Анненский. Стихотворения и трагедии. — С. 501

9 К. Бальмонт. Песни внутренней музыки. // Утро России, 1916. — 3 декабря.

10 И. Анненский. Стихотворения и трагедии. — С. 531

11 И. Анненский. Леконт де Лили и его «Эриния». — С. 405.

могли бы служить эпиграфом к его последней драме.

Но сказаны они о любимейшем из поэтов Леконте де Лиле, которого Анненский считал среди своих учителей. Гений аполлонический поэзии, "ярко разобщенная с другими и мощная индивидуальность"¹. Леконт де Лиль должен был при жизни получить упрек от А. Дюма-сына: "Итак, ни волнений, ни идеала, ни чувства, ни веры. Отныне более ни замирающих сердец, ни слез. Вы обращаете небо в пустыню. Вы думали вдохнуть в нашу поэзию новую жизнь и для это отняли у нее то, чем живет Вселенная:

ОТНЯЛИ ЛЮБОВЬ, ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ"².



МАХОВ (В НЕСКОЛЬКО ТЯГОСТНОЙ ЗАДУМЧИВОСТИ).

Мотивом игрового номера, были как ты помнишь, каменные лица игроков. Мотивом любовного, кажется, становятся каменные тела любовников. Странная прогрессия.

ПЕШКОВ. Нашла коса на камень. Длинная коса Артемиды. Камень лежал в густой траве девственности и остался незамечен.

МАХОВ. Все глубже: все дело в глубоко (подчеркиваю: глубоко!) вредном разграничении аполлонизма и дионисийства: слишком серьезное принятие этих полюсов ведет к безумию (Ницше) или импотенции (...). Полюса же на самом деле намечены не для вражды и отчуждения, а для тайных прогулок друг к другу. Уж античные-то музы знали тайные тропы к низшим божествам, а то и к самому Пану! В России это понимал только Пушкин, наш самый сексуально-гармоничный поэт. Солнце нашей человечности. И вот что любопытно: ницшеанские олимпийцы серебряного века, носившиеся в равной мере и с Пушкиным, и с аполлоно-дионисийством (и порой путавшие две эти кладки), не заметили у Пушкина как раз того текста, в котором напряжение снимается. Какая симптоматичная невнимательность — ну просто вытеснение, амнезия по Фрейд!

ПЕШКОВ (напрягаясь). "Вольность"? "Деревня"? "Памятник"?

МАХОВ. "Муза". Ее читали, но не видели главного. Муза приходит к младенцу-поэту и вручает ему — что? "семиствольную цевницу"! То бишь самый что ни на есть низменный инструмент, атрибут Пана! Правда, по младенцу и подарочек: это же о себе Пушкин несколько ранее написал: "Я нравлюсь юной красоте бесстыдным беиенством желаний; с невольным пламенем ланит украдкой нимфа молодая, сама себя не понимая, на фавна иногда глядит".

ПЕШКОВ (с неожиданным просветлением). И получал бы от нимфы свою цевницу. А чему муза учит поэта? Напевам "фригийских пастухов"! Этим иступленным оргиастическим малоазиатским пляскам, за исполнение коих фригиец Марсий лишился эпидермы!

МАХОВ. Еще бы музе не быть "девой тайной". Знал бы Аполлон, куда она ходит и чем занимается. Но как только заросла народная тропа с Олимпа на фригийскую низменность — стало ли лучше? Поэты умирают не на дуэлях за любимых женщин, а от странных сердечных приступов...

ПЕШКОВ. Что — поэт? Он всего лишь пишет стихи.

А ВОТ НАРОД — ИХ АРАНЖИРУЕТ!

МЕТАМЕТАФИЗИКА (?)

УЖЕ НЕСКОЛЬКО МОЛОДЫХ УВАЖАЕМЫХ ФИЛОЛОГОВ,

поднаторевших в архивных и текстологических разысканиях,

поспешили засвидетельствовать (через третьих лиц, конечно) свое безграничное презрение к нашему журналу.

"Туфта все это", — выразительно сказал один. Другой был не столь лаконичен и проявил выдающуюся критическую проницательность в таком примерно отзыве: "Вот все самовыражаются, самовыражаются... Ну кому это нужно? Взяли бы текст какой-нибудь из архива, прокомментировали и напечатали. Была бы польза".

Как видим, мать-филология в лице своих юных и безукоризненно верных adepts сурова к нам и заклинает о возврате в лоно — архивистику-комментаристику. Причина неблагоклонности, впрочем, ясна: ведь распад Текста на Канон и Апокриф (с отлучением последнего) — действие, таинственно связанное с самой сущностью филологии: то ли ее первая и весьма успешная махинация, то ли кроворазделительный акт, от которого чадо (помянутая филология) и появилось на свет. Так могут ли стражи канона благоволить к апокрифу?

А вообще тут дело еще более тонкое — дело даже не в каноне и апокрифе, а в странном самозванстве, из-за которого мать-филология и смотрит на нас без материнской любви, а скорее с мрачным изумлением: канон-

1 Там же. — С.415

2 Там же. — С.415



самозванец — штука понятная, с ним-то ясно как справиться; но что делать с самозванцем-апокрифом? Как его покарать? Отлучить от канона? — но он сам себя уже отлучил. Огласить его апокрифом? — но он сам, он все сам.

Мы же любим (особенно в любовном номере), ей богу, не только себя, а все-все, в том числе и архивы с комментариями, а доказывают нашу великую любовь страшные сны главного редактора, в которых ему снится самое дорогое — архивы (и какие! до сих пор не опубликованные, АПОКРИФИЧЕСКИЕ, ПОТАЕННЫЕ).

Стихи сочиняет поэт — НАРОД ИХ АРАНЖИРУЕТ

СТРАШНЫЙ СОН ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВЕЧЕРЕЕТ. ПОЮТ РУССКИЕ ВЬЮГИ.

Гл. редактор сидит за столом и смотрит на груды книг.

Телефон молчит. Время стоит.

Гл. редактор. Куда все подевались? Забыли меня тут, как Фирса. Все книги, книги... Тьфу, гадость какая! (цитирует себя:) "Рому мне, рому..." (рюмка падает, гл. редактор засыпает).

За дверью раздаётся пение:

Гляжу на кумачный порой сарафан,
И ром добавляю я с пуншем в стакан...

Входит Алиса, напевая песенку:

Когда я был молод и часто был пьян,
Я очень любил приподнять сарафан...

Гл. редактор (оторопело). Что-что? Рому в стакан? Сарафан? Откуда вы? Вы мне снится?

Алиса. Меня зовут Алиса. Мой русский не есть очень хороший.

Гл. редактор. А, "на языке, тебе невнятном, стихи прощальные пишу."

Алиса. Да-да, стихи. Господин главный редактор, я пришла просить у вас стихи.

Гл. редактор. Какие стихи? Про сарафан?

Алиса. А почему вы смеетесь? Я учусь.

Гл. редактор. Да? Забавно. И что же вы изучаете?

Алиса. Я изучаю загадочную русскую душу в ее изломах, странностях и непредсказуемости. Больше всего меня интересует, как загадочный русский человек проявляется в любви.

Гл. редактор. Ну как? Наверное, загадочно проявляется. А по каким же учебникам вы изучаете ваш предмет?

Алиса. По стихам с обценной лексикой.

Гл. редактор. Иначе говоря, по неприличным стихам. Всей великой русской поэзии вам мало! Пушкин ничего не сказал о любви...

Алиса. Почему? Сказал:

Орлов с Истоминой в постели
В убогой наготе лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.
Не думав милого обидеть,
Взяла Лариса микроскоп
И говорит: "Позволь увидеть,
Чем ты меня, мой милый, еб".

Гл. редактор. Ну что это такое? То ли дело:

Гляжу, как безумный...

Алиса. ... на х-й и м-е

И хладную душу все тянет к п-е.

Гл. редактор. Тьфу! Или Лермонтов:

Ночевала...

Алиса. ...девка молодая

В номере с женатым господином...

Гл. редактор (в отчаянии). Ну почему? Почему?

Алиса. А потому. Помните, героиня сказки Кэрролла пытается вспомнить известные стихи — и что у нее получается?

Как дорожит своим хвостом малютка крокодил!
Урчит и вьется над песком, прилежно пенит Нил!

Как он умело шевелит опрятным коготком!

Как рыбок он благодарит, глотая целиком!

— и это вместо хрестоматийного стихотворения английского поэта и богослова Исаака Уоттса:

Как дорожит любим днем малюточка пчела!

Гудит и вьется над цветком, примерна и мила...

Гл. редактор. Кэрролл тут ни при чем! Ерунда, но тут же все прилично.

Алиса. Почему же ни при чем. Каждый народ ищет близости со своей классикой, пересказывая ее для себя попонятнее. Но все делают это по-разному: англичане при помощи нелепиц, вы — при помощи слов... сами знаете, каких слов. С вашей поэзией происходит нечто обратное тому, что происходит с вашей музыкой: ваши поэты создают стихи, а народ их аранжирует, да еще как! — делая ситуации ярче, драматичнее, сильнее высвечивая сильные чувства. После падения всех ваших коллективных мифов — православного, монархического, коммунистического — у вас, слава Богу, остался еще один коллективный миф, мощно объединяющий весь ваш народ, от бомжа до президента, — сексуальный миф мата. Но это воистину миф сильных чувств! Какие слова скажет русский человек, когда испытывает страсть, ревность, когда сталкивается с изменой, обманом?

Гл. редактор (машинально). Fuck your mother.

Алиса. Вот-вот. Вы тут вспоминали “Черную шаль”. А о чем она?

Гл. редактор. Ну о любви. О ревности.

Алиса. А два непристойных подражания ей, которые я разыскала в архивах, — тоже о любви. В одном случае человек вспоминает светлое прошлое (не всегда же ему быть темным!), а в другом вспоминает, как подло было обмануто его стремление к чистоте и непорочности.

Гл. редактор. Ну это уж чересчур!

Алиса (не слушая). В обоих случаях слова, которые вы называете бранными, идут от полноты чувства. “Е—л без устатку, себя не щадил”, — вот как любит русский народ!...

Гл. редактор. Ну довольно. Откуда вы так хорошо все это знаете?

Алиса. Я живу в общежитии филфака. Русскому меня учили филологи. Рассказать вам стихотворение, по которому я запомнила названия дней недели?

Гл. редактор (обреченно). Расскажите.

Алиса. Ах, ельник мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т в понедельник,
Ах он бездельник!

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник...

Гл. редактор. Спасибо, я уже догадался, чем они занимались в среду и четверг. Раз уж судьба привела вас сюда, то прежде чем вы исчезнете, как мимолетное видение, оставьте мне на память свиданья хоть что-нибудь.

Алиса. Avec plaisir (исчезает).

Гл. редактор (просыпается, напевая). Гляжу на кумачный порой сарафан. Тьфу, приснится же такое! (оторопело смотрит на стол).

Входит Пешков. Подходит к столу, на котором лежат разметанные листы. Махов и Пешков смотрят друг на друга, на листки — и начинают читать.



Стихи, оставленные Алисой

(Отважившись на эту публикацию, редколлегия "Апокрифа" заменила, в духе добрых старых времен, кое-какие буквы прочерками, отступая от этого принципа лишь в тех случаях, когда даже прекрасное знание русского языка и любовной науки не помогло бы читателю понять текст однозначно).

Неизвестные авторы

Два подражания "Черной шали"

Середина XIX века. Центр. гос. архив литературы и искусства, фонд Баркова /N74/, опись I, единицы хранения 5-6.

1. Сарафанчик

Гляжу на кумачный с тоской сарафан
И ром подбавляю я с пуншем в стакан.
Когда я был молод и часто был пьян,
Нередко старался поднять сарафан.
В то время вся прелесть была предо мной,
И я утешал ее лаской взор свой.
Однажды я помню, как будто в саду,
Обнявши красотку, в минуту, в п—ду
Я х-й разъяренный с восторгом посадил
И чувство красотки чрез то усладил.
Я помню, раз десять влезал на нее
И влагой наполнил п—денку ее.
Прошло уж то время, теперь я женат,
И п—ды чужие мне еть не велят.
Гляжу на кумачный с тоской сарафан
И ром подбавляю я с пуншем в стакан

2. Песня

Гляжу я безмолвно на х-й и м—е,
И хладную душу все тянет к п—е,
В счастливые годы, как молод я был,
Е—л без устатку, себя не щадил.
Однажды красотку ко мне привезли,
На мягком диване мы с нею легли.
"Она, сударь, целка", — слуга мне сказал,
Я дал ему денег и дверь указал.
Лишь только он вышел, я стал целовать,
За жопу, за груди, за ляжки хватать.
Едва я увидел прелестный лобок
И мягкий пушистый на нем хохолок,
Все жилки забились, я весь задрожал,
Девчонка прелестна х-й в руки взяла,
Раздвинула ноги, подол подняла.
Я лег на красотку — и только к п—е,
Но кто бы поверил — увяз по муде.
Отчаянье взяло, с нее соскочил,
Схватился за палку и больно прибил.
С досады велел я потом эту блядь,
Разъебши порядком, из дому прогнать.

Мельник

Середина XIX в. Из рукописного сборника, хранящегося в ЦГАЛИ

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т в понедельник,
Ах он бездельник!

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т и в четверг,
Ах он изверг!

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т и во вторник,
Да через распорник.

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т и в пятницу,
Да через задницу.

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т и в среду,
Да только с переду.

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т и в субботу
Всегда он до поту.

О, ельник, мой ельник,
Е—т девку мельник,
Е—т в воскресенье,
Ради спасенья!

Казак

Середина XIX в. Из рукописного сборника /ЦГАЛИ/.

Ходил казак по бережку,
 Просил поеть на денежку,
 Просил, просил — не дает,
 А выпросил — не встает,
 Еб, еб — не зашлось,
 Так и дело разошлось.

Дзюбенков

Прошлое

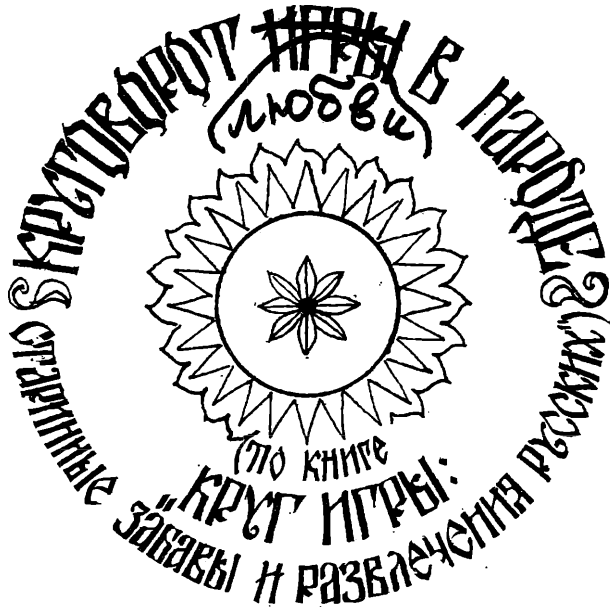
Печатается по списку XIX в., хранящемуся в Рукописном отделе Российской Государственной библиотеки.

Нельзя не вспомнить без улыбки,
 Когда в дни счастья моего
 Все члены тела были гибки
 За исключением одного.

Теперь дни счастья улетели,
 И для несчастья моего
 Все члены тела отвердели
 За исключением одного.

Редакцию посетила Алиса Лайонс.

И.А.Морозов, И.С.Слепцова



В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ ЛЮБОВЬ СО- относилась не столько с интимной стороны жизни, сколько с публичной; она была строго регламентирована и ритуализована. Знакомство, выбор пары, ухаживание — все должно было происходить “на миру”, по устоявшимся канонам, в определенном месте (на беседах, вечерах, посиделках). Участие в посиделках было по сути обязательно, попытки уклониться могли самым серьезным образом повлиять на будущее “нарушителя”, создать ему репутацию социально неполноценного. Хотя игры, пляски и прочие развлечения принято считать уделом молодежи, на вечерах, как правило, присутствовали и представители старшего поколения, и дети. Таким образом, с одной стороны обеспечивалась преемственность традиции, с другой — присутствие детей создавало дополнительные “сдерживающие” моменты, не позволяло участникам собрания слишком отклоняться от этикета.

Для того, чтобы более зримо представить атмосферу деревенских посиделок середины прошлого века, обратимся к очерку “Деревенское веселье в Вологодском уезде” В.Александрова. “Только что станет смеркаться, девушки начинают собираться. Помолвившись Богу и поздоровавшись, садятся они с пряслками на лавки и готовятся прясть. За девушками и старый, и малый — все спешат в избу; и наконец, на лавке, на полатах, на печках — везде народ. Ребятишки, забравшись на полаты и облокотившись на воронец, глядят, как собирается веселье. На печке две-три старухи, перешептываясь, тоже поглядывают на молодежь. В заднем углу и под полатами дремлют старухи за пряслками. Девушки в лучших шерстяных и ситцевых платьях и две в шелковых, с атласными на головах повязками и цветами, — занимают места на передней лавке. Девушки, одетые хуже других, садятся вместе и подальше от хорошо одетых.

Весело и торопливо прядут девушки, умильно поглядывая друг на дружку и ласково перешептываясь. У одних разговоры про наряды, у других про молодцов: придет ли тот? придет ли этот? Третьи поют довольно громко какую-нибудь голосовую песню, которая дает знать, где собирается посиделка.

В избе пока горит лучина; у светца сидит старуха и поправляет ее. Все ждут молодцов, хотя в избе уже есть два-три парня, которые, забравшись подальше в уголок, чтобы не так было их видно, перешептывались с

девушками. Игры еще никакой не заводилось, потому что эти два-три парня или “свои”, то есть той же деревни, или не из бойких.

Наконец стали собираться и настоящие, жданные молодцы. Одни из них бывают даже в сюртуках, с часами; другие же — в суконных сибирках; иные в полушубках. Помолвившись Богу, кланяются они одним поклоном всем в избе и говорят: “Ночевали здорово?” “Свои” молодцы, то есть из одной деревни с девушками, обходятся с ними на “ты”, а “чужие”, то есть из другой деревни и незнакомые, больше говорят “вы” и величают по отчеству. Девушки стараются дать место молодцам около себя, особенно тем, которые представляются им или более бойкими, или богатыми. Красивый молодец, или краснобай, или одетый в сюртук всегда находит себе место около красивых и нарядных девушек. Молодец, равнодушный к девушке, старается сесть около нее, и они начинают перешептываться”.

В некоторых северных деревнях существовал своеобразный обычай гостеприимства: “свои” парни почти не гуляли на посиделках, предоставляя эту привилегию гостям из соседних деревень. Однако порой натура пересиливала этикет, и в таких случаях дело нередко заканчивалось дракой чужаков с местными молодцами. И такая ревнивая реакция последних выглядит психологически вполне оправданной, если учесть, что немалая доля развлечений приходилась на игры и пляски с поцелуями.

Вот описание одной из таких игр “Со вьюном” А.Шустиковым: “Все девицы поют, а одна из них ходит по полу с платком в руке, изображающим “вьюнок”, то есть веночек. Ребята же сидят в противоположной стороне от девиц. Ходящая по полу девица должна положить вьюнок одному из парней на плечо и поцеловать его, когда кончится следующая песня:

Уж я со вьюном хожу, /2 раза/
С золотым хожу;
Я не знаю, куда вьюн положить. /2 раза/
Положу, положу,
Положу я вьюн на правое плечо. /2 раза/
(кладет платок к себе на правое плечо)
Я ко молодцу иду, /2 раза/
Я ко молодцу иду, иду, иду,
Поцелую, да и прочь уйду.

Пропевши это, девица целует парня и передает ему платок, с которым начинает ходить по кругу уже парень. Сидящие же девицы поют ему то же самое, изменяя лишь “ко молодцу иду” на “ко девице иду”. Парень тоже целует какую-нибудь девицу, передает ей платок и т.д. Этой игрой занимаются до тех пор, пока все на беседе не перецелуются”.

Еще одна распространенная поцелуйная игра “Столбушка” сохранилась в записи Н.С.Преображенского:

“В углу начиналась “столбушка”. Она состоит в том, что один из ребят встает в угол и поет: “Я горю, горю, горю, / На калиновом мосту, / Кто меня полюбит, / Тот и выкупит”. Другие подпевают ему, и это пение продолжается до тех пор, пока какая-нибудь сострадательная девушка не подойдет к поющему, поклонится ему, поцелует и станет на его место. Затем опять поцелует и попросит прислать ей какого-нибудь другого парня. В свою очередь вызванный парень подходил к девушке, стоящей в углу, кланялся ей, целовал, становился на ее место, опять целовал и просил прислать другую девушку. Это продолжалось целый вечер” (с.Никольское).

Некоторые новые детали добавляют описания В.Александрова и А.Буслаева: “В посиделочную игру “к столбу ходить” играют так. Парень вызывает (девушку) через кого-либо к столбу, который поддерживает в избе воронец полатей: “Пошли-ка вон ту, Анютку, к столбу на пару слов!” Тот идет и говорит девушке: “Ступай к столбу на пару слов!” Девушка идет: “Зачем изволили звать?” или “Зачем звали?” — “А вот поцелуешь, так скажу!” Девушка целует его, а парень, не выпуская ее из рук, поворачивается так, что девушка оказывается на его месте и в свою очередь целует ее (в д.Брусенец целовались “в крестики”: девушка брала парня за уши и трижды целовала его). Затем они чаще всего разговаривают или, если девушка против, парень спрашивает, кого послать к ней, а она называет или указывает, кого позвать. Иногда посылают не того, кого звали. Тогда над подошедшим насмеются: “Чего тебе надо? Зачем пришла? Нешто тебя звали?” (Вологодский у.). Однако в большинстве случаев, даже если присылали и “нелюбого”, “поцелуйный” ритуал обязательно совершался, хотя, быть может, не сопровождался душевной беседой с глазу на глаз”.

Особую разновидность “столбушки” составляют варианты, когда пары вели душевные разговоры не на глазах присутствующих, а за занавеской, за печкой, в коридоре, в соседней комнате, на мосту. Вот как описывал это один из очевидцев в конце прошлого века: “В избе, в уединенном месте (в кути, за печью, в заднем углу) парень и девушка приветствуют друг друга, называя по имени и по отчеству и подавая руку, целуются, а иногда ведут интимный разговор, продолжающийся неопределенное время. Игрою молодежь чередуется: парень и девушка, каждый, здороваются с двумя желаемыми лицами другого пола. Таких “горюнов” заводится до пятка раз и более”.

Довольно популярной в середине прошлого века была игра “Солдатский набор”. Один из ее вариантов описан Н.С.Преображенским следующим образом:

“Все девушки сели рядом на лавку. Одна из них каждой назначила парня, который должен быть ее “женихом” и которого она должна принять к себе. Это назначение делалось секретно от ребят и они должны были наугад

попадать к той девушке, которой были назначены. Как скоро девушки сели на места, один из парней вышел из группы и подошел к девушке. Если он попал к той, которой был назначен, она вставала, кланялась ему и приглашала сесть к себе на колени. Парень садился. Если же парень не попадал по назначению, то девушка, которой он поклонился, в ответ на поклон вставала и поворачивалась к нему спиной, а затем снова садилась на лавку. Это означало, что парню отказывают, потому что он не нашел своей суженой-ряженой. Так парень должен был идти далее и получал такие ответы на свои низкие поклоны до тех пор, пока не находил той, которой был назначен, и та уже в утешение садила его к себе на колени.

Когда ребята сели к девушкам на колени, был сделан залпом всеобщий звонкий поцелуй. Вслед за поцелуем ребята сошли с девичьих коленей и сами сели на их места, а девушки должны были в свою очередь подходить к женихам, которые на поклоны красавиц отплачивали им тою же монетою. Когда все девушки сели к ребятам на колени, снова раздался поцелуй и “женитьба” кончилась. Весь интерес этой игры заключался в получении отказов”.

А вот описание той же самой игры у В.Александрова.

“Девушки садились на одну лавку, парни — на другую. Из парней выбирали самого ловкого и расторопного — “наборщика”. Он подходил к каждому из парней и спрашивал у них, которая девушка им любя или которую они берут в “солдаты”. Каждый отвечал, причем, если эта девушка уже забрана, наборщик говорил ему об этом, и парень выбирал другую. Опросив всех, наборщик шел к девушкам, брал за руку первую, ближайшую, подводил ее к молодцам, поворачивал раза два перед ними, чтобы показать, хорош ли “солдат”, и приказывал кланяться одному из них. Девушка должна угадать, кто ее выбрал, или которому она нравится, — тому и кланяется. Если угадала — она годится в “солдаты”, и “наборщик” велит им поцеловаться. Поцеловав три раза молодца, девушка садится ему на колени. Затем наборщик обращается к ним, говоря: “Поздоровайтесь!” (то есть “Поцелуйтесь три раза!”). Наборщик следит за поцелуями, и когда молодец и девушка кончат “здороваться”, он опять приказывает им целоваться: “Познакомьтесь теперь!” Так повторяется со всеми. Затем молодцы меняют своих “солдат”. После этого “набирают” девушки”.

Примечательно, что Н.С.Преображенский описывает эту игру под названием “женитьба”.

В целом же название “ЖЕНИТЬБА” объединяло целый комплекс развлечений, игр и хороводов, которые проводились только на святки. Эта игра — “прабабушка” большинства позднейших беседных игр, так как в ней есть практически все элементы, составляющие их основу: выбор пары, побуждение подхлестыванием, перепрыгивание через препятствие как испытание правильности сделанного выбора, хождение парами по комнате и др. Судя по разным зачинам и продолжениям игры (“Олень”, “Ящер”), она формировалась на основе очень разных культурных традиций. Сейчас “женитьбу” не помнит уже почти никто, поэтому приводим здесь несколько описаний, относящихся к концу прошлого века.

“Парни и девушки вечером собираются в одну избу, девушки садятся, двое парней выходят на середину избы, изображая “родителей”. Они обращаются ко всем с предложением сыграть “в женитьбу”. Все соглашаются. “Родители” предлагают парням идти и выбирать себе невест. Парни поодиночке заходят и выбирают себе “невесту”, выводят ее за руку и садятся с ней на лавку.

Когда все пары составятся, “отец” или “мать” подходит к каждой паре, кладет руку девушки на шею парню, а парня — на шею девушки, и спрашивают их: “Люб(а) ли муж (жена)?” Те отвечают: “Если бы не люб(а), то не брал бы (не шла бы)”. Тогда “отец” и “мать” подходят по очереди к каждой паре и, слегка дотрагиваясь до щеки каждого, говорят: “Надо дать молодым по сочню”. Потом, взяв кушак, свивают его и обходят всех, ударяя по колону, приговаривая: “Нате вам по блину”. Потом кушак переходит в руки старшего “зятя”, а от него всем остальным, потом старшей “дочери” и остальным.

Когда все перехлещут друг друга, кушак опять передается “родителям”. После этого “тесть” или “теща” дают лучину старшему “зятю”, который бросает ее на середину пола. Его “жена” встает, подымает ее, кланяется “мужу”, величает его по имени и отчеству и передает ему лучину. Так проделывают по старшинству все парни, а за ними девушки.

После этого “родители” берут друг друга за руку и идут вокруг сидящих, а каждая пара ударяет “стариков” по спине рукой. Потом все пары по старшинству обходят избу и получают удар по спине.

“Старик” и “старуха” садятся посередине избы, гасят огонь и говорят: “Ну, детки, поезжайте за сеном”. Молодежь в это время кто во что горазд. Через несколько минут огонь снова достается. “Старики” подымаются с пола, берут друг друга и кого-нибудь из “детей” за руку, остальные тоже берутся и начинают ходить по избе с песнями. “Женитьба” кончилась, она перешла в “походенки”.

Пляски также часто представляли собой своеобразную поцелуйную игру, поскольку начинались и завершались поцелуем. Так в с. Усть-Алексеево парни приглашали девушек, хлопнув по колону: “Давайте пойдёмте попляшем русского”. В конце пляски целовались. По словам другой бабушки, парень поочередно плясал с тремя девушками, целовал их, а затем девушки приглашали в круг следующего парня. Эта церемония нередко имела свое особенное название — целовка.

Широко был распространен обычай целования на колоне. Например, в д.Костино во время “ланца” парень крутил девушку вокруг оси, затем становился на одно колено, на другое сажал партнершу и целовал ее.

В д.Веретьево “на беседе плясали с наказанием: парень обводит вокруг себя, на одно колено станет, а ты садись на другое и целуешь его”.

В д. Ромашево парень целовал девушку, посаженную к нему на колени, столько раз, “сколько прикажут”. Отказаться от поцелуя для девушки считалось позором.

Особую группу составляли забавы, носящие эротический характер, связанные с карнавальным ряжением и приуроченные чаще всего к святкам. Смерть и воскрешение — древнейшие мотивы новогоднего ряжения, которые занимали важное место во всей драматургии этого святочного действа. И не случайно, несмотря на весьма пестрый состав персонажей-ряженных, существенно различавшийся по районам, “покойник” встречался почти повсеместно, а его забвение и вытеснение произошло на грани веков.

Рядились покойником чаще всего парни или взрослые мужчины, хотя иногда это могла быть “нахальная женщина”, часто одетая в мужское платье. Саван был полупрозрачным или заменялся сетью с тем, чтобы при приближении можно было рассмотреть необходимые подробности.

В некоторых деревнях девушек по очереди подводили к покойнику с завязанными глазами и “заставляли целовать что подставят”. В одних случаях покойника сразу же после “прощания” уносили, в других сценка заканчивалось его “оживанием”: он вскакивал и гонялся по избе за девушками и детьми, ловил их и катал по полу, иногда больно щипал девушек за плечи. В д. Хмелевица вместе с покойником (“голый, в белом во всем”) приносили ведро и веник. Покойник соскакивал с досок и, окунув веник в ведро, обрызгивал всех девушек, что имело явную эротическую символику: “оживший”, полный жизненной энергии покойник стремится передать ее окружающим.

Нередко эротическая идея передачи окружающим жизненной энергии покойника воплощалась в пляске “ожившего” мертвеца: вскочив, покойник старался поцеловаться с девушкой, за которой обычно ухаживал, или которая ему изменила, измазывая ее при этом сажей, а затем плясал с ней. Встречаются свидетельства, что покойник при этом мог быть голым: “Покойника принесут, откроют, а он голый. Тут девки заивкают. Мы его звали миленком. Когда он голый плясать пойдет, то говорит: “Не видали ли медведя с колоколом?” Колоколом называли то, что между ног находится” (д.Тимонинская). Иногда покойник плясал со всеми девушками по очереди или в одиночку. При этом он чаще всего сбрасывал свой “покойницкий” наряд или даже переодевался в обычную одежду в соседней комнате.

Некоторые забавы ряженных явно переступали границы общепринятых представлений о приличии. Видимо, именно их имел в виду Н.С.Преображенский, когда в конце своего очерка об игрище в с.Никольское Кадниковского уезда замечал, что есть такие забавы, которые и описать невозможно. Надо признать, что такого рода сценки действительно не описаны. Вполне естественно поэтому желание заглянуть за плотную завесу таинственности, которая окружает эти “заветные” развлечения, попытаться хотя бы в общих чертах понять причины их возникновения.

То, что большинство забав такого рода мотивированы полузабытыми и стершимися, но некогда жизненно важными для крестьянской общины обрядами, верованиями и мифами, подтверждает, в частности, и приводимая ниже забава “шелк мерить”. Основным смыслом сценки с шелком было наказание нерадивых и ленивых девушек, к которым в более поздний период были присоединены строптивые и “изменницы”. В старину же, очевидно, в первую очередь наказывались ленивые пряжи, на высмеивание которых были направлены многие шутки на посиделках.

Большинство сенок с “наматыванием шелка” разыгрывалось при “прощании” с “покойником”. Эротизм этого персонажа святочного ряжения, постоянное подчеркивание его необыкновенной плодовитости, половой мощи и силы, которая в первую очередь выражалась в гипертрофированных, намеренно выделяемых и подчеркиваемых гениталиях, смеховое их почитание достаточно характерны для любой игровой и карнавальной ситуации, как убедительно показал на западноевропейском материале М.М.Бахтин.

“Покойника на калинике принесут голого. Он лежит, а вокруг пипки нитки наматывают. Девку приведут: “Отмерь себе на платье, да и откуси!” (д.Гридино). В дд.Арганово, Ездунья, Новая Слуда парни сами назначали девкам, сколько четвертей “шелку” следует им отмерить. По свидетельству одной из участниц, “гостью не тронут, своих заставляли. ... Ты вот отмеривай да откусывай у самого кончика. Я вот не боялась — чего тутока. Подумаешь, ничего не пристанет — откусить. Меня не хлестали. А другие упрямятся, так ну-ка ремнем ребята-то и жарят, пока не откусишь нитку.”

Продуктивность сенок с обнажением настолько велика, что, видимо, попавшие в поле нашего зрения являются лишь “вершиной айсберга”. Любопытно, что большинство из них прямо или косвенно связаны с темой покойника. Поэтому особый интерес вызывают розыгрыши, вроде приведенного ниже “вешания шерсти”, где напрямую покойник не упоминается, но зато сама забава развертывается в одном из традиционных мест его пребывания. В данном случае речь идет о потолке и крыше, где по довольно распространенным поверьям обитает и домовый-суседко.

В дд.Ездунья, Подгорная игрища проходили в избе с раздвижным потолком из тесян. “Мужики нагие на потолок-от залезут, на шишке точки намарают, тесяны раздвинут, по пояс ноги спустят и велют девку подвести. Дак от девку притащут и заставляют говорить: “Сколько пудов весит?” (или “Сколько фунтов навешать?”) — девка должна пальцем точки посчитать”.

Идея демонстрации обнаженной природы “для конфузу” воплощалась и в ряде других сенок. Так, например, в д.Фоминская обыгрывалась ситуация мытья в бане. Один из деревенских мужиков, которого все знали как большого шутника (такие склонные к клоунаде и шутловству люди были практически в каждой деревне), придя

на игрище, забирался на печь и там “парился” без штанов, время от времени выставляя на общее обозрение самую видную часть своего тела. “А девок-то ведут: Посмотрите-ка, девки, там ему не жарко ли? А девки-то ухают, большие-то отворачиваются; а мы-то, эти, небольшие, дак мы заглядываем — надо ведь посмотреть!”

В одном из лесопунктов на Верхней Пожеме существовала похожая сценка “солнышко всходит”. В избу входило несколько “чудивок”, один из которых незаметно от публики пробирался на печь (та часть печи, где спали домохадцы, обычно прикрывалась занавеской). Несколько других ряженых, став в ряд, начинали “косить сено” — махать по сторонам длинными палками, норовя задеть ими девушек. Когда суматоха, произведенная ими, начинала понемногу униматься, один из косарей спрашивал: “Эй, ребята, высоко ли солнце?” Все дружно смотрели на печь и кто-нибудь отвечал: “Еще не взшло!” — после чего косари снова с удвоенной энергией принимались за “работу”. Так повторялось несколько раз, пока, наконец, занавеска не приоткрывалась и из-за нее не показывался пятящийся на четвереньках их товарищ, предварительно снявший штаны. Тогда под общий хохот кто-либо из косарей кричал: “Ой, уже солнышко встало, роса из травы выпала. Надо домой идти!”

В д.Матвеево приносили голого мужика в пестере, покрытом красивой тканью (“плащаницей”) — и приглашали девушек подойти поближе и оценить достоинства “плащаницы”, а когда те приближались, сдергивали ткань с пестера. В д.Григоровская “показывали туманные картины” (то есть “кино”) — привозили на санках голого парня, накрытого большим бураком, и приглашали девушек посмотреть “туманные картины”: приподнимали бурак, а под ним “Ванька со свечкой меж ног”.

Для понимания того, как воспринимались эти сценки зрителями народного театра, нужно иметь в виду, что отношение к обнаженному телу в традиционном деревенском быту было лишено пуризма и манерности (достаточно вспомнить о практике совместного мытья мужчин и женщин в бане), что отнюдь не мешало в определенных ситуациях — в данном случае при публичном обнажении мужчины с намеренным подчеркиванием, демонстрацией, подсвечиванием гениталий — испытывать острое чувство неловкости и стыда. Впрочем, как можно догадаться по постоянно повторяющимся деталям в описаниях подобных сценок (“в избях темно было”, “девки плюются, отвернутся” и т.п.), реакция зрителей чаще определялась не самим зрелищем, а скорее этикетными нормами реагирования на него. Естественно, что в деревнях, где придерживались более строгих религиозно-нравственных норм, отношение к сценкам с обнажением было отрицательным, вплоть до полного их запрета. Впрочем, самые строгие запреты и даже административно-судебное преследование их участников появились в начале 30-х годов, когда был взят жесткий курс на уничтожение всего традиционного уклада русской деревни и связанных с ним “пережитков и суеверий”.

МАХОВ. ДОСТОЕВСКИЙ, КАЖЕТСЯ, В “БРАТЬЯХКАРАМАЗОВЫХ” ПО ПОВОДУ АНАЛОГИЧНЫХ РУССКО-НАРОДНЫХ ЗАБАВ ОБРОНИЛ: “НАШИ ДЕРЕВЕНСКИЕ МАРКИЗЫ ДЕ САДЫ”.

ПЕШКОВ. Но никакого садизма здесь нет — один мороз. Если в русской поэзии, по выражению Александра Веселовского о Жуковском, “чувство целомудренно замирает на пороге страсти”, то в русской игре, по моему выражению, “чувственность целомудренно замерзает на пороге совокупления”.

МАХОВ. Да, до этого дело не доходило — холодно. И при этом тесно: как заметил Морозов, на посиделках просто яблоку негде было упасть...

ПЕШКОВ. Какому яблоку?

МАХОВ. Яблоку раздора: община довлеет над интимно-обособленной парой, прибежали в избу дети. Кстати, как же назвать статью Сергея Зинина? Сам он о заглавии не позаботился.

ПЕШКОВ. Например: “апофатический эрос”. Если в России мы наблюдаем невозможность любви из-за сильного мороза, то в Китае — нежелание оной из-за...

МАХОВ. Но вся русская поэзия вопиет о нежелании оной! Через “нет, нет, не должен я, не смею, не могу волнениям любви безумно предаваться” и “о, закрой свои бледные ноги” к “и тебя не любить мне позволь”...

ПЕШКОВ. Вот именно, позволь... хорошо у Анненского!

МАХОВ. Это, как тонко подметила Галя, Мандельштам. А озаглавлена так, Мандельштамом, статья об Анненском, потому что у самого Анненского нет ничего подходящего к статье о нем. Самом.

ПЕШКОВ. Тогда и в Китае вряд ли что найдется для статьи о Китае.

Так что соответственно продолжим
РЯД НЕСООТВЕТСТВИЙ.

“НЕТ, Я НЕ ДОРОЖУ МЯТЕЖНЫМ НАСЛАЖДЕНИЕМ”:

эротика
по-китайски

КРИСТАЛЛ И ПРИЗМА

ПРОПУЩЕННЫЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАПАДНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ОБРАЗ КИТАЙСКОЙ эротики начинает двоиться. Но вопреки законам ньютоновской оптики возникающие изображения не идентичны друг другу, а соотносятся как негатив и позитив. *Одно* из них манит пряным привкусом “шинуазери”, и западное воображение, пробужденное сладким плодом соседней индийской культуры, “Камасутрой”, и возбужденное гаремными сценами “Цзинь пин мэя”, уже готово преклониться перед тайной мудростью далекого седого Китая. *Другое* смущает свободолюбивый и галантный западный дух рабским положением женщины и целомудрием китайского искусства.

Оба изображения неверны, потому что между Западом и Востоком стоит не призма, а скорее магический кристалл, в котором не столько преломляется расположенный за ним объект, сколько всплывают порожденные самим западным сознанием призрачные видения Востока. Задача науки — безжалостно разбить коварное стекло, чтобы истина предстала во всей своей сакральной наготе, которой поклоняется ученый. Возможно, именно этот архетип научного бессознательного ближе всего к месту эротики в китайской культуре.

КЭ и РЭ и ПА

Практически все современные исследования китайской эротики (далее — КЭ) так или иначе восходят к фундаментальной работе голландского синолога Р.Х. ван Гулика (правильнее — Гюлика) “Сексуальная жизнь в древнем Китае” (4), появившейся в 1961 г. Ван Гулик разделил КЭ на три основные сферы проявления в письменной культуре: популярные справочники по сексу; алхимические трактаты, посвященные сексуальной технике; художественная литература (прежде всего минские романы). Первые были распространены среди аристократии и богатых горожан, которые могли содержать более одной жены. Вторые предназначались для адептов эзотерической традиции. Третьи были популярны в городе среди грамотных торговцев. Таким образом, как ван Гулик, так и авторы, чьи работы рассматриваются далее, трактуют прежде всего аспекты элитарной КЭ. Можно только гадать, какие формы принимала КЭ в народной среде, работы на эту тему практически отсутствуют в западной синологии. Однако не приходится сомневаться, что элитарная КЭ оказала большое влияние на восприятие эротики в народной культуре.

Членение КЭ на три сферы не только концептуально, но и исторично. Древнейший текст алхимической традиции — трактат “Хуан тин цзин” (“Канон желтого двора”) — датируется II — III вв. н.э. (13), названия же справочников по сексу зафиксированы уже в разделе “Фан чжун” (“внутренние покои”), одном из четырех разделов по медицине библиографического каталога “И вэнь чжи” при династийной истории “Хань шу”, написанной в I в. н.э. Долгое время сведения об этих справочниках можно было почерпнуть только из медицинской антологии X в. “И-сим-по” (кит. “и синь фан” — “Сердцевинные медицинские методы”), сохранившейся в Японии: сами тексты не уцелели. Реконструкции текстов “и-сим-по” были произведены китайским ученым Е.Дэжуэем в начале XX в. и легли в основу монографии ван Гулика. Однако в ходе раскопок в КНР в 70-х годах в захоронении Мавандуй, относящемся к 168 г. до н.э., были обнаружены подлинные манускрипты на шелке и бамбуковых планках эпохи Хань.

Анализу одного из обнаруженных справочников по сексу посвящена статья Дональда Харпера (Калифорнийский университет, Беркли), содержащая фотокопии текста, его реконструкцию и перевод на английский язык первых глав текста (5).

Сексуальные практики, описываемые в справочниках, являются лишь частью единой дисциплины, называемой “ян шэн” — “вскармливание жизни” (5, с. 539). Помимо них к этой дисциплине относятся дыхательная гимнастика, каллистенические упражнения, диететика. О комплексном восприятии этой дисциплины свидетельствует не только каталог “И вэнь чжи”, где соответствующие разделы медицинского знания являются смежными, но и материалы раскопок. В частности, два мавандуйских сексологических — или, вернее, эротологических³ — трактата “Хэ инь ян” и “Тянь ся чжи дао тань” оказались физически в соседстве — в одной

1 На формирование концепции ван Гулика большое влияние оказал Дж.Нидэм (см. 4, с. XIII), который изложил свои представления о религиозной эротике (далее — РЭ) в выпущенном ранее книге ван Гулика втором томе серии “Наука и цивилизация в Китае” (11).

2 Один даос, с которым Нидэм в 40-х годах обсуждал проблемы КЭ, сказал, что соответствующим предписаниям следуют “более половины мужчин и женщин Сычуани” (11, с. 147). Даже если это преувеличение, такое влияние невозможно отрицать.

3 Такой термин предлагает И.С.Кон (см. Кон И.С. Введение в сексологию. — М., 1989. — С.7.)

шкатулке — вместе с трактатом, где описывается дыхательная гимнастика, диететика и каллистеника “Ши вэнь”, и сборником заклинаний “Цза цзинь фан”, что, по мнению Харпера, предполагает комплексный характер их использования владельцем.

Цель дисциплины “ян шэн” — максимальное продление жизни, что достигается с помощью максимально возможного сохранения собственной субстанции (пневмы “ци”) и ее рафинированной модификации “цзин” (идентифицирующейся с семенем). Можно также впитывать пневму из окружающей среды.

Сохранению и обогащению организма воздушной пневмой “ци” способствовали дыхательные упражнения. Темой же эротологических трактатов было сохранение и обогащение организма семенем “цзин”. Известно, что мужское и женское начала описывались в терминологии ян и инь. Китайцы проводили строгий параллелизм между янским и иньским аспектами человеческого организма. Термин “цзин” относился только к мужскому семени. Все же женские аналоги — китайцы не различали вагинальные секреты и менструальную кровь — попадали под название “сюэ” (кровь), или “ци” (пневма).

Однако креативные функции организма оценивались по-разному: считалось, что жизненный запас мужского семени “цзин” ограничен, количество женской крови “сюэ” неограниченно. Поэтому в рамках дисциплины “ян шэн” перед китайскими мужчинами ставилась особая задача — совершать половой акт (далее ПА) таким образом, чтобы не только не допустить расходования своего жизненного запаса пневмы, но еще и пополнить его за счет женщины.

Гомоморфизм

Отказ от сексуальной жизни вообще был недопустим — не вследствие неприязни к аскетизму как таковому, а из-за космологической концепции, согласно которой сочетание космических сил инь и ян (Земли и Неба)¹ является необходимым условием функционирования космоса. В соответствии с концепцией гомоморфизма макрокосма и микрокосма, столь же необходимым считался и ПА среди людей. Уже это окрашивает представление о ПА в КЭ в религиозный оттенок. Причем такое представление о религиозно-магической функции ПА разделяли все китайцы — не только даосы, но и конфуцианцы. Например, как показал в своей работе Дерк Бодде, основатель конфуцианской ортодоксии Дун Чжуншу (II в. до н.э.) в синтезирующем труде “Чунь цю фань лу” рекомендует в случае стихийных бедствий (засухи или длительного периода ливней) обязывать всех чиновников совершать ПА со своими супругами (или, наоборот, воздерживаться от таковых) в определенное время (см. I). Он же одобрительно отзывается об обычае выставлять в случае засухи на солнце обнаженных шаманок. Именно магическая сила эротизма и обусловила негативное отношение конфуцианцев к нему; здесь невозможно говорить о ханжестве или чувстве греховности. В Китае эротика никогда не воспринималась в своем сексуальном аспекте, как в Европе.

Coitus conservatus и coitus thesauratus

Перед адептами “ян шэн” стояла трудная задача — не отказываясь от сексуальной жизни вообще, не только свести к минимуму потери своей жизненной энергии (vital essence), но еще и пополнить, укрепить ее за счет партнера. Своего максимального значения энергия инь и ян достигала в момент оргазма. Поэтому главной задачей адепта “ян шэн” было доведение женщины до состояния оргазма и похищение в этот момент ее энергии инь². Это уже на ранней стадии развития КЭ заставило разработать целую систему стадий сексуального возбуждения.

Следующей важной задачей было сохранение собственной энергии — прежде всего семени. Эта задача решалась двумя путями. Джозеф Нидэм предлагает два новых термина для обозначения соответствующих способов: coitus conservatus и coitus thesauratus (12, с. 199). Первый способ заключается в предотвращении оргазма адептом посредством прекращения ПА после достижения оргазма партнером. Сразу же после этого адепт мог совершать новый ПА, причем предпочтительно с новым партнером (так как энергия прежнего партнера временно исчерпана). Таких ПА адепт мог совершить за одну ночь различное количество — различные трактаты называют цифры от 10 до 100 ПА. Сразу становится ясным социальный адрес таких руководств — подобное было доступно только богатым людям, имеющим несколько жен или наложниц, либо аристократам.

Второй метод допускает достижение адептом оргазма, однако сохранение своего энергетического запаса достигается путем предотвращения эякуляции. Таким образом, в данном случае проблема передачи энергии

1 Обозначавшееся термином ХЭ — “соединение”, которое в приложении к микрокосму означало ПА.

2 До сих пор ученые спорят, имеется ли в виду похищение материального субстрата энергии инь — крови “сюэ” (и в какой форме это было возможно) либо же речь идет о чисто энергетической форме (для чего необходимо наличие соответствующего представления об энергии как нематериальном феномене, которого в Китае, возможно, и не было).

партнеру рассматривается вполне существенно: как поглощение им семени. Первоначально этого добивались путем пережимания уретры в момент оргазма, так что сперма попадала в мочевой пузырь и впоследствии выводилась из организма вместе с мочой. Затем пришли к мысли, что тот же эффект достигается путем надавливания на точку “пинъи”, находящуюся на груди мужчины. Однако в обоих случаях китайцы проявили определенную “физиологическую слепоту”¹, полагая, что сохраненное таким образом семя попадает в особый спинной канал.

Поэтому второй метод получил в КЭ терминологическое обозначение “хуань цзин бу нао” — “возвращение семени и наполнение мозга” (5 с. 549). Предполагалось, что попавшее в канал семя поднимается (при помощи медитативной техники) по каналу вверх и питает мозг своей энергией. Метод получил полное развитие в даосской алхимии и будет обсуждаться Нидэмом.

Столь сложная техника требовала соответствующего обучения, для чего были созданы эротологические трактаты. Во втором мавандуйском эротологическом трактате “Тянь ся чжи дао тань” дается специальное обоснование: человек от природы способен есть и дышать. И то и другое содействует развитию организма. Вредит же ему воздержание (“сэ”). “По этой причине совершенномудрый при соединении мужского и женского непременно имеет образец” (5, с. 592). Таким образом и был трактат “Хэ инь ян” и вся эротологическая литература в целом.

Учитель и адепт

Мавандуйские трактаты представляют собой промежуточное звено в техническом развитии китайской эротологии от Чжоу до поздней Хань (в них уже есть представление о необходимости сохранения семени, но еще отсутствует второй метод). С точки зрения структуры текста важно отсутствие у них обрамления в виде диалога адепта и его учителя.

Такое обрамление имеют все поздние эротологические трактаты, дошедшие до нас в составе “И-сим-по”. В качестве ученика здесь выступает, как правило, император Хуанди, а его учителем — женщина (придворная дама). Таких женщин в поздних трактатах насчитывается три: Су-ной (“Простая дева”), Сюань-ной (“Темная дева”) и Цай-ной (“Избранная дева”, по контрасту с Су-ной). Они поучают императора, как ему обращаться со своим гаремом, дабы не только не повредить своему здоровью, но и самому превратиться в божество или святого (“сянь”) — не случайно в каталоге “И вэнь чжи” раздел “фан чжун” соседствует с разделом “шэнь сянь”².

Основная метафора, используемая в этих трактатах в отношении ПА, — “битва”. Эта метафора с начала нашей эры становится центральной для всей КЭ, однако в мавандуйских текстах мы ее не встречаем, хотя *locus classicus* возводится к легенде эпохи Чжаньго о великом полководце Сунь-цзы (предполагаемом авторе одноименного трактата), который был мастером не только на поле битвы, но и при “единении инь и ян”. В любом случае терминология поздних эротологических трактатов чрезвычайно близка к терминологии военных трактатов (так что иногда их даже путают, как и трактаты по внутренней алхимии с трактатами по внешней алхимии).

Образ женщины как “агрессивного бойца” находится в резком контрасте с ее положением в китайском обществе, и этот парадокс еще ждет своего разрешения. Активность женщины простиралась и за пределы обучения своих властителей тайнам дисциплины “ян шэн”, вплоть до обращения роли — использования этой техники для достижения собственного бессмертия. В сборнике биографий сяней, принадлежащем кисти Лю Сяна (77 — 76 гг. до н.э.), одна из биографий посвящена некой Нюй Цзи, владелице винной лавки, которой один бессмертный оставил в залог экземпляр трактата “Су шу” (“Книга Су-ной”). Руководствуясь трактатом, Нюй Цзи завлекала в свою лавку молодых людей и похищала их энергию, в результате чего она и через несколько десятков лет выглядела как молодая женщина. В это время возвратился бессмертный, оставивший книгу. Назвав ее поведение “похещением Дао” (4, с. 75), он добавил, что дальнейшее продвижение невозможно без наставника, и они оба вознеслись на Небо.

Таким образом, предлагаемая в эротологических трактатах модель, несмотря на то, что в роли адепта всегда выступает мужчина, вполне обратима, и его место может занять женщина, которая также может достичь бессмертия.

6...

Проводимая ван Гуликом реконструированная структура позднейших эротологических трактатов насчитывает шесть разделов (4, с. 123 — 124). 1. Замечания вводного характера, космологические обоснования необхо-

1 Точно так же, вопреки реальности, натурфилософские концепции принудили китайских медиков говорить о “двух горлах”.

2 Харпер передает этот термин как “divine transcendence” (5, с. 540). Речь идет о техниках превращения в сянь — человека, обретшего бессмертие и ставшего божеством благодаря собственным усилиям. На русский язык часто переводится как святой, маг, бессмертный и т.д.

3 Таким образом, временной промежуток между мавандуйскими трактатами и одним из первых упоминаний об эротологических трактатах как произведениях Су-ной Лю Сяном исчисляется всего 150 годами.

димости сексуальной жизни для гармонизации с жизнью космоса, в форме беседы императора Хуан-ди и его наставника или наставницы — в мавандуйском трактате присутствует лишь в зачаточной форме. 2. Описание предварительных ласк (петтинга) — в мавандуйском трактате представлено в виде путешествия по своеобразной “географической карте”, метафорически представляющей тело женщины. 3. Описание различных позиций при ПА — присутствует в мавандуйском трактате в виде описания десяти поз. 4. Описание терапевтического эффекта ПА — в мавандуйском трактате представлено незначительно. 5. Описание процедур выбора партнера, евгеника, пренатальный уход за ребенком и т.д. 6. Собрание различных рецептов и заклинаний для увеличения эффективности ПА — оба последних раздела практически отсутствуют в мавандуйском трактате.

Западные ассоциации

“Позитивное” и “негативное” представление о КЭ на Западе чаще всего ассоциируется с даосской и конфуцианской традициями. Такое представление об этих традициях отвергается всеми авторами¹. Ван Гулик согласен с общим разделением упомянутых традиций в отношении КЭ, однако указывает, что речь может идти не об утверждении или отрицании какой-либо традиции эротики вообще, а о нюансировке подхода к ней, выделении различных аспектов (4, с. 78). Общность подхода обеих школ основывалась на общности религиозных, космологических представлений, как говорилось выше. Харпер указывает, что в отношении эротологических трактатов вообще нельзя говорить о даосизме, а следует говорить о популярной традиции, более древней, нежели даосская, и более эзотеричной.

Единство подхода этих двух традиций (конфуцианской и популярной — “даосской”) лучше всего проявилось в структуре поздних эротологических трактатов. Популярная традиция, ориентируясь на дисциплину “ян шэн”, ставила задачей общее укрепление здоровья адепта, и средства для этого были изложены в первой половине трактатов. Для конфуцианской традиции на первом месте стояли проблемы евгеники, находившиеся в заключительной части. Помимо космического значения ПА конфуцианцы видели в нем главное средство обеспечения рода мужскими потомками, которые одни могли осуществлять жертвоприношения душам предков². Для них необходимы были методы обеспечения правильного зачатия для получения мужских потомков. Такие методы приводились в специальной главе эротологических трактатов. Как правило, наиболее благоприятным считался третий день после начала менструации³. Таким образом, “различие между двумя школами заключается только в акценте: конфуцианцы подчеркивали роль евгеники и получения (мужского) потомства, даосы подчеркивали роль сексуальной техники для продления жизни и получения эликсира бессмертия” (5, с. 78). Конфуцианцы не препятствовали, но даже способствовали использованию эротологических пособий в быту — во всяком случае, до эпохи Мин они вносились в официальные династийные каталоги литературы.

Секс-бухгалтерия

При всех отличиях двух традиций в отношении КЭ их объединяет одно — религиозная подоплека этого отношения. В случае конфуцианства эта подоплека достаточно очевидна — сексуальная практика является средством поддержания непрерывности ритуала служения предкам. Поэтому в эротологических трактатах специально указывается, что практиками “ян шэн” глава семьи должен заниматься исключительно с наложницами, дабы усилить за счет них свою энергию, а затем, в благоприятное время, обратиться к главной жене, чтобы получить от нее мужского потомка благодаря приобретенной энергии. Поэтому насколько эротичным выглядит описание ПА с наложницами, настолько хладнокровным должен быть ПА с главной женой — он фактически, как пишет ван Гулик, напоминает возвышенный ритуал (которым он, в конечном счете, и является). Всякое проявление эмоций в последнем случае могло повредить здоровью потомства. Составлялись также специальные расписания — сколько ПА должен совершать глава семьи с наложницами, чтобы затем обратиться к главной жене (как правило, раз в месяц). Такого рода секс-бухгалтерия в особенности процветала в императорском гареме.

Менее очевидна религиозная подоплека дисциплины “ян шэн”. Однако учитывая ее развитие в русле популярной религиозной традиции можно с уверенностью сказать, что цели “ян шэн” являются несомненно

1 Существует только расхождение между некоторыми авторами относительно начала усиления пуританизма в конфуцианстве: ван Гулик относит его к эпохе ранней Сун и связывает с возникновением неоконфуцианства. Д.Бодде (2) полагает, что этот процесс начался уже при Тан и связан с буддизмом.

2 Необходимость именно мужских потомков для обеспечения жертвоприношений предкам — также, в сущности, не собственно конфуцианская концепция, а требование, предъявляемое популярной религией еще до конфуцианства и заимствованное им из нее. Таким образом, даосизм и конфуцианство фактически в отношении КЭ демонстрируют поддержку четко осмысленных популярных тенденций популярной религии. — Прим. авт.

3 На четвертый день ПА считался благоприятным для зачатия девочек. Здесь также китайцы оказались в плену нумерологического комплекса, так как в соответствии с современными медицинскими представлениями зачатие в эти дни вообще исключено. — Прим. авт.

религиозными, о чем свидетельствует позднейшее развитие ее идей даосизмом¹.

Воллюст? Never!

Харпер вполне обоснованно заявляет, что не только отсутствие женщин-наставниц в мавандуйских трактатах не позволяет проводить параллели между китайскими эротологическими трактатами и их античными аналогами, но, кроме того, “греческая и римская литература научает людей получению сексуального наслаждения, а не сексуальному совершенствованию в китайском смысле” (5, с.548). Действительно, о наслаждении в китайских трактатах практически не упоминается — говорится лишь о пользе секса для организма. Приведенное выше краткое описание сущности методов “ян шэн” в сексуальной сфере свидетельствует, что речь идет о довольно сложных с психологической точки зрения упражнениях, требующих значительной концентрации воли ради будущего здоровья. Для этого адепт должен отказаться от собственного эротического наслаждения². В этом смысле КЭ может быть скорее охарактеризована как антиэротика (в западном понимании термина), своего рода религиозный аскетизм³.

Следующая проблема, важная для понимания КЭ, — это отношение к женщине. Нидэм и Ван Гулик разделяют тезис о более гуманном отношении к женщине в даосизме (и в популярной традиции), так как здесь признаются их интересы в сексуальной жизни и делается попытка их удовлетворить.

В своей последней статье против этого мнения выступает Бодде (2). В действительности речь идет не столько об удовольствии (воллюсте) женщины, сколько о похищении ее энергии и обеспечении продления собственной жизни партнером-мужчиной⁴. Не может быть и речи о каком-либо уменьшении неравноправия полов в Китае. Женщина всегда выступает для мужчин всего лишь орудием — и тогда, когда он доводит ее до состояния оргазма, дабы похитить ее энергию, и тогда, когда он обращается к ней как к матери своих будущих детей.

Одна надежда — на крестьян. Западные ученые совершенно запутались.

В целом “превалирующим в Китае на протяжении большей части его истории отношением к сексу было отношение репрессивное, пуританское и маскулинное” (2, с.168). В этом, правда, виновато не столько морализирующее конфуцианство, сколько буддизм, послуживший аналогом христианства и придавший половым отношениям привкус греховности. Таким образом, в свете воззрений Бодде, китайская антиэротика получает вполне законченный характер: не только мужчина отказывается от воллюста, но и обесценивается женский воллюст, так как в его основе лежит все тот же мужской эгоизм, что и на Западе. Единственный просвет Бодде видит в бесписьменной демократической среде — среде крестьян, где отношение к женщине, по его мнению, было более человечным, хотя и туда простерло свое влияние конфуцианство.

Статья Бодде является, в сущности, откликом на внимание современной сексологии к КЭ. Предложенная им концепция “мужского эгоизма” не нова, она проистекает из выдвинутой в 50-е годы ван Гуликом концепции “сексуального вампиризма” (6, с.ХІІІ). Однако сам ван Гулик под влиянием Нидэма отказался от чрезмерно узкой трактовки основных идей эротологических пособий и даосских трактатов и пришел к выводу, что, несмотря на возможность “вампирической” интерпретации идей КЭ, все же даосизм предлагает более гуманистический подход к женщине, нежели конфуцианство (в этом с ним согласен и Бодде). В своей монографии, вышедшей задолго до статьи Бодде, ван Гулик даже указал на существование некоторых трактатов, которые преодолевают концепцию “похищения энергии” и предлагают обоюдывыгодный для партнеров вариант интерпретации ПА. Сам термин Бодде (“мужской эгоизм” вместо “сексуального вампиризма”), заимствованный из феминистской литературы, свидетельствует о смешении им концепции эротологической литературы и бытовых представлений о женщине (о которых еще мало что известно в научном плане). В результате в сексологическом отношении устоявшийся западный термин оказался наполненным прямо противоположным содержанием.

Прямо по курсу — даосизм!

Если обусловившую развитие популярных и конфуцианских представлений о КЭ в эротологических трактатах религиозную идею приходится вскрывать, то в даосских сексологических трактатах она лежит на поверхности. Логически даосские идеи являются развитием идей популярной традиции (в терминах Джокима,

1 Подробнее см. наш обзор: Зинян С.В. Современные западные исследования религиозной культуры Китая // Культурные традиции и современность / ИНИОН. — М., 1989. — с.88-123.

2 Или, как терминологически определяет его И.С.Кон, воллюста (см. Кон И.С. Введение в сексологию. — с.319).

3 Заметим, что аналогичные традиции имелись и в западной культуре, однако не нашли широкого распространения.

4 К сожалению, и Бодде не проясняет злободневного вопроса о том, в какой все-таки форме похищалась энергия — субстанциальной или энергетической. Судя по использованию им термина power вместо харперовского essence он склоняется к последней версии.

переходом из сферы “малой традиции” в сферу “великой традиции”) в даосской идеологии, в результате чего раскрылся их религиозный потенциал. О филиации даосских идей из популярной религии косвенно свидетельствует и временное опережение популярными текстами даосских. В то же время необходимо заметить, что характерная для этой области КЭ терминология впервые текстуально фиксируется в даосских трактатах “Чжуан-цзы” и “Дао дэ цзин”, т.е. IV-III вв. до н.э., что является более ранней датой, нежели мавандуйские тексты (Пв. до н.э.). Харпер, правда, полагает, что описываемые в последних практики восходят к эпохе Чунью. Вероятно, дальнейшие археологические изыскания помогут разрешить проблему приоритета.

Даосская религиозная эротика имеет два аспекта — алхимический и ритуальный. В настоящее время более полно исследован первый аспект. Начало здесь было положено Анри Масперо (8) и ван Гуликом (4). Одновременно начал разработку этой темы Нидэм, но основные тома его серии, посвященные проблемам алхимии, вышли уже после монографии Натана Сивина (14), которая органически вошла, вместе с работами Лу Гуэйчжень, в состав серии Нидэма (в особенности в рассматриваемый нами подробно том (12)).

Макробиотика — алхимия внутри нас

В целом китайская алхимия делится Нидэмом на три части: аурифакция (златоделие), аурификция (златоуподобление), макробиотика. Последний термин сконструирован Нидэмом из греческих “макрос” — “увеличивать” и “биос” — “жизнь”, т.е. макробиотика занимается проблемами увеличения продолжительности жизни — лучше до бесконечности (в отличие от близкой ей дисциплины “ян шэн”, стремящейся только к достижению здоровья и долголетия).

Главной проблемой макробиотики является изготовление эликсира бессмертия. Но таких эликсиров может быть немало. В самой китайской традиции алхимические практики делятся на два раздела: “внешний эликсир” (“вай дань”) и “внутренний эликсир” (“нэй дань”). Также принято передавать эти термины как “внутренняя алхимия” и “внешняя алхимия”. В западной литературе внешнюю алхимию принято также называть (неорганической) лабораторной алхимией. Внутреннюю алхимию Нидэм предлагает называть протофизиологической или физиологической алхимией, а Сивин — парафизиологической алхимией.

Нас интересует та часть макробиотики, которая подпадает под классификацию “нэй дань”, так как в ней ставилась задача достижения бессмертия не путем принятия различных снадобий, а посредством создания эликсира бессмертия внутри тела, воздействуя соответствующим образом на физиологические процессы организма: тело адепта становилось в этом случае огромной ретортой, в которой приготавлился эликсир.

В этом смысле китайская внутренняя алхимия принципиально отличается, указывает Нидэм, от ее западных аналогов. На Западе также существовало разделение алхимии на лабораторную (“металлургическую”) и внутреннюю (“духовную”). Если китайская и западная лабораторные алхимии имеют много общего, то китайская физиологическая алхимия, в отличие от западных спиритуалистических традиций, стремится к телесному бессмертию. “Китайский адепт “внутреннего эликсира”... полагал, что, воздействуя на собственное тело определенным образом, он с его помощью может приготовить физиологическое средство для достижения долголетия и даже бессмертия (материального бессмертия, ибо никакое другое недостижимо)” (12, с.23).

Энхимома

Поэтому для определения физиологического аналога эликсира лабораторной алхимии Нидэм конструирует термин “энхимома” (из “эн” — внутри, и “химос” — сок). Создание специальной терминологии необходимо для различения китайской и западной терминологии: в обеих есть, например, “истинная ртуть”, однако в “духовной алхимии” под ней понимается возникающая в ходе медитации сущность, а в физиологической алхимии — физиологический секрет.

В состав средств внутренней алхимии входили: 1) телесная и психическая гигиена; 2) дыхательная гимнастика; 3) управление циркуляцией пневмы “ци”; 4) массаж; 5) консервация продуктов жизнедеятельности организма (например, сглатывание слюны); 6) сексуальная техника; 7) медитация, транс, экстаз; 8) диететика; 9) принятие эликсиров; 10) солнечная и лунная терапия.

Назад в ...

Основополагающей в физиологической алхимии является концепция “обращения”, “движения вспять” — “ни”. Примененная к процессу старения, она привела к тому, что идеалом внутренней алхимии стало возвращение к состоянию младенца, эмбриона. Нидэм убежден, что этот идеал не имеет ничего общего с архетипической концепцией *regressus ad utero*, напоминает, скорее, идеал современной медицины, которая, не веруя в

1 Мы упоминаем только теоретические исследования. Существуют еще многочисленные переводы, далеко не все из них надежны в силу неотреботанности теории.

телесное бессмертие, стремится (как и прототип алхимии “ян шэн”) к максимальному продлению жизни, перенося ее потенциальный предел все далее и далее. Возлагая ответственность за продолжительность жизни на самого человека, внутренняя алхимия косвенным образом отвергает концепцию судьбы (“мин”), присущую китайской культуре.

Вождеденное состояние эмбриона характеризовалось понятием “трех жизненных начал” или “жизненного ресурса” (“сань юань”, или “сань чжэнь”). До появления на свет состояние организма (эмбриона) определялось термином “сянь тянь” (“внеприродное”). Переломным моментом в жизни человека становилось появление на свет — после этого состояния организма определялась как “хоу тянь” (“природное”). В этот момент три жизненных начала — “юань ци”, “юань цзин”, “юань шэнь” (“изначальная пневма”, “изначальная семя” и “изначальный дух”) — превращались соответственно в дыхательную пневму, расходуемую в процессе неправильного дыхания, в сперму, расходуемую в процессе неправильной половой жизни, в психическую энергию, расходуемую в процессе стрессов. Первое начало ассоциировалось с сердцем, второе — с телом, третье — с сознанием или духом. Исчерпание любого из запасов вело к летальному исходу.

Поэтому человеческое тело в физиологической алхимии представлялось функциональной системой областей “дань тянь” или “областей жизненного тела”. Первая область, соответствующая “цзин”, располагается в районе поясницы, вторая область, соответствующая “ци”, — в районе груди, третья область, соответствующая “шэнь”, — приблизительно между бровей.

Процесс возвращения к состоянию эмбриона, т.е. выработки внутри тела энхимомы, описывался в терминах триграмм (“гуа”) — фигур — “И цзина” и их линий (“яо”). В эмбриональном состоянии “сянь тянь” соотношение сил инь-ян в организме характеризовалось триграммами Кунь $\equiv \equiv \equiv$ и Цян $\equiv \equiv \equiv$. После рождения, в состоянии “хоу тянь”, триграмма Кунь теряла одну из прерывных линий и превращалась в триграмму Кань $\equiv \equiv \equiv$ а триграмма Цян — соответственно в триграмму Ли $\equiv \equiv \equiv$. Ставилась задача восстановления состояния “сянь тянь”: перемещения линии ян из триграммы Кань в триграмму Ли и наоборот, тем самым восстанавливался статус кво. Процесс восстановления состоял из девяти этапов (циклов), соответствующих девяти циклам лабораторной алхимии. Полная цепочка восстановления была такова: (элемент) вода-слизона-кровь-семя-мозг-цишэнь. Течение процесса контролировалось при помощи медитативной интроспекции “гуань”.

ПА — ТОЛЬКО ПОВОД.

К прерогативе сексуальной практики относилось звено этой цепочки “семя — мозг”. В этом смысле даосизм разработал до совершенства концепцию “возвращения семени” и питания им мозга, перенял у популярных практик методы хладнокровного управления ПА, так, чтобы в его ходе происходило “вскармливание инь и ян друг другом” (12, с.191). Это указание на взаимность принципиально важно для решения описанного выше спора о “сексуальном вампиризме”. Ван Гулик приводит выдержки из текста, где описывается такой тип ПА, при котором не только мужчина, но и женщина не достигает оргазма. ПА является только поводом к активизации “цзин” и “ци” у мужчины и женщины. Когда же они активизировались, то адепты, не достигая оргазма, направляют материализовавшуюся энергию в нижнее поле, после чего начинается возгонка ее по спинальной колонне в мозг, вернее, во “дворец Нирваны” “нихуань”, где происходит трансформация в дух и далее формирование энхимомы (4, с.199).

Другое дело, что даосские трактаты в силу социальных условий традиционного общества обращались прежде всего к мужчине, что давало повод для соответствующих интерпретаций, против которых выступали уже некоторые представители самих даосских кругов, не дожидаясь западных синологов.

Монах на четверых

Полярной альтернативой гармоничного контакта адептов — а адепты, как ясно из вышеназванного и истории Нюй Цзи, могли быть и женского рода — являлась их битва. Речь идет о реализации в художественном сознании архетипа битвы — ПА в приложении к даосским адептам. В позднеминском романе “Чань чжень хоуши” (“Поздние истории об истинном пути”) есть эпизод, в котором буддийский (sic!) монах соблазняет четырех жен пожилого чиновника с целью поглощения их энергии инь. Одна из жен, мобилизовав свои познания в даосской технике, вступает с ним в сватку, однако терпит поражение и умирает от перевозбуждения. При этом она

1 Здесь виднее правота Сивина, предлагающего термин “парафизиологическая”, так как анатомически многим функциональным органам ничего не соответствует. — Прим. авт.

2 При этом меняется характер триграмм на противоположный. Эти триграммы стали символами, обозначающими мужского и женского агентов в процессе алхимического ПА при иллюстрации его в даосских трактатах. Такими же символами является изображение зеленого дракона (мужское начало) и белого тигра (женское начало). Если изображаются мужчина и женщина, то мужчина изображается белым цветом (цвет семени), а женщина — красным (цвет ова), в основном на эротических гравюрах. Также с мужчиной ассоциировался свинец, а с женщиной — киноварь (те же причины). ПА символически изображался в виде смешивания этих алхимических ингредиентов с целью выплавления эликсира.

ориентируется на фабулу встроенной новеллы о состязании даосского монаха и монахини. В этой истории атакующей стороной выступает монах, монахиня же, сконцентрировав силу воли, “задержала дыхание, закрыла глаза и сжала зубы. Она была подобна сухому дереву и потухшим углям” (9, с.237) — старалась сохранить спокойствие. Когда же монах истощил свои силы, то она перешла в нападение и заставила его эякулировать: таким образом, женщина оказалась сильнее.

Как указывает ван Гулик, упомянутая выше почти полная тождественность военных и эротологических трактатов не случайна: в их основе лежат две общие идеи: 1) сначала полководец (или адепт) должен поддаться противнику, создать впечатление своей слабости; 2) после дезориентации противника его необходимо разгромить, используя его же собственные силы. Та же концепция легла в основу дзюдо и других боевых искусств.

Катастрофический секс

В свете этих популярных альтернатив гармонического и антагонического даосского соединения, антиэротичность КЭ находит полное выражение: такого рода секс иначе как катастрофичным не назовешь.

Видимо, даосы также понимали бесперспективность их подхода к половым отношениям, так как стремились вообще освободиться от необходимости общения с женщинами. Эту тему освещает в своей монографии Джон Лагеруэй (7). “Мужчина обладает потенцией”, и простейшее определение даосизма — это “религия, которая научает, как вскармливать и совершенствовать потенцию”, — пишет автор (7, с.6). Даосский святой, “подлинный человек” — “чжэнь жэнь” — это человек, являющийся воплощением чистой потенции.

Зачатком такого совершенства обладает каждый человек: это его запас “юань ци”, находящийся между почками в “море ци” (“ци хай”).

Для достижения совершенства необходимо стремиться к идеалу младенца, ибо уже в “Дао дэ цзине” сказано: “Младенец обладает высшей степенью вирильности” (7, с.7), так как он обладает максимальным запасом семени. В результате “его мужской орган возбуждается” без всякой внешней причины. Эта ассоциация потенций с эрекцией естественна, а в контексте даосизма — фундаментальна. Каждый человек имеет перед собой выбор: растратить ли свой изначальный запас семени для рождения детей или в поисках наслаждения либо же совершенствовать его для достижения абсолютной потенции. При этом он должен пройти полный цикл “возвращения” к истокам: совершенный человек “не имеет более полового органа, который способен к спонтанной эрекции, как у младенца мужского пола; напротив, его орган атрофирован. Вместо фаллоса поры младенчества у него образуется выпуклый лоб, голова бессмертного” (7, с.7) — таким образом, речь идет не о буквальном регрессе.

В процессе такого превращения происходит не только достижение состояния младенца², но и интериоризация женского начала, так как оно необходимо для копирования структуры космоса, в условиях, когда контакт с женщинами запрещен. Поэтому атрофирование признака пола означает не столько бесполость адепта, а скорее его двуполость, актуализацию в себе женского начала³. И это означает, что адепт продолжает жить половой жизнью, но эта жизнь интериоризована, и при этом она гораздо более активна, чем у простых людей. Один даосский адепт на попытку соблазнить его ответил, что его не интересует ПА с женщиной, так как он постоянно совершает множество ПА внутри себя.

Надо полагать, что такое состояние двуполости представляет собой серединную, “нулевую” точку даосской религиозной эротики между теми полярными альтернативами, которые были приведены выше. Эта нулевая точка была теоретически доступна и для женщин — в китайской ментальности не существовало жестких границ между полами⁴ и возможно было превращение женщины в мужчину.

Описанные практики, несомненно, напомнят читателю тантрические упражнения. Проблема генезиса внутренней алхимии и ее связи с тантризмом и йогой занимает многих исследователей. В свое время Г.Г.Дабс (3) выдвинул гипотезу о китайском происхождении алхимии вообще. Затем ван Гулик выдвинул гипотезу о происхождении концепции бессмертия в Китае, после чего она была транслирована (скорее всего китайскими монахами) в Индию, там повлияла на возникновение тантризма (а затем и шактизма) и вернулась в Китай — об этом свидетельствует буддийское название “ни-хуань”, означающее “нирвану” и бессмысленное в ином значении, а также символика цветов для мужского и женского начала на некоторых гравюрах — желтый и синий. Нидэм отрицает обе эти гипотезы и помещает предполагаемый источник алхимии в древний Вавилон. Важно, что никто из ученых не ставит под сомнение автохтонность происхождения сексуальных практик даосизма (т.е. что они не заимствованы из Индии).

1 Т.е. конечные пункты не совпадают. Концепция Лагеруэя вполне объясняет выпуклые лбы даосских совершенномудрых и младенцев в китайской иконографии.

2 Кстати, сам эликсир-эпихима, “золотой зародыш”, представлялся образно как младенец или мальчик.

3 Этим объясняются многие “женские” элементы в одежде и поведении даосских священников. См. подробнее: Торчинов Е.А. Даосское учение о “женственном” // Народы Азии и Африки. — М., 1982. — № 6. — С.99 — 107.

4 Этот момент обыгрывается во многих китайских новеллах.

Ритуалы. Оргии

Помимо даосской эротики в контексте внутренней алхимии необходимо рассмотреть и роль эротизма в даосской литургии. Этот вопрос еще мало исследован в западной синологии. Существуют давние обвинения (преимущественно буддистами, а не конфуцианцами) даосов в устройстве сектами сексуальных оргий. Эти обвинения в адрес даосской церкви, видимо, несправедливы. Однако они вполне могут подтвердиться в отношении сектантской практики, в особенности в период становления секты. О практике промискуитета в такого рода сектах свидетельствует ван Гулик, основываясь на материалах китайской прессы 40-х годов нашего столетия. Сьюзан Накцин в книге об истории возникновения и развития синкретической секты Ван Линя (10) свидетельствует, что глава секты вступал в половые связи практически со всеми неопитами женского пола и организовал себе нечто вроде гарема. Видимо, сексуальная связь с Ван Линем была для них своеобразным способом инициации.

О том, что в даосизме существовали инициации, требование совершения публичного полового акта, свидетельствует один из текстов по даосской литургии периода Лючао, описанный Марком Калиновски (6). Калиновски изучал историю трансляции нумерологической схемы “цзю гун” — “девять дворцов”, представляющей разновидность магического квадрата и обладающей статусом сакральности в китайской религии. В одном из трактатов, описывалась разновидность литургии, в процессе которой пара иницируемых должна совершить ритуальный ПА, имитирующий, разумеется, космический акт. При этом части тела иницируемых размечались как части магического квадрата (существуют его антропоморфизованные версии) и ПА происходил в соответствии с чтением священником магических формул литургии. Эта тема пока еще не получила должного освещения в западной литературе.

Все вышесказанное позволяет нам подтвердить тезис о преимущественно религиозном характере КЭ. Он обусловлен свойственным традиционной китайской культуре представлением о человеке. Для всех китайских мыслителей сексуальные потребности человека ассоциировались с животным началом в нем. Они признавали необходимость их удовлетворения, стремясь ввести их в рамки религиозной культуры, где бы преодолевался их животный характер. На практике это означало придание им сотериологического характера. Но реализация этого принципа была разной у двух основных течений в китайской мысли: конфуцианства и даосизма. Конфуцианство использовало их для поддержания бессмертия рода и сводило сексуальные отношения к евгенике. Даосизм, где ставились задачи личностного спасения, сделал из них средство достижения бессмертия. Так же трактовались они в популярном представлении о бессмертии — долголетии. Все эти традиции породили обширную литературу, дошедшую до нас лишь частично.

Религиозная эротика известна и на Западе. Однако в западной культуре произошла секуляризация эротики, что связано с выработкой новой концепции личности — индивидуализацией. В ее ходе, в частности, произошло признание сексуальных прав женщины, именно личностных прав, а не чисто физиологических (последние были признаны в Китае еще на рубеже нашей эры). Западной культуре удалось создать личностное измерение эротики, не обращаясь к помощи религии, в этом смысле ее путь качественно отличен от китайского. В современной западной культуре секс стал одной из центральных ценностей. Это, как и в Китае, было связано с развитием противозачаточных средств, чтобы отделить эотику от задач продления рода. Но в отличие от даосизма эротика рассматривается как самоценное наслаждение, имеет чисто гедонистический характер — это не средство достижения бессмертия. Одна из ее главных ценностей — одновременный оргазм — диаметрально противоположна любому аспекту КЭ. В свете вышесказанного нам представляется необходимым четкое разделение религиозной и секулярной эротики, так как практически во всех своих феноменах религиозная эротика по отношению к секулярной может рассматриваться как антиэротика, связанная скорее с чувственным дискомфортом, чем с наслаждением.

Здесь мы не ставим вопроса о роли религиозной эротики в судьбе китайской культуры в новое время. Однако стоит все же согласиться с Бодде, который полагает, что сексуальная эмансипация, религиозный плюрализм, политическая демократия, возникновение современной науки —
**“все вместе являются элементами единого комплекса,
 КОТОРЫЙ МЫ НАЗЫВАЕМ “СВОБОДА” (2, с.168).**

Список литературы

1. Bodde D. *Essays on Chinese civilization* / Ed. a. introd. by LeBlanc C., Borei D. — Princeton: Princeton univ. press, 1981. — 454 p.
2. Bodde D. *Sex in Chinese civilisation* // Proc. of the American philos. soc. — Philadelphia, 1985. — Vol. 129. N 2. — P. 161-172.
3. Dubs H.H. *Hsuntze: The moulder of ancient confucianism*. — L.: Probstain, 1927. — XXX, 308 p.
4. Gulik R.H. van. *Sexual life in ancient China: A preliminary survey of Chin. sex a. soc. from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D.* — Leiden: Brill, 1961. — 392 p.
5. Harper D. *The sexual arts of ancient China as described in a manuscript of the second century B.C.* // Harvard j. of Asiatic studies. — Cambridge (Mass.), 1987. — Vol.47. N 2 — P.539- 593.
6. Kallinowski M. *On the transmission of the Nine Palaces under the Six Dynasties: (Summary)*. — Berkeley (Cal.): California univ. press, 1983. — 16 p.
7. Lagerwey J. *Taoist ritual in Chinese society and history*. — N.Y.: Macmillan publishing co.; L., 1987. — XVIII, 359 p.
8. Maspero H. *Le Taoism et les religions chinoises*. — P., 1971. — 278 p.

9. McMahon K. Eroticism in late Ming, early Qing fiction: The beautiful realm and the sexual battlefield // T'oung Pao. Leiden, 1987. — Vol.73. N 4/5. — P.217-264.
10. Naquin S. Shantung rebellion: The Wang Lin uprising of 1774. — New Haven; L.: Yale univ. press, 1981. — 228 p.
11. Needham J. Science and civilisation in China. — Cambridge: univ. press, 1956. — Vpl.2. — XXII, 696 p.
12. Needham J. Science and civilisation in China. — Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 1980. — Vol.5, Pt.5 — XXXIII, 574 p.
13. Schipper K. Concordance du Houang-t'ing king: Nei-king et Wei-king. — P., 1975. — 184 p.
14. Sivin N. Chinese alchemy: Preliminary studies. — Cambridge (Mass.): Harvard univ press, 1968. — XXIV, 339 p. 10. Naquin S. Shantung rebellion: The Wang Lin uprising of 1774. — New Haven; L.: Yale univ. press, 1981. — 228 p.

ВСЕОБЪЕМЛЯЮЩИЕ ДИСКУССИИ В ЗАЛЕ БЕЛОГО ТИГРА

ГЛАВА 40. БРАК

Ч.235. Общий смысл брака.

Почему брак присущ образу жизни человека? Потому, что среди эмоций и инстинктов нет более важных, /чем те, которые существуют между/ мужчиной и женщиной. В отношениях между мужчиной и женщиной, являющихся началом отношений между людьми, нет ничего /важнее/ отношений между мужем и женой. В “И цзине” сказано: “Когда взаимодействуют порождающие силы Неба и Земли, возникают десять тысяч вещей, когда семья мужчины и женщины смешивается, возникают десять тысяч существ”². Человек призван помогать Небу и Земле в поддержании движения сил инь и ян³. Поэтому создан институт брака, дабы выразить человеческие отношения и увеличить потомство человека. В “Ли бао фу цзи” сказано: “Тот, кто предусмотрителен в устройстве брака сына или дочери, всегда выбирает /пару/ в семье, где уважение к людям и правильные принципы соблюдались в течение поколений”⁴.

Почему, в соответствии с ритуалом, мужчина берет жену /в дом/, в то время как женщина покидает /свой/ дом? Потому, что /категория/ инь, /к которой относится женщина/, низка, и не должно ей проявлять инициативу; это приличествует ян, дабы порядок был заверщен. Поэтому в “Чжуань” сказано: “Ян ведет, инь следует; мужчина идет /вперед/, женщина следует /за ним/”⁵.

Ч.236. Не женятся по собственной инициативе.

Почему ни мужчина, ни женщина не вступают в брак по собственной инициативе, но брак организуется родителями и устраивается через сваху? Чтобы уберечься от стыда и избежать разврата. В “Ши” сказано: “Как мы должны брать жену? Сначала мы должны оповестить наших родителей”⁶. Также сказано: “Как мы должны брать жену? Без свахи это невозможно”.

Ч.237. Время вступления в брак.

Почему мужчина женится в 30 лет, в то время как женщина выходит замуж в 20 лет?⁷ Числа ян четные, числа инь нечетные. Почему мужчина /женится/ в более позднем возрасте, чем женщина? /Потому что/ путь ян медленней, путь инь быстрее. К тридцати годам жилы и кости мужчины тверды и сильны, и он готов стать отцом; к двадцати годам плоть и мускулы женщины полностью сформировались и она готова стать матерью. Совместно они образуют число 50, соответствующее числу “Великого предела”⁸, который зачинает десять тысяч вещей. Поэтому в “Ли нэй цзэ” сказано: “К тридцати годам мужчина становится взрослым и способен вести хозяйство; к двадцати годам женщина считается взрослой и выдается замуж”⁹. Семь — это янское число годового цикла, восемь, — иньское число годового цикла. Семь и восемь дают пятнадцать; сложенные вместе числа инь и ян образуют целое, отсюда взаимное стремление к браку. Поэтому в “Ли цзи” сказано: “Девушка помолвлена к 15 годам, когда она получает заколку для волос и /взрослое/ имя”¹⁰. В ритуале говорится о заколке для волос¹⁰, /тем самым указывается, что/ инь связывается с ян, тем самым /отмечается, что/ наступил период, когда она /предназначена/ исключительно для одного /мужчины/. Ян, будучи выше /инь/, не нуждается в связывании. Ян движется медленней, инь движется быстрее. 30 отмечает три периода, это нечетная мера ян, 20 отмечает два периода /по десять лет/, это четная мера инь. Ян достигает “малого совершенства” в инь, “великого совершенства” в ян, поэтому /над мужчиной производится обряд/ возложения шапки¹¹ в двадцать лет и он женится в 30 лет. Инь достигает “малого совершенства” в ян, “великого совершенства” в инь, поэтому /женщина/ получает шпильку в 15 лет, а выдается замуж в 20 лет.

Есть и такое мнение: “В 25 лет сердце мужчины привязывается к женщине, потому что это момент, когда ян подходит к инь”. В “Чунь цю гу лян чжуань” сказано: “К 25 годам мужчина привязывается сердцем /к женщине/, к 15 годам женщина помолвлена. /Таково/ влияние /взаимодействия/ инь и ян”¹². Число ян семь, число инь — восемь. К восьми годам мальчик теряет /молочные/ зубы, к семи годам девочка теряет /молочные/ зубы. /Но/ число ян — нечетное, поэтому это тройка. Трижды восемь — это 24, плюс один — 25, /поэтому/ к 25 годам мужчина привязывается сердцем. Число инь /должно быть/ четным, отсюда двойка. Женщина достигает половой зрелости в четырнадцать лет, плюс один — получается 15; поэтому в 15 лет она помолвлена. В каждом

случае добавляется единица, указывая на то, что оба связывают сердца исключительно с одним /человеком/. Почему здесь /говорится и имеет место/ связывание сердца? Для того, чтобы избежать разврата.

Ч.238. Преподносимые подарки и слова, которыми обмениваются, когда закончены предварительные переговоры и посылается первый подарок в знак сделанного выбора.

/Согласно/ ритуалу, когда девушке исполняется 15 лет, происходит помолвка. /Когда отец жениха/ посылает /первый подарок, которым подтверждает/ свой выбор, когда он спрашивает об имени /девушки/, когда сообщается новость о благоприятном исходе гадания¹³, когда он запрашивает о времени /свадебной церемонии/, и при встрече /невесты женихом/ лично, /во всех этих пяти случаях/ в качестве подарка используется гусь. В качестве подарка при завершении /предварительных переговоров/ используется черный и красный шелк, а не гусь.

Использование гуся в качестве подарка символизирует /его миграцию на/ юг и /возвращение на/ север, /в точном соответствии/ с чередованием сезонов и /обязательном соблюдении/ правильного момента времени: он означает, что девушка не выдается раньше времени. Гусь — это птица, которая следует за /солнцем/ ян, как и долг жены заключается в следовании за мужем. В этих случаях используется гусь, так как /эти птицы/ образуют /правильные/ ряды в полете и цепочки на отдыхе, так же как при брачной церемонии старые и молодые занимают свои места и не нарушают чужие /позиции/. Так как согласно правилам брачной церемонии мертвый фазан не может использоваться, то предлагается гусь.

В качестве подарка при завершении /предварительных переговоров/ преподносится сверток черного и красного шелка и ли-пи¹⁴. Черный шелк, три рулона /по две штуки/, как символ Неба, красный шелк, два рулона /по две штуки/, как символ Земли, так как число ян нечетно, а число инь четно¹⁵: так демонстрируется, что природа ян выше /инь/. Ли-пи — две /оленьи/ шкуры, которыми покрывается зал. Покрывание зала совершается четным /количеством шкур/. В “Ли хунь цзин” сказано: “При посылке /первого подарка/, подтверждающего выбор, при узнавании имени девушки, при объявлении результата гадания, при выяснении времени церемонии и при встрече лично /невесты/, при всех /этих пяти случаях/ в качестве подарка используется гусь. В качестве подарка при завершении /предварительных переговоров/ сверток черного и красного шелка и две /оленьи/ шкуры используются”¹⁶.

Слова вестника при поднесении подарка в знак завершения /предварительных переговоров/ таковы: “Ваша честь выразила возвышенное стремление предоставить жену /сыну моего хозяина/ такого-то. Такой-то, в соответствии с обычаями древних, /посылает/ две /оленьи/ шкуры и сверток шелка. Он приказал мне, такому-то, просить вас принять эти дары”. Первое “такой-то” означает имя жениха, второе “такой-то” означает имя отца жениха, третье “такой-то” означает имя посланника. Отец девушки отвечает: “Его честь, в соответствии с древними правилами, оказал честь /мне/ такому-то, его ценным подарком, /который я/, такой-то, не осмеливаюсь отвергнуть. Как я могу посметь не ответить его просьбе?”

Слова /посланника/ при поднесении /первого подарка подтверждающего/ выбор таковы: “Ваша честь столь великодушна, что предоставляет жену /сыну моего хозяина/ такому-то. Такой-то, в соответствии с обычаями предков, посылает меня, такого-то, предложить вам принять эти дары”. Ответ таков: “Дочь /моя/, такого-то, некрасива и глупа, к тому же неучена. /Но так как/ его честь /ваш хозяин/ желает этого, /я/, такой-то, не осмеливаюсь отказаться”.

Ч.239. Личная встреча /женихом/ невесты и вручение ей ленты для подъема в носилки.

Почему, от Сына Неба и до обычного чиновника включительно, /жених/ должен лично встретить /невесту/ и предложить ей ленту /для восхождения на носилки? Это тот случай, когда/ ян снисходит к инь. /Человек/ желает порадовать /невесту/, это знак его расположения к ней. Муж встречает ее лично, /двигает повозку/ три обращения колеса, спускается, и искоса взирает на нее; это для того, чтобы избежать неконтролируемой страсти. В “Ши” сказано: “/Царь/ Вэнь назначил счастливый день и лично явился встретить ее на /реке/ /Вэй/, он устроил мост из лодок”. В “Ли хунь цзин” сказано: “Гость спускается по ступеням, глядя на север, кладет гуся и дважды совершает земной поклон. /Затем/ поднимается по ступеням и выходит. Невеста следует за ним из своей комнаты, спускаясь по западным ступеням. Жених восходит на колесницу невесты и вручает ей ленту”.

Ч.240. Выдача замуж дочери и увещание к ней.

Выдача замуж дочери /ее отцом/ происходит в храме предков, перед алтарем его отца, для выражения почтения останкам предков. /Отец девушки/ не осмеливается действовать по собственному почину, поэтому /сперва/ объявляет это перед алтарем своего почившего отца.

Почему родители лично сопровождают свою дочь? Это /выражение/ высшей любви к своему ребенку. Отец говорит: “Будь внимательна и почтительна. Днем и ночью не пренебрегай распоряжениями /свекрови и свекра/”. Мать, подавая ей пояс и платок, говорит: “Будь усердна и почтительна. Днем и ночью не пренебрегай правилом дома”. Отец провожает ее до подножия восточных ступеней, мать провожает ее до западных ступеней. Наложница отца провожает ее до внутренних ворот и дает ей шелковый пояс, она внушает ей важность слов отца и матеря и поучает ее: “Почтительно и уважительно помни слова отца и матери. Днем и ночью будь непорочна. Пусть тебе напоминает о них этот пояс и кошелек”.

Покидая /родительский дом/, девушка не прощается, не отвечает на увещания, так как слишком взволнована.

Ч.241. Свадьба не является причиной для поздравлений.

Согласно ритуалу, “в семье выданной замуж девушки огонь не гасится в течение трех дней, /домочадцы/ проводят время в мыслях о /грядущем/ расставании. В семье жениха в течение трех дней не звучит музыка; домочадцы думают о том, что /сын вскоре/ наследует своему отцу”. Они печалются при мысли о том, что отец постарел, и что /время, когда он/ должен быть сменен /сыном/, настало. В “Ли” сказано: “Свадьба не повод для поздравлений; это /тот случай, когда/ поколения сменяют друг друга”.

Ч.242. Слова, произносимые при вручении ленты и встрече невесты.

/Когда жених/ вручает ленту /невесте/, ее наставница говорит: “Она еще не научена, не /располагает знанием/ достаточным для церемониального обхождения с тобой”.

Когда /жених/ впервые встречает /невесту/ лично, шафер приглашает его выполнить церемонию, и он говорит: “Его честь учил /моего отца/ такого-то, что свадьба начинается с этого момента. Он приказал мне, такому-то, исполнить ритуал, и я прошу /вашего соизволения/ на это”. Хозяин отвечает: “Я такой-то, с искренним почтением приготовил все, что необходимо”.

Ч.243. Слова отца, наставляющего сына.

Когда отец посылает сына на встречу /невесты/, он наставляет его, говоря: “Иди и встреть своего помощника, дабы ты мог наследовать мне в жертвоприношении в храме предков. С усердием веди ее, но и с уважением, ибо она наследница твоей матери после ее смерти. В твоём /поведении/ должно быть постоянство”. Сын отвечает: “Да, опасаясь лишь, что не смогу совладать /с этой задачей/, однако я не осмеливаюсь не выполнить ваше распоряжение”.

Ч.244. Почему жена не представляется в храме предков немедленно после свадьбы.

Муж после свадьбы не представляет свою жену /своим предкам/ в храме предков немедленно: это указание на неопределенность ее /положения/. Вот почему и /отец невесты/, в соответствии с ритуалом брака, не осмеливается определенно отвечать, когда /отец жениха/ спрашивает его о времени свадьбы.

Ч.245. Представление в храме предков.

После трехмесячного пребывания в доме мужа жена принимает участие в жертвоприношениях /предкам мужа/. Если ее свекр и свекровь умерли, то жена также после трехмесячного пребывания в доме мужа возлагает овощи /на алтарь их/ в храме предков. Три месяца — сезон, в течение которого вещи получают завершение, и хорошие и дурные качества человека становятся явными. После этого /периода испытания/ она сможет принять участие в жертвоприношениях. Цзен-цзы говорит: “Если женщина умирает до того, как она представлена предкам в храме предков /мужа/ ... тело возвращается для погребения /на кладбище/ ее рода, что означает, что она не стала женой в полном смысле слова”¹⁷.

Ч.246. Свадьба происходит весной.

Почему свадьба происходит весной? Весна — время года, когда Небо и Земля сообщаются между собой, когда десять тысяч вещей начинают /новую/ жизнь, когда соприкасаются инь и ян. В “Ши” сказано: “Воин, вводящий жену в дом, должен сделать это до того, как растает лед”. В “Чжой гуань” сказано: “Во втором месяце весны /чиновник, ведающий бракосочетаниями/, приказывает собраться /холостым/ женщинам и мужчинам. Он приказывает мужчинам тридцати лет взять жену и женщинам двадцати лет выйти замуж”¹⁸. В “Ся сяо чжэн” сказано: “Второй месяц — время празднования совершеннолетия юношей и совершения бракосочетаний”¹⁹.

Ч.247. Жена не может покинуть мужа /по своей воле/.

Причина, по которой жена не имеет права оставить мужа, даже если он ведет себя дурно, заключается в том, что Земля не отделяется от Неба. Хотя бы муж вел себя дурно, жена не может покинуть его. Поэтому в “Ли цзяо тэ шэн” сказано: “Однажды разделив церемониальную пищу с мужем, /жена/ не может измениться”²⁰. Нарушение человеческих взаимоотношений, убийство родителей жены, нарушение социальных принципов относятся к величайшим преступлениям. /Только если/ нарушены эти принципы, полагается /жене/ оставить /мужа/.

Ч.248. Что означает наличие наложниц, сопровождающих жену

Сына Неба и правителей.

Почему Сыны Неба и правители приобретают сразу девять жен? Это для подчеркивания важности их государств и увеличения потомства. Почему именно девять? За образец берется Земля, имеющая девять провинций, которые, благодаря творческой силе Неба, порождают все живое. Аналогично сочетание сразу с девятью женами соответствует оплодотворяющей силе правителя. Если девять женщин не зачнут, это не под силу и ста. В “Ван ду цзи” сказано: “Сын Неба и правители берут в жены сразу девять женщин”²¹. В “Чунь-цю гун ян чжуань” сказано: “Когда правитель берет себе в жены женщину из одного государства, два других посылают наложниц для сопровождения, /во всех трех случаях они следуют/ с сестрой и кузиной”²². Что имеется в виду под кузиной? Дочь старшего брата /отца/. А под сестрой? Младшая сестра девушки.

Иногда говорят: “Сын Неба женится на 12 женщинах, беря в качестве образца Небо с его 12 месяцами, в течение которых все вещи совершают цикл развития”.

Почему он женится лишь единожды? Для предотвращения разврата и погружения в гущу страстей. Поэтому

он женится лишь единожды; повелитель не может жениться дважды.

/Брак с главной женой/ завершается браком с ее кузиной и младшей сестрой для того, чтобы не было ревности. Когда одна женщина родит ребенка, все трое радуются с ней, как будто родили его сами.

Почему он берет в жены двух младших сестер? Это для того, чтобы увеличить /потомство благодаря притоку/ чужой крови. Почему женщины происходят из трех разных государств? Для того, чтобы расширить /потомство/ благодаря чужой крови; /если возьмет женщин из/ одного государства, существует опасность, что из-за родовой близости вообще не будет детей.

Кузина и младшая сестра сопровождают главную жену, хотя и младше ее, что означает, что правитель не может жениться дважды²³. Они /поэтому/ возвращаются в их страны, где ожидают вступления в возраст, /так как/ они еще не готовы ответить нуждам /повелителя/. В "Ши" сказано: "Все кузины и младшие сестры сопровождали ее в больших количествах, подобно облаку. /Когда/ повелитель Хань обернулся взглянуть на них, они заполнили врата". В "Чунь цю гун ян чжуань" сказано: "Шу-цзи прибыла к Цзи. Ясно, что она /перед этим/ дождалась вступления в возраст".

Когда два царства посылают наложниц, кому отдается честь /первенства/? Большему царству отдается первенство, если же оба царства равновелики, то предпочтение отдается судя по их духовной силе, если же духовные силы равновелики, то судят по красоте /девушек/.

Приверженцы "принципа субстанции" придерживаются небесного образца и предпочитают левое, приверженцы "принципа формы" придерживаются земного образца и предпочитают правое.

Почему при взятии наложницы не соблюдается ритуал? Люди имеют право желать для своих детей лучшей доли, и не следует приглашать человека для того, чтобы сделать его дочь наложницей. В "Чуньцю чжуань" сказано: "Два царства предлагают наложниц. Почему должно приглашать человека на должность чиновника и не должно приглашать человека /отдать дочь в/ наложницы? Чиновник низшего ранга почтен в своей позиции, и когда его таланты /полностью раскроются/, он не останется в низкой должности. Наложница же, как бы ни была добродетельна, никогда не станет главной женой".

Ч.249. Гадание для свадьбы.

Почему при браке гадают на черепашем панцире? Гадают о духовных качествах девушки, дабы выяснить, подходят ли /жених и невеста/ друг другу. В "Хунь ли цзин" сказано: "Посланник родителей жениха говорит: "Я, такой-то, послан выяснить посредством гадания, какой семье принадлежит девушка?"

Ч.250. Правитель и глава рода женятся сами.

Если правитель или глава рода не имеют /живых/ родителей, они устраивают брак самостоятельно. /Так как/ низший не проводит церемонию для высшего, ни низкий для почтенного, поэтому он предпринимает все сам. В "Хунь ли цзин" сказано: "Когда оба родителя мертвы, он сам отдает распоряжения /о своем браке/". В "Ши" сказано: "/Царь/ Вэнь установил счастливый день, и лично встретил /свою невесту/ на /реке/ Вэй".

Ч.251. Чиновник высшего ранга, получивший удел, не женится во второй раз.

Чиновник высшего ранга, получивший, благодаря своим достоинствам, удел, получает право довести число своих наложниц до 8, для того чтобы подчеркнуть важность нового государства и увеличить потомство. Однако он не вступает в новый брак-союз с большим государством, с тем, чтобы он не забывал главную жену. В "Ли" сказано: "Посылая подарки дочери, /которая была взята в жены/ чиновником высшего ранга, говорят: /теперь она может подготовиться/ к своим обязанностям уборки и поливания водой".

Ч.252. Наследники подчиняются тем же правилам.

Наследные принцы женятся согласно ритуалу, предписанному для правителей. /Они считаются/ равными правителям, что значит, что они не могут жениться во второй раз.

Ч.253. Сын Неба должен брать жену из большого царства.

Сын Неба должен избирать жену из дочерей большого государства. Правила ритуала во многих местах предусматривают это. В "Ши" сказано: "В большом царстве есть молодая дама, она похожа на младшую сестру Неба. Вэнь назначил счастливый день и лично встретил ее на /берегу реки/ Вэй", что означает, что Сын Неба берет жену из большого царства.

В "Чунь цю" сказано: "Маркиз Цзи прибыл ко двору". Виконт Цзи выдал дочь за Сына Неба, вследствие чего его ранг был повышен. В течение следующих десятилетий маркиз Цзи не обрел иных достоинств, кроме того, что его дочь стала женой Сына Неба. Когда же он упоминается как маркиз, хотя Цзи маленькое государство, /мы знаем, что его ранг/ должен соответствовать большому государству. Это значит, что он заслужил честь рассматриваться не как простой подданный.

Почему Сын Неба распространяет свой выбор и на малые государства? Для того, чтобы открыть путь всем в Поднебесной. Это означает, что способный не будет забыт. Поэтому в "Чунь цю" сказано: "Маркиз Цзи прибыл ко двору". В этой фразе использован титул маркиз, дабы показать, что он наделен уделом. Он должен был быть сперва наделен им, дабы брачная церемония не была исполнена с представителем малого государства.

Что должно быть сделано в отношении страны женщины, /являющейся женой Сына Неба/, если ее поведение оказалось недостойным и она должна быть смещена? По аналогии со страной, /правитель которой был удостоен титула/.

Ч.254. Правитель не может жениться в своем государстве.

Почему правитель не может избрать жену из женщин своего государства? Он не имеет права действовать по собственной инициативе, и при этом он не может рассматривать родителей своей жены как подданных. В “Чунь цю чжуань” сказано: “В Сун не было чиновников высшего ранга в течение трех поколений... /Так “Чунь цю”/ осуждает взятие жен /правителем/ внутри /государства/ среди дочерей высших чиновников”.

Ч.255. Девушку со своим родовым именем или из клана матери нельзя брать в жены.

Причина, по которой нельзя жениться на девушке с той же фамилией, заключается в уважении к человеческим отношениям, дабы предотвратить разврат, и избежать сравнения со зверьми. В “Лунь юйе” сказано: “Правитель Лу женился на дочери /из царства/ У, той же фамилии, и назвал ее старшей дочерью У”. В “Цюй ли” сказано: “Покупая наложницу, фамилия которой неизвестна, /следует/ использовать гадание”²⁴.

Нельзя избирать жену из родственников матери /приравненных по трауру/ к пяти месяцам или более²⁵. В “Чунь цю чжуань” сказано: “Он осужден за то, что взял в жены девушку из рода матери”.

Ч.256. Правитель того же рода /что Сын Неба/ совершает бракосочетание.

Почему при выдаче Сыном Неба дочери замуж он избирает для проведения церемонии правителя того же рода? В брачном ритуале драгоценнее всего /сохранение/ гармонии. Не должно /правителю и Сыну Неба/ общаться друг с другом /на одном уровне/, ибо это может нанести вред отношениям между правителем и подчиненными. Более того, используя /посредника/ для дочери, он не желает потрясти своим величием правителя /жениха/. В “Чунь цю чжуань” сказано: “Когда Сын Неба дочь выдает за правителя царства, он должен призвать правителя той же фамилии для совершения /церемонии/”. Это потому, что принадлежа к одному роду и имея общего предка, он подходит для совершения /бракосочетаний/ для своих родственников по мужской линии, поэтому он используется как заместитель в делах /приличествующих/ отцу. Почему Сын Неба не использует /для этой цели/ министра того же рода? Потому что величие положения правителя /жениха/ затруднит положение министра.

Почему Сын Неба не использует правителя того же рода для совершения /бракосочетания дочери/ в столице? Потому, что правитель /жених/ должен встретить невесту лично. Вступить в столицу для него означает прибыть на аудиенцию к Сыну Неба, а ритуал для /аудиенции и бракосочетания/ не одинаков. В “Чунь цю чжуань” сказано: “Помещение для дочери Сына Неба было построено вне /городской стены Лу/”. Это означает, что правитель, явившись встретить невесту лично, не должен был вступать в столицу.

Почему было построено особое помещение? Для почета /дочери вана/. Она не помещается в здании лу-цин, ибо это место для правительственных чиновников и не подобает для женщины. Сяо-цин унизило бы ее, а комната для дочери герцога не соответствует ее положению. Поэтому воздвигается специальное здание. В “Чжуань” сказано: “Построить /такое помещение/ соответствует ритуалу. Построить его вне стен города не соответствует ритуалу”.

Ч.257. Правила брака для министра, чиновника высшего ранга и чиновника низшего ранга.

Почему министр или чиновник высшего ранга берут одну жену и двух наложниц? Из почтения к их достоинствам и для преумножения потомства. Почему он не завершает брак, взяв ее кузину и младшую сестру? Ибо он лишь подданный, смотрящий на север²⁶, и его авторитета недостаточно, для того чтобы взять всех родственниц другого рода. В “Ли фу цзин” сказано: “/Три месяца траура выдерживает министр или чиновник высшего ранга/ по своему слуге или старшей наложнице”. Значит, должна быть и младшая наложница.

Почему чиновник низшего ранга берет одну жену и одну наложницу? /Потому, что его ранг/ ниже министра или чиновника высшего ранга. В “Ли сан фу сяо цзи” сказано: “Чиновник низшего ранга носит трехмесячный траур по наложнице, если у нее был ребенок”.

Ч.258. По смерти главной жены ее замещает одна из наложниц.

Когда женщина помолвлена в качестве главной жены и умирает прежде чем достигнет мужа, почему одна из наложниц, сопровождающих ее, должна занять ее место? Ибо правитель не может жениться дважды, а так как повеление Неба не может не быть обеспечено, то он женится сразу на девяти женщинах. В “Чунь цю” говорится, что когда луская Бо-ци умерла, ее младшая сестра вышла замуж за Чжэна, /а не мужа сестры/. “Чунь цю” осуждает ее. Когда главная жена умирает, ее место занимает другая, ибо не подобает /наложнице, чье положение/ низко, принимать участие в жертвоприношениях в храме предков. Обычно младшая сестра устанавливается как главная жена, из почтения к государству /из которого она/. В “Чунь цю чжуань” сказано: “Шу-ци была выдана за Ци”. Шу-ци была младшая сестра Бо-ци. Когда Бо-ци умерла, Шу-ци стала главной женой, что не было осуждено в классическом тексте.

Еще говорят: “Когда умирает главная жена, не устанавливают другой взамен, ибо не может быть двух главных жен, во избежание преступлений. /Одна из наложниц/ может принимать участие в жертвоприношениях вместо главной жены, но не более. Ритуал запрещает совершать бракосочетание с наложницей. Это означает, что она не может быть установлена /как главная жена/”.

Ч.259. Брачный ритуал в случае бедствия.

Цзен-цы спросил: “Если согласно ритуалу были вручены подарки и установлен день бракосочетания, и

родители невесты умерли, что нужно сделать?” Конфуций сказал: “Жених должен послать кого-либо утешить ее, и если родители жениха умрут, то она должна послать кого-либо утешить его. Если умер отец, то /посланник/ упоминает другого отца как пославшего его; если мать, то мать. Если умерли оба родителя, то /посланник/ называет старшего брата отца и его жену как пославших его. Когда жених похоронит /умершего/, то старший брат отца или его младший брат посылают кого-либо предложить семье невесты отказ от бракосочетания, со словами: “Долг сына такого-то — скорбеть по его родителям, и он не имеет права продолжать отношения с вашей дочерью. Он послал меня, такого-то, дабы предложить отказ от бракосочетания”. В соответствии с ритуалом, семья девушки принимает отказ, но не осмеливается выдать ее замуж за другого. Когда жених кончает траур, родители девушки посылают кого-либо предложить возобновление /контракта/. В соответствии с ритуалом, если жених не /желает/ брать ее в жены, она выходит замуж за другого. Если умирают родители девушки, жених ведет себя аналогично”.

Ч.260. У жены есть наставница.

Почему у женщины, готовящейся к браку, есть наставница? Это для того, чтобы она узнала средства служения другим. В “Ши” сказано: “Я вижу учителя, который научит меня; он научит меня обязанностям жены”.

В “Ли хунь цзин” сказано: “/Когда дочь правителя помолвлена/, то ее обучают во дворце правителя в течение трех месяцев”. Готовящаяся к бракосочетанию женщина обучается сезон, что достаточно для того, чтобы подготовка была завершена.

Если девушка по родству связана с правителем, по которому она должна носить трехмесячный траур, /или ближе/, то она обучается в его дворце в течение трех месяцев. Если она не связана родством с таким правителем, то она обучается в комнатах жены главы клана. Правитель, беря наложницу одного из его чиновников высшего ранга, или жену чиновника низшего ранга, пожилую и не имеющую детей, но обладающую хорошими познаниями в исполнении долга жены, на свою службу, использует ее в качестве наставницы для девушек, которые связаны с ним по родству не ближе пятой степени, в комнатах главы клана. Это естественно, что чиновники в своем роде отдают /своих родственниц/ в обучение в комнатах главы клана, дабы они узнали, как служить своим мужьям.

Почему женщина должна иметь наставницу и дуэнью? Почета ради. В “Чунь цю чжуань” сказано: “Учитель пришел, но не дуэнья”.

Ч.261. Значение службы мужу и его родителям.

Жена узнает, как служить родителям мужа, но не мужу, так как жена и муж составляют одно тело. В “Линэй цзэ” сказано: “Жена низшего ранга служит главной жене так же, как та служит родителям мужа. Это следует из чувства почтения к главной жене и для избежания ревности”. В “Ли фу цзюань” сказано: “Жена низшего ранга служит главной жене так же, как та — родителям мужа”.

Служа мужу, жена исполняет четыре принципа: /первое/: при первом крике петуха она оmyвает руки и очищает рот, причесывает и подвязывает волосы, закалывает их заколкой и застегивает ее, и лишь затем встречает мужа: это принцип /отношений/ правителя и подданного; /второе/: она испытывает такое чувство к мужу, /что утрата его приводит ее в/ глубокую печаль, это принцип /отношений/ отца и сына; /третье/: она помнит обо всем: это принцип /отношений/ старшего и младшего брата; /четвертое/: внутри /женского помещения/ она сидит на одной циновке с ним: это принцип /отношения/ друзей. /В разных случаях, когда она/ видит или слышит его, она использует разные выражения. Таким образом эти правила установлены.

Ч.262. Пять случаев, когда брак невозможен.

Вот пять /случаев/, когда /мужчина/ не должен брать девушку в жены. Он не женится на девушке из недолжной семьи, ни из преступной семьи. Он не женится на девушке из семьи, где есть преступники, или на девушке, страдающей неизлечимой болезнью, или на взрослой девушке, находящейся в трауре по жене /ее отца/.

Ч.263. Ритуал развода.

Когда разводятся с женой, должно сопровождать ее до дома, где ее принимают согласно ритуалу для гостя. Благородный муж, разводясь, /соблюдает ритуал/ более тщательно, нежели низкий человек при передаче жены /ее родителям/. В “Ши” сказано: “/Недалеко, лишь недолго/ он проводил меня до порога”.

Ч.264. Императрица.

Почему супруга Сына Неба называется хоу? Хоу означает правитель. Супруга Сына Неба — самая почитаемая из женщин, так что она называется хоу, что означает, что будучи супругой самого видного лица, она сама малый правитель среди четырех морей. Все в Поднебесной почитает ее и потому сочетает ее титул с титулом ван, называя ее ван-хоу. В “Чунь цю чжуань” сказано: “/Герцог Цай прибыл в Лу и немедленно/ отправился встретить ван-хоу в Цзи”. Почему жена правителя именуется фу-жэнь? Это означает, что она помогает и поддерживает восемь человек, именно восемь наложниц /правителя/. Народ государства почитает ее и называет фу-жэнь. Она называет себя сяо-тун, “маленькая девушка”, из скромности. Это означает, что ее ум и способности малы, как у малого дитя. В “Лунь юй” сказано: “Жена правителя именуется правителем фу-жэнь, себя называет сяо-тун, народ называет ее “фу-жэнь правителя”; в беседе с представителями другого государства она именуется гуа сяо-цзюнь — “наш малый правитель”.

/Последний термин/ — это выражение скромности, используемое, когда правитель посещает дружественное

государство и когда /один/ из ее подданных в другом государстве.

Ч.265. Главная жена и наложница.

Что означают термины ци “главная жена” и це “наложница”? Ци означает “целое” ци. /Жена/ образует одно целое с мужем. От Сына Неба и до простого человека /ци/ имеет это значение.

Це означает “связывать” це. /Наложница/ регулярно встречается с мужчиной для связи²⁷.

Ч.266. Значение цзя-цюй, нань-нюй, фу-фу, хунь-инь.

Что означают /слова/ цзя-цюй - брак? Цзя означает “дом” цзя. Жена приходит извне в другой дом, чтобы сделать его своим. Цюй означает “брат” цюй.²⁸

Что значат /слова/ нань нюй — мужчина и женщина? Нань — значит “наделенный человечностью” жэнь. Ему должно закончить начинание. Нюй значит “приспосабливаться” жу. Она следует за /другим/ и приспосабливается к другому. Дома она следует за родителями, замужем она следует за мужем, когда муж умирает, она следует за сыном. В “Цзюань” сказано: “Долг женщины — следовать /за другим/ в трех /случаях/”.

Что означают — слова фу-фу? Муж и жена. /Первое/ фу означает “поддерживать” фу, поддерживать, согласно принципам, то, что требуется от мужчины. /Второе/ фу означает “подчиняться” фу, подчиняться домашнему долгу и служить другим.

Фэй означает “сочетаться браком” пи. Что означает фэй-пи? То, что они становятся супругами.

Что означают слова хунь-инь? Хунь означает, что ритуал встречи /невесты/ исполняется в сумерках хунь. Инь означает, что женщина становится женой путем следования мужу. Поэтому об этом говорить как инь. В “Ши” сказано: “Ты не обращаешь внимания на старый союз”. Это сказано относительно мужа. Также сказано: “Ты угощаешь новую жену”. Это сказано относительно жены. Почему ритуал производится в сумерках? Для того, чтобы указать, что ян спускается к инь. Сумерки это время суток, когда смешиваются инь и ян.

Ч.267. Значение открытия и закрытия спальни.

Почему мужчина в 60 лет закрывает спальню? Из учета его состояния здоровья. Так он обращает внимание на свои жизненные силы. В “Ли нэй цзэ” сказано: “Наложница, хотя бы и была стара, если она не достигла возраста 50 лет, должна сожительствовать /с ее хозяином/ каждые пять дней”. Когда достигнет 50 лет, она более не посещает хозяина, /так как воздержание/ полезно для /взаимно усиливающейся/ слабости.

Когда мужчина достигнет возраста 70 лет, наступает стадия поддержки: он не может получать пищу без мяса, не может согреться в постели без женщины. Поэтому в 70 лет он снова открывает /дверь/ спальни.

“ХЭ ИНЬ ЯН” /СОЕДИНЕНИЕ СИЛ ИНЬ И ЯН/²⁹

1. Способ для, тех, кто будет заниматься соединением инь и ян:
2. Охвати руки /женщины/, увлажни слюной янскую сторону запястий³⁰.
3. Поглаживай камеры локтей³¹.
4. Достигни /внутренней/ стороны подмышек³².
5. Поднимись к “основе очага”³³.
6. Достигни области шеи.³⁴
7. Поглаживай “восприимлющую корзину”³⁵.
8. Накрой “охватывающее кольцо”³⁶.
9. Спусти к “разбитому тазу”³⁷.
10. Пересеки “источник сладкого вина”³⁸.
11. Перейди “бурлящее море”³⁹.
12. Поднимись на “гору постоянства”⁴⁰.
13. Войди в “темные врата”⁴¹.
14. Оседлай “половую жилу”⁴².
15. Возгоняй /эссенцию/ цзин шэнь⁴³.
16. Тогда сможешь продлить зрение и существовать в гармонии с космосом⁴⁴.
17. “Половая жила” — это “половой канал” внутри “темных врат”⁴⁵.
18. Если способен достичь и воздействовать на нее, оба тела испытывают наслаждение⁴⁶.
19. Хотя и есть желание, не действуй⁴⁷.
20. Совершай “взаимное дыхание” и взаимные объятия, последовательно иди по “веселому пути”⁴⁸.
21. “Веселый путь” /это/ — первое: “пневма поднимается и лицо краснеет — вдыхай медленно”⁴⁹.
22. Второе: “соски твердеют, нос покрывается испариной — медленно обнимай”⁵⁰.
23. Третье: “язык разбухает и покрывается слюною, медленно опускайся”.
24. Четвертое: “внизу формируются выделения, бедра увлажняются — медленно овладевай”.
25. Пятое: “глотка пересыхает, /женщина/ сглатывает слюну — медленно возбуждай”.
26. Таковы “пять признаков”.
27. Завершив /наблюдение/ их, возляг /сверху/.
28. Толкай вверх, не проникая внутрь, чтобы прибыла пневма⁵¹.
29. /Когда/ пневма придет, проникай глубоко внутрь и толкай вверх, дабы рассеять тепло⁵².
30. Снова толкай вниз.
31. Не позволяй пневме выйти наружу, иначе женщина падет /духом/⁵³.

32. Затем совершай “десять движений”⁵⁴.
33. Соединяйся в “десяти позах”⁵⁵.
34. Разнообразь “десять способов”⁵⁶.
35. /Пусть/ тела соединяются вечером, направляя пневму в “порождающие врата”⁵⁷.
36. Следи за “восемью движениями”⁵⁸.
37. Прислушивайся к “пяти звукам”⁵⁹.
38. Наблюдай “десять трансформаций”⁶⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. “Бо ху тун” — это своеобразная китайская энциклопедия, охватывающая практически все важнейшие проблемы китайского общества. Она возникла в результате устроенных императором в 79 г. н.э. дискуссий в павильоне “Белый тигр” (откуда название) и велась между представителями двух основных идеологических течений в конфуцианстве — “школы новых писем” и “школы древних писем”.
2. Стороны так и не пришли к единодушному мнению, а один из участников дискуссий — известный китайский историк Бань Гу, автор династийной истории ранней Хань “Хань шу” составил компиляцию “Бо ху тун /ш/”. В каждой главе обсуждается одна из проблем, изложение строится на основе диалога — вопроса и ответа. Авторство Бань Гу иногда оспаривается.
3. Цитата из китайской классической “Книги перемен” — “И цзин”.
4. Инь и ян — две важнейшие категории китайской идеологии, два универсальных начала — или принципа — космоса. Условно можно назвать ян “светлым” или “мужским”, инь — “темным” или “женским”.
5. Глава “Ли цзи”, одного из основных китайских ритуальных сводов.
6. Апокрифический текст к “И цзину”.
7. Цитата из “Ши цзина” — “Книги песен”, классического текста.
8. В других источниках указывается, что это лишь предельные сроки, к которым мужчины и женщины должны вступить в брак. В “Бо ху тун”, как и в других китайских текстах, важную роль играет нумерология, чем и объясняется выбор круглых чисел и дальнейшие манипуляции с ними.
9. “Тай цзи” или “великий предел” — также одна из важнейших категорий философии, своеобразное первоначало, исходный космический принцип.
10. Глава “Ли цзи”.
11. Имеется в виду ритуал закалывания волос спицей взрослой женщины, знаменующий совершеннолетие девушки.
12. Аналогичный закалыванию волос спицей обряд совершеннолетия для мальчиков.
13. Цитата из исторического сочинения, комментария к приписываемой Конфуцию летописи “Чунь цю”.
14. О благоприятном времени для брака непременно гадали на черепашьем панцире.
15. См. ниже — имеются в виду парные шкуры оленя.
16. В Китае небу часто приписывался не голубой, а черный цвет, земле — желтый.
17. Глава “Ли цзи”.
18. Цитата из “Ли цзи”, гл. “Цзэн цзы вэнь”.
19. Цитата из другого ритуального свода — “Чжоу ли”, или “Чжоуские ритуалы”. Чжоу — название династии, правившей с XI по III в. до н.э.
20. Гл. “Ли цзи”.
21. Гл. “Ли цзи”.
22. Гл. “Ли цзи”.
23. Гл. “Ли цзи”, в современном тексте памятника отсутствует.
24. Это также цитата из комментария к “Чунь цю”.
25. На практике, конечно, этому правилу можно было не следовать, в тексте изображена лишь идеальная модель брака. В то же время в нем много реалий, сохранившихся в Китае вплоть до XX в.
26. Для того, чтобы выяснить, совпадает ли ее фамилия с фамилией хозяина, для предотвращения родственного брака. См. ниже об этом.
27. Длительность траура в Китае фактически являлась мерой родства между людьми, поэтому часто вместо перечисления всех степеней родства использовали именно эту меру.
28. Ибо только император имел право сидеть лицом к югу, подданные же сидели лицом к нему, т.е. на север.
29. См. ниже. Каждая женщина в Китае имела право на мужа или по крайней мере хозяина, причем наложница имела реальные права, которые хозяин должен был соблюдать.
30. Здесь и далее термины поясняются через свои омонимы — распространенный в Китае герменевтический прием.
31. Здесь мы даем перевод первой (из восьми) части текста, имеющего общий заголовок “Хэ инь ян”. Текст был обнаружен в 70-х годах в захоронении Мавандуй, относящемся к 176 г. до н.э. Текст записан на бамбуковых планках. Он относится к группе текстов категории “ян шэн” — “вскармливания жизненных сил”, куда входит диететика, физкультура, сексология и т.д. Сексология как более узкая область определяется термином “фан чжун” — “внутренние покои”. Описываемые в настоящем тексте практики свидетельствуют, что уже во II в. до н.э. сексологические традиции в Китае вполне сформировались, содержание текста вполне согласуется с позднейшими руководствами. Первая часть разделяется на две части: стихотворную и прозаическую. Прозаическая часть служит своеобразным (неподстрочным) комментарием к первой. Хотя здесь мы даем перевод только одной части, она имеет вполне самостоятельное значение, так как в ней в сжатом виде приводится схема полового акта, более подробно описываемого в других частях.
32. Увлажнение слюной имело магическое значение. Возможно, речь идет о поцелуе (см. ниже). Янская сторона — вероятно, внешняя сторона запястий.
33. От запястий руки мужчины (именно к нему обращен текст) перемещаются выше — к эрогенным зонам внутри локтей, которые необходимо стимулировать.
34. От локтей руки перемещаются к следующей эрогенной зоне — области подмышек.
35. Термин “основа очага”, судя по всему, означает область груди.
36. Теперь руки мужчины перемещаются на заднюю часть тела женщины. Если раньше движения шли снизу вверх, то теперь наоборот, после достижения высшей точки и перехода на тыльную часть, начинается спуск.
37. “Восприимчивая корзина” — достаточно распространенный образ в китайской литературе. Имеется в виду квадратная корзина для сбора фруктов. В данном случае метафора, судя по всему, область таза, содержащая половые органы как в корзине.

36. "Охватывающее кольцо" — буквально, дорога, окольцовывающая здание. Данная метафора, видимо, относится к области живота. Смена рифмы в строке означает также переход от предварительных ласк непосредственно к половому акту.
37. "Разбитый таз" — это обозначение в китайской медицине одной из верхних костей района груди. Т.о. начинается новый цикл движения сверху вниз.
38. Обычно под "источником сладкого вина" имеется в виду источник слюны под языком, эта железа также называется "япмовый пруд". В данном случае подразумевается область между грудью и влагалищем. Вообще все метафорическое описание построено как описание некой "страны".
39. Под "бурлящим морем" имеется в виду область лобка.
40. Под "горой постоянства" имеются в виду непосредственно половые органы женщины, скорее всего клитор.
41. "Темные врата" — метафора влагалища. Здесь мы имеем аллюзию к знаменитому даосскому образу из "Дао дэ цзина" — "врата темной самки", источник тьмы вещей.
42. Это последняя строка, где говорится о частях женского тела. Относительно термина "половая жила" см. ниже прим.45.
43. В этой строке описывается уже состояние мужчины и предписываются действия при достижении оргазма. Цзин шэнь или тончайшая, нуминозная пневма — это семя. В момент оргазма мужчина должен предвратить эякуляцию (либо путем извлечения полового члена из влагалища, либо путем пережимания семенного канала) и направить семя внутрь организма для увеличения его жизненных сил, что и служило целью всех сексологических руководств. С китайской точки зрения обычный половой акт совершается только для получения потомства — и в этом были согласны практически все — конфуцианцы и даосы. Половой акт, описываемый в сексологических руководствах, совершался ради каллистеники — продления жизни и укрепления жизненных сил. Мужчина должен был не только не допустить потери жизненных сил при потере спермы при эякуляции, но и почерпнуть еще жизненные силы от женщины, выделяемые ею при оргазме. Поэтому и ставилась цель доведения женщины до оргазма без испытания такового мужчиной или в крайнем случае без потери спермы. Об эротике, как она понимается в западной культуре, в китайской культуре практически речь идти не могла.
44. При правильном исполнении полового акта согласно инструкции мужчине гарантировалось продление жизни и приведение организма в гармонию с космосом — Небом и Землей, что имело сакральное значение.
45. В данной строке объясняется, что половая жила — это своего рода канал, по которому движется пневма ци. Здесь имеется в виду эрогенная зона во влагалище, стимуляция которой позволяет женщине достичь оргазма.
46. Наслаждение обоюдное.
47. Здесь мужчина предупреждается о том, о чем мы говорили выше в прим. 43 — мужчина должен не поддаваться страсти, несмотря на испытываемое наслаждение, а держать половой акт под контролем и не торопить его завершения.
48. "Взаимное дыхание" — имеется в виду поцелуй. Далее описывается определенная последовательность действий мужчины, сопровождаемая проявлением "пяти признаков" эротического возбуждения у женщины, лишь после последовательного исполнения которых он может перейти к половому акту.
49. Самый первый признак — это движение жизненных сил — пневмы ци — женщины, которое выражается в покраснении кожных покровов лица при возбуждении.
50. Следующий признак прогрессирующего возбуждения. При каждом признаке даются соответствующие действия мужчины. Согласно некоторым руководствам, половой акт начинается уже при втором признаке, но в "Хэ инь ян" требуется прохождение всех пяти стадий.
51. Здесь описываются движения полового члена, действующего на внешние половые органы женщины без входа во влагалище. В другом тексте из захоронения Мавандуй указываются три стадии состояния полового члена: "возбужден, но невелик — кожа еще не прибыла (т.е. не достигла нужного состояния), большой и нетвердый — жилы не прибыли, твердый но не горячий — пневма не прибыла. Лишь когда ощущаются все три прибытия, тогда вводи".
52. Имеются в виду действия мужчины после введения полового члена во влагалище. Предполагается, что его тепло должно рассеиваться среди плоти женщины.
53. После рекомендации возвратно-поступательных движений, указывается на необходимость плотного контакта, недопустимо выведение члена из влагалища.
54. Здесь начинается характерная для большинства китайских текстов аналогичного характера нумерология. Каждое движение означает десять перемещений вперед-назад, десять движений — сто перемещений.
55. Имеются в виду десять поз акта. Они описываются подробно в других частях трактата.
56. Согласно четвертому разделу трактата, имеются в виду десять типов движения члена: вверх, вниз, влево, вправо, быстрое, медленное, многократное, однократное, неглубокое и глубокое.
57. Упоминание о вечере — указание на наиболее благоприятное время сочетания, т.к. считалось, что сексуальная сила женщины достигает максимума на рассвете, мужчины — ночью, так что вечер — промежуточная стадия сочетания инь и ян (света и мрака), наиболее благоприятна. "Порождающие врата" — резервуар спермы. Здесь снова указывается на недопустимость эякуляции.
58. "Восемь движений" — это движения, посредством которых женщина дает мужчине знать о своих ощущениях и потребностях. Согласно пятой части текста, когда женщина сжимает руки, это означает, что она хочет, чтобы мужчина плотнее прижался к ней животом, если она сжимает бедра, это означает, что она требует более сильных толчков и т.д.
59. "Пять звуков" — это звуки, издаваемые женщиной при половом акте, они также служат индикатором ее состояния.
60. Здесь имеются в виду трансформации семени женщины (аналога мужской спермы) в процессе полового акта. Каждая трансформация имеет место после определенного цикла движений. После десятой трансформации ее семя возвращается в исходное состояние. Это момент, когда происходит оргазм. В этот момент мужчина должен овладеть энергией женщины и направить ее внутрь себя.

Перевод с китайского и примечания

С.В.Зинина



МАХОВ. ЧТО МНЕ ТУТ ПРАВИТСЯ, ТАК ЭТО ИДЕЯ МЛАДЕНЧЕСТВА КАК ПИКА вирильности. Я всегда говорил, что невинность с годами не утрачивается, а приобре-

тается.

ПЕШКОВ. Подумаешь. Просто китайцы изобрели фрейдизм — как и порох, и печатный станок — на пару тысячелетий раньше нас. (неожиданно). А вот как это соотносится с евангельским “будьте как дети”? **МАХОВ** (воодушевляясь). Это ход! Обобщим не мешкая: христианская цивилизация имеет (имела) в качестве фона образ утраченной невинности — лик ребенка-ангела. Мой любимец Жубер однажды записал в дневнике: “Христианство рассматривает нас как детей”, — но при этом, добавим, понимает детей неправильно, вернее, вовсе их не понимает! Откуда идет недоразумение: христианское ли мироощущение создает в нас оптическую иллюзию дитяти-ангела или же, наоборот, ошибка зрения погружает нас в тоскливый христианский комплекс взрослости-как-неполноценности? Думаю, что верно все же первое. Наши проблемы провоцируют нас на идеализацию детства. Лишь 20 век распознал в ангеле демонические черты — вспомним, к примеру, “Поворот винта”. Поможет ли нам это открытие зрения, это избавление от комплекса неполноценности перед ребенком избавиться и от иных комплексов? Если мы не виновны перед детьми, то перед кем мы виноваты? (пугается вдруг строгого лика Достоевского и умолкает).

ПЕШКОВ (шутливо-услаивающе). Но, быть может, рай и открыт только для чертей: рай инфантильной безответственности, — ведь ребенок, суший черт, не имеет внутренних сдерживателей. А в рубрике



НАД ВЫМЫСЛОМ...



как раз об этом фантазирует главный специалист по безответственности и раздражению всех и всяческих ЦЕНТРОВ УДОВОЛЬСТВИЯ

ЛЮБОВЬ СЛЕПА

БОРИС ВИАН

(ИЗ СБОРНИКА “ВОЛК-ОБОРОТЕНЬ”)

ТУМАН ОПУСТИЛСЯ НА ГОРОД ПЯТОГО АВГУСТА В ВОСЕМЬ

утра. Был он легким и ничуть не мешал дышать, зато выглядел как пелена исключительной плотности и к тому же сильно отдавал синевой.

Туман ложился слоями. Поначалу он клубился сантиметрах в двадцати от земли и прохожим не видно было собственных ботинок. Женщина из дома 22 по улице Бракмар уронила ключ при входе в квартиру и никак не могла его отыскать. Шесть человек, в том числе один грудной младенец, пришли ей на помощь; между тем как раз опустился второй слой тумана и ключ был найден, зато пропал младенец. Он сбежал, воспользовавшись метеоусловиями — так не терпелось ему расстаться с соской и познать тихие радости брака, поскорее свить собственное гнездо. Всего в то утро пропало три тысячи шестьдесят два ключа и четырнадцать собак. Рыбаки долго таращили глаза на невидимые поплавки, в результате чего повредились в уме и отправились на охоту.

Туман скапливался в виде больших сгустков под откосами и в углублениях, запуская свои длинные пальцы в водосток и вентиляционные шахты; он заполнял коридоры метро, составы же остановились, как только белесая пелена достигла уровня светофоров. Но тут как раз опустился третий слой, и народ по колено утонул в белой ночи.

Те, кто жил на пригорке, считали себя в лучшем положении и насмеялись над прибрежными, но к концу недели все выравнялось. Теперь все как один то и дело гукались о мебель в собственных квартирах, потому как туман достиг уровня самых высоких домов. Дольше всех держалась колоколенка, но и ее в конце концов накрыло неумолимой плотной волной.

II

Тринадцатого августа Орвер Латюиль пробудился от сна, длившегося триста часов. Поскольку перед тем он крупно гульнул, то ему вначале показалось, что он ослеп; но то было слишком много чести спиртным напиткам, коими его потчевали. Вроде бы царил ночь, но какая-то странная: глаза открыты, а ощущение такое, будто свет от яркой лампы падает на зажмуренные веки. Орвер надувал неверной рукой ручку радиоприемника. Тот включился, и кое-что удалось узнать из сообщений.

Не обращая более внимания на пустопорожнюю болтологию диктора, Орвер Латюиль призадумался, почесал себе пушок, после чего понюхал использованный балец и заключил, что не мешало бы ему принять душ. Однако достоинство этого тумана, накинутого на окружающее, как плащ Ноя на Ноя, или нищета на обездоленных, или покрывало Танит на Саламбо, или кошка на скрипку, заключалось в том, что без душа вполне можно было обойтись. К тому же туман источал легкий аромат зачашшего абрикоса, так что личный запах вполне могло

отбить. А уж слышимость была просто великолепная, и звуки, обложенные невидимой ватой, приобретали странный резонанс, чистый и белый, будто голос лирического сопрано, раздробившего себе небо в результате неудачного падения на рукоятку плуга и вставившего протез из кованого серебра.

Прежде всего Орвер выкинул из головы все заботы и решил действовать как ни в чем не бывало. Вследствие чего оделся он без особых проблем, поскольку вся его одежда лежала как положено — то бишь отчасти на стульях, отчасти под кроватью, носки в ботинках, один ботинок в вазе, другой — в ночном горшке.

— Господи, до чего же чудная штука этот туман, — сказал себе Орвер. Этим не слишком оригинальным умозаключением он спас себя от дифирамбов, дешевого энтузиазма, грусти и черной меланхолии и поместил упомянутый феномен в категорию простых констатаций. Однако ж постепенно он смелел и в конце концов так освоился с необъяснимым, что принялся перебирать в уме возможности практических действий.

— Спустишь-ка я к консьержке, а пипиську выставлю наружу, — решил он. — Тогда будет ясно, туман это или у меня что-то с глазами.

Ибо присущий французу картезианский дух понуждает его сомневаться в существовании тумана, даже если туман этот такой густой, что ни зги не видно; что бы там ни говорили по радио, ничто не заставит его прийти к выводу о достоверности таинственных явлений. А на радио, известное дело, сидят одни олухи.

— Сейчас вот выставлю ее, — сказал Орвер, — и в таком виде спущусь.

Он выставил ее и в таком виде стал спускаться. Впервые в жизни он отметил, как скрипнула первая ступенька, вскрипнула вторая, вскрикнула четвертая, крикнула седьмая, шамкнула десятая, брякнула четырнадцатая, трямкнула семнадцатая, бренькнула двадцать вторая, а лишённые последней опоры латунные перила так и просто тренькнули.

Кто-то поднимался ему навстречу, держась за стену.

— Кто тут? — спросил Орвер, останавливаясь.

— Лерон! — ответил мсье Лерон, его сосед из квартиры напротив.

— Приветствую, — сказал Орвер, — это Латюиль.

Он протянул руку и коснулся чего-то твердого, что и пожал с некоторым недоумением. Лерон смущенно захихикал.

— Простите, — сказал он, — но ни черта не видно, и к тому же жарница в этом тумане жуткая.

— Ваша правда, — ответил Орвер.

Вспомнив о своей голой пипиське, он с досадой констатировал, что та же самая идея пришла в голову и Лерону.

— Ну что ж, до свиданья, — сказал Лерон.

— До свиданья, — попрощался Орвер и тайком распустил ремень.

Брюки тут же упали. Он их снял, а потом швырнул в пролет лестничной клетки. Действительно, жара в этом тумане, как у тифозного больного за пазухой. И коли уж Лерон выставил все свои причиндалы, так почему Лерон должен ходить одетым? Все или ничего.

Вслед за брюками полетели куртка и рубашка. Ботинки он все же оставил.

Спустившись вниз, Орвер тихонько постучал консьержке.

— Войдите, — послышался ее голос.

— Для меня почты нет? — осведомился Орвер.

— Ох, мсье Латюиль, вам бы все шутки шутить, — прыснула толстуха. — Вы ведь выспались на славу, правда? Я уж не хотела мешать... Но вы бы видели, как все словно с ума посходили в первые дни, когда этот туман лег. Потом, конечно, попривыкли, куда деваться...

По мощному запаху духов, прорвавшемуся сквозь завесу тумана, Орвер понял, что она приближается к нему.

— Оно конечно, готовкой заниматься несподручно, а так-то... — сказала она. — Ну до чего странный туман, право слово... Как будто сытный он какой-то, что ли. Взять меня, например: уж я-то поесть люблю, а тут за все три дня только стакан воды да кусочек хлеба, и больше ничего не хочется.

— Смотрите, похудеете, — заметил Орвер.

— А-ха-ха! — загоготала она. Смех ее напоминал падение мешка с орехами с высоты седьмого этажа. — Да вы только пощупайте, мсье Орвер, никогда я еще не была в такой отличной форме. Даже вот перси приподнялись. Да вы пощупайте, пощупайте.

— Э-э-э... гм... — пробормотал Орвер.

— Пощупайте, говорю.

Она наугад схватила его руку и положила на оконечность одной из упомянутых персей.

— Поразительно! — констатировал Орвер.

— А ведь мне уже сорок два. А? Ничего себе? Ведь не скажешь, правда? Таким вот, как я, то есть которые в теле... им в каком-то смысле даже лучше...

— Но послушайте! — вскричал потрясенный Орвер, — ведь вы же совершенно раздеты!

— А вы будто одеты?

— Ну да, конечно, — сказал себе Орвер. — Что это я вдруг?

— Они по радио сказали, — продолжала консьержка, — дескать это такая Херогенная Взбесь.

— Ах! — только и произнес Орвер. Консьержка, тяжело дыша, припала к нему, и на секунду ему показалось,

что дурацкий туман сыграл-таки с ним злую шутку.

— Послушайте, мадам Панюш, — взмолился он. — Ну что мы, звери, что ли? Коли это эрогенный туман, так надо себя сдерживать, ядрена вошь.

— О!о! — срывающимся голосом простонала мадам Панюш и ухватила его прямо за причинное место.

— Я умываю руки, — заявил Орвер с большим достоинством. — Делайте что хотите, я к этому отношения не имею.

— Вот мсье Лерон, он полюбезнее вас будет, — не растерялась консьержка. — А с вами все приходится делать самой.

— Что же вы хотите, — сказал Орвер, — я только сегодня проснулся, не привык еще.

— Так я вас научу, — ответила консьержка.

Засим произошли события, на которые мы предпочитаем набросить плащ обездоленных, нищету Ноя и Саламбо, а также покрывало Танит вместе со скрипкой.

От консьержки Орвер вышел разгоряченный. На улице он прислушался и понял, что недостает одной важной вещи: шума автомобилей. Зато отовсюду доносилось пение и взрывы хохота.

Немного обалдевший, Орвер вышел на проезжую часть. Его уши не привыкли к столь низкому порогу звука, так что он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Тут он заметил, что рассуждает вслух.

— Ведь это ж надо, — сказал он. — Эрогенный туман!

То есть все размышления Орвера вращались вокруг одного и того же предмета. Но поставим себя на место человека, который проспал одиннадцать суток кряду и просыпается в полной темноте, который констатирует, что старая толстуха консьержка превратилась в какую-то Валькирию с острыми пухлыми грудями, какую-то Цирцею, увлекающую мужчин в свое логово для все новых утех.

— Елки-палки! — добавил Орвер, дабы ускорить работу мысли. Тут он заметил, что стоит прямо посреди улицы, испугался, приблизился к стене и прошел сотню метров вдоль карниза. Здесь находилась булочная. Основные положения прикладной гигиены подсказывали ему, что после активного физического труда надлежит что-нибудь перекусить. Поэтому он зашел внутрь купить булочку.

В лавке стоял невообразимый шум.

Особых предрассудков за Орвером не водилось, но когда он смекнул, какой платы требует от клиентов булочница, а от клиенток — булочник, волосы у него на голове стали дыбом.

— Раз вы берете два фунта хлеба, — говорила булочница, — то я вправе требовать от вас соответствующего размера, черт побери!

— Но мадам, — возразил писклявый старческий голос, принадлежавший, как определил Орвер, мсье Кюрпицу, старому органисту с набережной, — но, мадам...

— А еще органист! — сказала булочница. — Где он, ваш орган-то?

— Свой орган я вам пришлю, — гордо ответил тот и направился к двери, однако столкнулся с Орвером, отчего у него аж дух перехватило.

— Следующий! — заорала булочница.

— Мне бы хлеба, — попросил Орвер, поглаживая живот.

— Буханку хлеба для мсье Латюиля! — распорядилась булочница.

— Да нет же! — простонал Орвер, — мне булочку, маленькую булочку.

— Вот хамло! — возмутилась булочница.

И обратилась к мужу:

— Слышь, Люсьен, надо его проучить, что ли. Займись-ка им ты сам.

Волосы на голове Орвера стали дыбом и он пустился бежать со всех ног, причем врезался в витрину. Она, однако, устояла. Тогда он обошел ее и наконец вышел. В булочной продолжалась оргия, юный подмастерье обслуживал детей.

— Вот чертова кукла! — ругался Орвер, стоя на тротуаре. — С такой-то рожей и туда же... Может, я сам хочу выбрать.

И тут он вспомнил про кондитерскую за мостом. Там работала одна такая чудесная девушка лет семнадцати, в гофрированном передничке, ротик сердечком... может, сейчас на ней ничего и нет, кроме передничка...

Орвер широким шагом зашагал к кондитерской. Трижды он спотыкался о переплетенные тела, и хотя не запомнил всех позиций, но успел отметить, что по крайней мере в одном случае партнеров было пятеро.

— Рим эпохи упадка! — бормотал он. — Камо грядеши! Фабиола! И с духом твоим! Оргии, стало быть!

Он потер себе темя: после неудачного знакомства с витриной в голову ему полетело пущенно рукой снайпера голубиное яйцо. Он ускорил шаг, ибо имеющая к нему некоторое отношение и значительно его опережавшая тень убеждала его в необходимости поспешать.

До места назначения, судя по всему, было уже недалеко. Он решил подойти к домам, чтобы двигаться на ощупь. По снабженному винтами фанерному кружку, что скреплял половинки треснувшей витрины, Орвер узнал лавку антиквара. Стало быть, через два дома будет кондитерская.

Тут он чуть не врезался в чье-то неподвижное тело и вскрикнул от неожиданности.

— Не толкайтесь, вы, — сказал грубый голос, — и сейчас же извольте убраться с моего зада, а не то как вымажу...

— Ну знаете ли, — сказал Орвер и повернул было налево, но тут же снова на кого-то наткнулся.

— Может, хватит? — послышался другой голос. — Становитесь в очередь. Что вы, лучше других?

Послышался громкий смех.

— Что? — спросил Орвер.

— Да-да, — ответил третий голос, — вы ведь к Нелли, не так ли?

— Да, — пролепетал Орвер.

— Вот и становитесь в очередь, — посоветовал тот. — Тут уже шестьдесят человек.

Совершенно подавленный, Орвер промолчал.

После чего он ушел, так и не выяснив, надет ли сегодня на девушке гофрированный передничек.

Орвер повернул в переулок налево и столкнулся с женщиной, что шла ему навстречу. От столкновения оба упали на колени.

— Прошу прощения, — сказал Орвер.

— Это вы меня извините, — сказала женщина. — Вы-то правильно шли, держались правой стороны.

— Позвольте мне помочь вам подняться, — предложил Орвер. — Вы ведь одна, не так ли?

— А вы тоже один? — спросила она. — Не будете на меня набрасываться впятером-вшестером?

— И вы — женщина, не так ли? — продолжал Орвер.

— Да вы сами взгляните.

Они приблизились друг к другу и Орвер ощутил на своей щеке прикосновение длинных шелковистых волос.

Орвер и женщина сидели один напротив другого на корточках.

— Где тут можно устроиться, чтобы никто не беспокоил? — спросил он.

— Посреди улицы.

Они перешли на середину улицы, ориентируясь по кромкам тротуара.

— Мне вас хочется, — сказал Орвер.

— А мне вас. Меня зовут...

Орвер не дал ей договорить.

— Неважно, — сказал он, — я ничего не хочу знать сверх того, что узнает мое тело и руки.

— Берите же меня, — предложила женщина.

— Вы, разумеется, не одеты.

— Да и вы тоже.

Орвер вытянулся рядом с ней.

— Спешить нам некуда, — сказала женщина. — Начинайте со ступней и поднимайтесь все выше и выше.

Орвер был несколько шокирован и сообщил ей об этом.

— Так вы сможете осмыслить происходящее, — пояснила женщина. — Вы ведь заметили, что в нашем распоряжении лишь тактильный контакт. Не забывайте, что ваш взгляд не в силах меня сконфузить. Ваша эротическая автономия горит синим пламенем. Будем честны и откровенны.

— Слова-то какие, — отозвался Орвер.

— Да уж, почитаваю журнал "Новое время", — ответила женщина. Ну так валяйте, посвящайте меня в таинства секса.

Орвер посвятил ее в таинства секса неоднократно и на разные лады. Ее предрасположенность к этому была неоспоримой, а область возможного значительно расширяется, когда не боишься, что вдруг загорится свет. Износу же этому делу, как известно, не бывает.

Орвер показал ей пару-тройку полезных приемов, а также научил многократно повторенному симметричному совокуплению, что внесло в их отношения ноту доверия.

Вот такая-то немудрящая безмятежная жизнь и уподобляет человека богу Пану.

III

Тем временем по радио объявили, что, по мнению ученых, феномен неуклонно ослабевает и туман день ото дня рассеивается.

Срочно был созван большой совет: угроза ведь нешуточная. Но решение быстро нашлось, человек ведь на редкость изобретателен. И когда туман рассеялся окончательно, — что зафиксировали специальные детекторные приборы, — блаженство продолжалось, ПОТОМУ КАК ВСЕ ПОВЫКАЛЫВАЛИ СЕБЕ ГЛАЗА.

Впервые опубликовано в:
Paris-Tabou, N 1, сентябрь 1949

Перевод К.Чекалова

МАХОВ. А что, это выкалывание глаз тоже как бы ...

ПЕШКОВ (машет обеими руками). Ну хватит, хватит на любовный номер фрейдизма!



**Я СИДЕЛ У ТЕЛЕВИЗОРА, ТЕЛЕКА, БЕЛОКУРАЯ АНАСТАСИЯ ПРОТЯЖНО
сообщала, что она**

была как лошадь
загнанная,
в мыле,

пришпоренная смелым седоком...

а я вполуха слушал пение, посмеиваясь и дивясь — хрестоматийные есенинские строчки обрели очевидную непристойность, стоило сменить мужской род на женский.

Пошла реклама (устраиваюсь поудобнее), а вот по экрану бежит стремительный черный росчерк
НЕВИДАЛЬ

а за кадром звучит капризный женский голос:

— Невидадь? Что же — и видно ничего не будет?

— Невидадь — то, что стоит за видимым...

В кадре — ведущие, мужчина и на удивление милая девица.

Мужчина серьезен, она держится свободно.

— Так о чем же фильм?

— О власти прошлого над нашим сознанием. О снах, любви и смерти.

— Я все же не уверена, что зрителя это займет. Сейчас сознание так политизировано...

— Как и сто с лишним лет назад. Спросите хоть князя Одоевского. Ничего хорошего он в этой политизации не видел.

— Что же, спросим, что говорил ваш князь...

— Наш князь. Наш.

Как много, все-таки, зависит от шрифта! На экране появился текст и мой телек стал подобием компьютера. Что-то пощелкивало, звучал бесстрастный голос диктора.

“Ничто столько не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто столько не делает глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которая называется политическим миром.”

В.Одоевский. Город без имени.

Строки гаснут.

— От внутренней, таинственной, настоящей его жизни... — задумчиво повторяет девушка.

Да о настоящей жизни! Настоящей и таинственной.

Я уже догадывался, что речь пойдет об архетипах, и мне понравилось, что это их назвали “невидадь”. Действительно, они и вездесущи (эка невидадь!), и вне воплощений не существуют — в этом смысле “собственно архетип”, “архетип как таковой” чистая невидадь, увидеть его нельзя.

Дальше пошел заурядный научпоп (я стал задремывать) — о том, что “архе” — первоначальный, древнейший, а “тип” — удар, оставляющий след... На экране я увидел какие-то камни, арку... (“Это еще к чему”, подумал я в полусне).

“Типом”, например, метили замковый камень арочного свода.

Какая-то метка там действительно была. Но метафору Юнга арка не проясняла. Он хотел сказать, что архетипически помечены многие связи сознания и мира, что архетипы обладают мощной порождающей силой и проявляют себя ненамеренно и ярко. Здесь скрыт неожиданный ход, возвращающий Юнга к Фрейду, но Юнг его не нашел. Нашел я.

Он и не мог его найти.

Юнг был еще любимым учеником Фрейда, “кронпринцем психоанализа”, когда ему приснился удивительный сон.

Гостиная, обставленная в стиле XVIII века (эта мебель была изящна, даже капризна, если можно так выразиться о прихотливо изогнутых ножках и спинках).

Он спускается в цокольный этаж. Тут стены покрыты темными дубовыми панелями, мебель куда старше — тяжелая, прочная, чуть ли не вечная мебель XVI века. Дверь! Он спускается по старинной лестнице в большую комнату со сводчатым потолком, и тихая мелодия, которая сопровождала его, гложет.

В комнате пусто. Гладкие, безмерно старые каменные плиты пола. Только в углу лежит что-то округлое, темное, металлическое. Он нагибается.

Это кольцо. Ухватившись за него, можно поднять плиту — вниз, в глубь ведет узкий лестничный пролет.

Он ведет в полутьму подвала, может быть пещеры, где виднеются два черепа, осколки каменных орудий, кости...

Пылинки, играющие в солнечном луче, напоминали зрителю о свете разума и просвещения, полутьма опустевших комнат, которые, однако, имели вполне жилой вид — о том, что прошлое всегда с нами и открыто для воспоминаний, а по стенам доисторической пещеры скользили тени.

Этот сон непосредственно связан с реальными обстоятельствами жизни Юнга. Он родился в доме, построенном двести лет назад, а мебель — от кухонного стола до кабинета и комодов и кроватей в спальне — насчитывала триста лет добротного семейного (а не музейного) существования. Вот такой это был взрослый в европейскую землю, в европейскую цивилизацию дом, а взгляды родителей своих Юнг с несвойственной ему прямотой называл средневековыми, они были истинно религиозные люди и Библию понимали не как мы, а буквально.

Меня отвлек голос Юнга.

— Про черепа не стал говорить Фрейду. Ему показалось бы, что верный Юнг ждет его смерти.

И неудивительно. Фрейд знал своего наследного принца. Он не знал, что тот видел во сне и приближающегося к смерти Зигфрида — а Фрейда звали Зигмунд и, конечно же, здесь произошла простейшая подстановка...

Фрейд. Сильное, грустное, властное лицо.

— Я не знал. Но я не удивлен.

Ведущая отодвинула портрет Фрейда и сказала:

— Сны? А что сны? Я их забываю сразу...

— Сны — это то, с чего начинается наша жизнь, и то, чем возможно, она кончается.

— Как это? Я не понимаю.

— Просто. Ребенок, пока он не родился, спит много месяцев. И видит сны. Так начинается жизнь.

— А кончается?

Самый простой и впечатляющий лозунг времен Великой французской революции был по приказанию Фуше начертан на стенах кладбищ: смерть — это вечный сон.

Спящий.

За кадром женский голос.

— А знаете, есть поверье, что не надо фотографировать спящих, они на снимках — как покойники.

— Да. И стихи есть:

Усни, беспечный и неточный.

Усни. С тебя спадут полночно

Оковы страсти и тоски,

И пусть на трепетные вежды

Положит ночь гроши надежды,

А не печали пятаки...

Где он это прочел, не публиковалось же, подумал я, но задуматься не успел: уже шли кадры из “Орфея” Кокто.

Женщина выходит из зеркала и стоит над постелью спящего.

Кокто сделал это блестяще: нарисовал глаза на веках Марии Казарес, игравшей мадам Смерть. Но в “восстановленном”, как сейчас принято выражаться, на Мосфильме варианте фильма этого кадра нет. Во французском подлиннике он есть, я видел. Именно в эту секунду прозвучал голос за кадром (испуганно, шепотом):

— Ой, кто это?

— Смерть.

И вот она уходит, забыв черные перчатки и с размаху ударив руками по стеклу... Она проходит в раму, осколки зеркала взмывают вверх, слипаются и — снова зеркало цело, мужчина просыпается в привычной ему комнате

— А что заставляет нас связывать зеркало и смерть?

— Жизнь. Она длится и, глядясь в зеркало, человек начинает все чаще замечать, как над ним работает смерть. Потом он умирает — и занавешивают зеркала, останавливают часы...

— Говорят, если их не остановить, они сами сломаются...

— Говорят...

На экране высвечивается надпись. Она и звучит — вполголоса: "Символы встречаются не только в сновидениях. Даже неодушевленные объекты взаимодействуют с бессознательным. Существуют многочисленные вполне достоверные рассказы о часах, остановившихся в момент смерти их владельца, о зеркалах, которые разбиваются, когда наступает смерть... Скептики отказываются верить таким рассказам, но они всегда появляются и одно это уже служит доказательством их психологического значения".

Юнг. Приближаясь к бессознательному.

Светящиеся строчки гаснут.

За кадром:

— Но я не вижу сходства между зеркалом и часами...

— Оно есть. В старину...

Циферблат часов с латинской надписью.

— В старину на циферблатах писали про каждый час: "Все ранят, последний убивает".

Да, каждый час жизни наносит нам невидимую рану. Последний час жизни — это час смерти.

И блещут на циферблате соединившиеся стрелки, как лезвие кинжала.

— На границе жизни и смерти — сон, на границе яви и сна — миф.

Но на экране проступала из затемнения какая-то больничная палата.

— Сны — это вид рега, царская дорога, главный путь в глубины подсознания...

Постель, тумбочка с будильником, засыпает женщина. Все очень обычно.

Титр:

Первый сон пациентки доктора Юнга.

Оживленная улица большого европейского города. Поздний вечер, ярко освещенные витрины, неоновые надписи над крышами.

Воет сирена.

Гаснет свет. Все бегут — и мы видим в толпе ту женщину, которая только что засыпала. И она хочет спрятаться, бросается к каким-то подъездам, стеклянным дверям, погасшим витринам.

Все заперто.

Она оглядывается.

Пусто.

Она растерянно поднимает глаза.

И видит в небе блестящий округлый предмет.

Вой сирены обрывается. Мертвая тишина.

Женщина прижимается к стене, чувствуя, что за ней следят с медленно плывущей в пространстве летающей тарелки, понимая, что это к ней спускается с небес загадочный диск, что она одна во внезапно вымершем городе.

В тишине раздается стук.

Негромкий стук каблучков по мостовой.

Он все громче.

Уверенно, четко постукивая шпильками, идет кто-то навстречу медленно растущему в небе НЛО.

Черные очертания огромных зданий.

Негромкий, скребущий металлический звук — и они исчезают.

Горит ночник.

Женщина в постели широко открывает глаза.

Обрывается и невыносимо громкий стук сердца — его сменяет мерное тикание часов. Круглый циферблат.

6.34. — блестящие стрелки сошлись словно опущенный кинжал.

Женщина засыпает вновь.

Титр:

Второй сон пациентки доктора Юнга.

Снова ночная улица.

Женщина идет торопливо, она почти бежит, она боится поднять глаза — но по мостовой побежали какие-то неясные синие тени, пятна света.

Она невольно поднимает голову.

В небе сияет, плывет эскадрилья НЛО.

Один из них устремляется к ней.

Она стоит, оцепенев.

НЛО растет — и становится жутким подобием глаза, наполовину синего, наполовину голубого.

Все вокруг начинает светлеть, становится больнично-белым, и вот уже это не улица, не дом, а стены палаты, женщина лежит в постели (почему-то в своей, не в больничной постели), голова ее забинтована.

Знакомо стуча каблуками, входит медсестра, склоняется к ней и тихо:

— Вас обжег Взгляд...

— Да, взгляд! Летающие тарелки — это воплощенный страх и надежда на то, что мы не одни, страх, что на нас смотрят, надежда, что за нами смотрят и, может быть, снизойдут, не дадут погибнуть...

— Возможно, — соглашается девушка, — возможно. Однако вы объясняете, почему всем этим визионерам и контактерам верят другие люди. Широкие массы, так сказать. Но сами-то визионеры?

— Да. Я убежден, что в прошлом каждого из них таится страх перед тем, что кто-то в прошлом видел...

— Что? — с глубоким интересом спрашивает девушка.

— Ну не знаю... Скажем, вся наша интимная жизнь построена на том, что чужой взгляд может ее осквернить, разрушить. И были у них такие страхи, может быть, такие события, переживания — и память о них лежит в глубине подсознания и неслышно тикает, как часовой механизм бомбы замедленного действия. Мы не слышим этого тиканья, память не может достучаться до сознания, но во сне на нас смотрит Взгляд.

— А наяву?

— А у тех, кто видит летающие тарелки — и наяву. Ведь и Венеру принимали за НЛО. Важно, кто на нее смотрел. Павлиний глаз — пятно на пере павлина — пробудил у Блейка...

— У кого?

Ведущий — торжественно:

— Уильям Блейк, мудрец, поэт, художник, говорит...

Раскрывается веер павлиньих перьев.

За кадром:

— Гордость павлина — слава Божия.

И меркнувшие глаза на павлиньих перьях сменила козлиная морда — безумная, ироничная, дьявольская, жующая выпяченными губами.

— Похоть козла — щедрость Божия.

Рычит лев. Он грозен. Он тонет в ночной мгле.

— Гнев льва — мудрость Божия.

А в полутьме просвечивают задернутые шторы, женщина снимает чулки, белье, ложится в постель.

— Нагая женщина — дело рук Божьих.

Но контраста с высоким стилем Блейка здесь не было. Женщина ложилась в постель, ждала и не засыпала, и зритель понимал, что нагота женщины, обыденная, еженощная — не менее удивительное творение господне, чем чудеса живой природы, известные всем более по телевизору или иллюстрированным журналам.

— Такие чудеса нам тоже более по "Плейбою" известны, — возразила мне ведущая с экрана. — Но к чему тут павлин, лев, гнев...

И улыбнулась случайной рифме.

— ... когда мы говорим о Взгляде.

— Мы говорим о гневе Божиим на ту, что по сл е скрыла наготу свою от Взгляда.

— После. А д о?

— Об этом есть апокриф. Об этом прекрасно — у Бунина.

В час полуденный, зыбко свиваясь по древу,

Водит, тянется малой головкой своей,

Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву

Искушающий змей.

И стройна, высока, с преклоненными взорами Ева,

И к бедру ее круглому гривую ластится лев,

И в короне павлин

Громко кличет с заветного дерева

О блаженном стыде искушаемых дев.

— Очень сильно, — согласилась девушка. — Так Глас Божий и Глаз Божий — не случайное созвучие?

— Не знаю, не думал, — рассеянно сказал ведущий. — Но все это было в раю, мы никогда не перестанем искать и ждать его, и находили...

На экране возник атолл. Альдабра. Пальмы, прибор.

— Именно здесь путешественник увидел орех, напоминавший...

Он запнулся. Тем временем появился орех — во весь экран.

— ... или, точнее, имевший форму и вид женского лона.

И правда, орех был решительно неприличен. За кадром ведущий продолжал рассказывать, как какой-то путешественник пришел к выводу, что этот коралловый атолл, расположенный на вершине подводного вулкана — уцелевший от потопа обломок рая.

— Почему? Да потому, что Ева дала Адаму этот орех, они его съели, поняли, что э т о вкусно и — они были голые — согрешили по аналогии.

Атолл. Леса, берег. И морская пена на белом песке. Из нее выползла черепаха.

— И черепахи тут были какие-то допотопные, гигантские, и зимы не было, птицы и крабы не боялись человека...

Рай, как усомниться!

— И из ореха стали изготавливать любовный напиток, — насмешливо закончила девица за кадром.

— Дело тут не в любовном напитке, не в странном орехе, не в чудесном атолле...

Волны набегают на берег и, тихо шипя, уходят в песок.

— ... а в океане. В зачатии.

— Не понимаю, — надменно сказала девушка.

— Если разрешите, я приведу вам выдержку из Литаэрта Пеербольте.

— Какие вы имена знаете...

Это было сказано с ехидством, но ведущий уже читал книгу.

— Вот... "Яйцо вышло из яичника и спокойно ожидает, что произойдет дальше. В терминологии Фрейда, мы имеем дело с состоянием океанических чувств. Яйцу свойственно ощущение покачивания туда-сюда словно на большом водном пространстве и одновременно ощущение того, что оно есть часть этой воды. Нельзя еще говорить о настоящем сознании. Существует ощущение одной лишь бесконечности и того, что яйцо составляет часть этой бесконечности. В снах данный опыт часто предстает в виде больших водных пространств, а также представлений о коллективности (группа, община и пр.), явно наводя на мысль о соответствующем опыте в яичнике, и, таким образом, об опыте в период до овуляции."

— То есть получается, что у яйца есть память? Это еще до...

— Еще до!

— А потом?

— Потом сперматозоид. Потом зародыш. Потом малыш.

— И все это — в памяти?

— В архетипической памяти.

На экране:

"От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина."

Лев Толстой.

— А что в пучине?

Вот сейчас, подумал я. И действительно, ведущий раскрыл хорошо знакомый мне журнал.

— Согласно гипотезе Брудного...

— А попроче вы не можете?

— Могу. Вы, конечно, помните, что развитие зародыша...

Девица сосредоточилась и — чувствовалось — наморщила скрытый густой челкой лобик. Зародыш возник и (чудеса мультипликации) стал быстро изменяться на экране — то похожий на головастика, то с хвостиком. Сходство с животными было слегка утрировано, но мне это и нужно было.

— Ну помню, — сказала, наконец, девица. — И что?

На экране:

"И все же нет на свете сказки более удивительной, мечты более фантастической и чарующей, чем учение о перевоплощении."

Ясунари Кавабата.

— Вы уже поняли — сущность гипотезы в этом и состоит — что учение о перевоплощении имеет первоосновой память о существовании до рождения. Так легко представить себе, что ко г д а — то вы были лягушкой или волком...

— А рождение?

— О, это одна из двух великих травм: есть травма зарождения...

Тусклое зарево костров. И не понятно в дыму, что жгут — книги, людей?

— Травма зарождения хорошо знакома всем, кто открывал и отстаивал н о в о е.

И травма рождения, лежащая в подсознании людей и организаций...

— Непонятно, что за травмы. Как вы сказали — зарождения?

— Да. Это память о проникновении сперматозоида в яйцо, ему надо пробить оболочку яйца, это биологически сложно и — незабываемо. Ну, а травма рождения — в ней ничего непонятного нет, рождение ранит двоих людей, и мать, и ребенка...

— Людей — это ладно еще, но организаций?

— А вспомните безумный страх перед расколом, который преследовал партию большевиков, каковы бы ни были ее обличья и маски — от РСДРП(б) до КПСС. Она родилась в результате раскола РСДРП и травма рождения породила в ней страх, который не был преодолен даже перед гибелью. Она погибла в с я, распалась и сейчас тщетно пытается срастись, но это уже другая история.

— Не будем об этом. Вернемся к Юнгу...

Океан, слабо волнующийся, безбрежный, корабли, — я увидел завораживающую каждого картину, я ощущал это укачивание, уводящее в сон, в прошлое, далекое прошлое.

А кораблики плыли по океану.

Но не флот — каждый корабль плывет своим курсом.

Чем выше мы поднимаемся над морем, тем многочисленнее эти кораблики и тем синее, глубже, бездоннее вода.

— Вот сущность великого открытия Юнга. Есть общий для всех людей пласт коллективного бессознательного, “по которому, — говорил он, — личное, индивидуальное сознание плывет, как корабль.”

Волны.

— Это поразительно сильное сравнение. Вода в стакане прозрачна, вода в океане темна.

— Так рождение — это переправа от т у д а ?

— Да.

— Да?

Корзина раскачивается в воде.

— В плывущей корзиночке были найдены:

Моисей,

Саргон, царь ассирийский,

Ромул и Рем,

Чжу, царь э-ланов,

Чингиз-хан,

Гвидон.

— Какой Гвидон?

— А вы забыли? В небе блещут звезды, в море плещут волны, качается на волнах маленький бочонок...

— Вышиб дно и вышел вон. Рождение!

— Второе рождение... поначалу его посадили в бочку, потому что царю Салтану донесли, что царевна родила “неведому зверюшку”...

— Правильно. А что это вдруг царь в т а к о е поверил? Что он, на ребенка посмотреть не мог? Ответ прост: ему сообщили, что царица родила оборотня. Так что вид младенца не убедил бы: то он младенец, то, скажем, волчонок. Оборотень вообще наш таинственный герой. Влекущий к себе, непонятный..

— Чей это — наш?

— Хотя бы пушкинский. Его Самозванец очень обаятелен. На самом деле он был несколько иным...

Портрет.

— И как это люди могли поверить, что это сын Иоанна Грозного — непонятно.

Портрет оживает и подмигивает.

— То есть поначалу-то как раз и не верили — “они же ему плеваху и на смех претворяху”.

Самозванец — он ожил, но все еще находится в роскошной раме — делает жест возмущения.

— Поляки поверили... но требовали, конечно, подтверждения.

И вот...

Самозванец вылезает из рамы и оказывается в зале дворца, по-польски роскошного, хотя и несколько провинциального. Придворные расступаются, но как-то недостаточно почтительно. Впрочем, он и должен стоять среди них — предстоит процедура опознания.

— И вот был срочно найден какой-то беглец из Москвы, который Самозванца никогда не видел в глаза, но должен был во всеуслышание заявить: “Царевич! Как ты спасся! Я Петрушка, твой верный слуга!”

“Верный слуга” появляется на экране. Его полусшепотом инструктируют: “Рыжий... бородавка... левая рука короче... красный камзол...”, он поспешно кивает, и видно — это не только мелкий жулик, но глупый, трусливый, наивный парень.

И вот его вводят в зал, этого Петрушку, говор стихает.

Общее ожидание.

Петрушка видит, что среди вельмож стоит некто

одна рука короче другой

рыжий

с бородавкой

понимает, что это — оборотень

и молчит.

У него отнялся язык.

Мертвая тишина.

Все смотрят на царевича. Он смертельно побледнел, замер, но тотчас нашелся — и презрительно улыбнулся.

— Узнаешь меня, верный слуга? — говорит он.

— Узнаю, — отвечает растерявшийся лжесвидетель. Он преодолел внезапную немому, слезы облегчения текут по его лицу, царевич треплет его по плечу.

— А вы узнаете?



И далее вмонтированы кадры из швейцеровского “Золотого теленка”.

Дети лейтенанта Шмидта у председателя Горсовета.

Мучительная пауза.

— Узнаешь брата Колю? — железным голосом спрашивает Бендер испуганного Балаганова.

Юрский здесь великолепен.

— Узнаю! — восклицает прозревший Куравлев. — Узнаю брата Колю!

Затемнение.

— Это не случайное совпадение, разумеется. К оборотню нельзя было обращаться первым. Он сам должен был заговорить.

Как видите, происходившее на самом деле и придуманное писателями странно совпадает. Случайно ли это? Разумеется, нет.

С темой оборотня связана и не имеющая разумных объяснений популярность зачастую просто глупых “шпионских фильмов”, хотя вот этот фильм просто глупым не назовешь.

Кадры из “Семнадцати мгновений весны”.

— Почему так нравился, да, в сущности, и сейчас еще продолжает нравиться этот фильм, этот актер? Что, ему особенно к лицу эсэсовская форма? Нет, господа, дело не в этом. Дело в том, что он о б о р о т е н ь, он обернулся эсэсовцем... и не случайно один из самых впечатляющих эпизодов — это проход (заметьте, тут не стрельба, не угрозы, не объяснения в любви — просто идет человек в форме)... Проход Штирлица по Большому дому на Принц-Альбрехтштрассе, когда там уже начинают догадываться, что он оборотень.

Действительно, к нему никто не решается обратиться. Только проносится от телефона к телефону, от кабинета к кабинету: “Штирлиц идет по коридору! Штирлиц идет по коридору!..”

— Знаете, вы преувеличиваете, по-моему. Тема оборотня здесь просто за уши притянута.

— Никоме образом. Сознанию или, точнее, подсознанию этих людей образ оборотня не только не чужд, а даже втайне близок. Когда союзники оккупировали Германию, эти люди оделись в штатское, ушли в подполье, в организацию “Вервольф”.

— Вервольф? А что, собственно, такое “вер в ольф”?

— Оборотень. Волк — оборотень.

Лес.

Таинственный.

Хвойный.

Из-за деревьев внезапно высовывается волчья морда.

Исчезает.

— За волком и лесом стоит непередаваемо далекое прошлое.

Лес — это мир, в котором существуют иные возможности, как после смерти, как во сне. Отношение к волку амбивалентно. Он и страшный враг, и предок лучшего друга — охотничьей собаки. Он, может быть, человек! Он только на время, колдовским образом стал волком. Кто знает?

Я с увлечением рассматривал замечательные, быть может, гениальные рисунки Ватагина к “Маугли”. Он, как и Киплинг, отлично понимал, что братство с волками есть по сути дела братство с людьми, одно только — невероятно трудное! — условие придает смысл и ценность этому братству: ты должен оставаться самим собой, а значит человеком. Как только потеряешь свое “я”, станешь таким как другие — обратишься в волка.

Девушка на экране тряхнула челкой.

— Человеком... Людей нет, есть мужчины и женщины. Что, неправда?

И уже не нахальная девчонка, очень довольная тем, что ее слушают и разглядывают, а незнакомая женщина смотрела на меня с экрана — внимательно, вопросительно, тревожно. Она улыбнулась мне — неуверенно, ласково, и вдруг сдвинула брови, лицо ее исказилось... Но то ли злоба, то ли страсть стихли, взгляд ее стал божественно ясным, незамутненным.

Где они нашли такую актрису, подумал я сонно.

— Отношение к женщине тройко: к той, что родила, к той, которой веришь, к той, которая губит. Мать, подруга, погубительница — три главные женские роли в пьесе, что идет на подмостках Жизни уже сто тысяч лет. Одну и ту же пьесу играют разные актеры. И будут играть ее еще тысячи... лет, не будем загадывать — пока существует человечество.

Затемнение.

— Итак, главный вывод Юнга состоит в том, что у всего на свете есть прообраз. У всего, что нас окружает.

— Мы привыкли видеть не ладонь, черпающую воду, а ковш...

Рука и ковш. Двойная экспозиция. Видно, как сквозь кисть руки просвечивает ковш, а сквозь предплечье — вытянутая ручка.

—... не ладонь, а пиалу...

Руки сложены горсточкой. Просвечивает пиала.

—... не пальцы, а вилку.

Здесь сходство особенно велико.

— Здороваясь, мы пожимаем руки, не для того, чтобы убедиться, что в них не скрыты нож, игла или острый

камень. Но все равно, рукопожатие есть телесное соприкосновение, и оно служит символом доверия.

Рукопожатия. То крепкое, то небрежное, то нежное... Сильные мужские пальцы на мгновение задерживают тонкие женские.

— Символический характер, как это показал некогда Фрейд, носят обручение: кольцо (женский символ), надевают на палец...

Обручение. Крупный план.

... предвещая и изображая акт высшей близости, какая только возможна между мужчиной и женщиной, акт полного доверия с его стороны.

— Что-что? С его стороны? — строптиво вопрошает ведущий голос.

— Да, именно с его стороны. Ложась в постель с женщиной, он не задумывается, какой это был когда-то акт доверия, ведь она — не родная, не сестра, не мать, ты же гол, незащищен, после ты вскоре успеешь, ей так легко убить тебя!

Все это видит зритель и текст совершенно меняет его отношение к этим, в сущности, нарушающим все приличия сценам.

Так — от руки Хильдочки, Ильдики, на брачном ложе умер Аттила. И в Библии есть классический сюжет о том, как Юдифь пришла в красный шатер вражеского военачальника Олоферна, отдалась ему — и убила его, отсекала спящему голову.

Мы видим их на экране. И слышим стихи Гумилева:

Сатрап был мощен и прекрасен телом,
 Был голос у него как гул сраженья,
 И все же девушкой не овладело
 Томительное головокруженье.
 Но верно в час блаженный и проклятый,
 Когда как омут приняло их ложе,
 Поднялся ассирийский бык крылатый
 Так странно с ангелом любви несхожий.

Юдифь. Не та, что все видели в Эрмитаже, не "Юдифь" Джорджоне. Та очень красива — и очень далека от всего, что нас окружает. Нет, "Юдифь" Боттичелли. Ее мало кто у нас видел. Боттичелли был в высоком смысле слова реалистом и (хотя это 1472 г.) рисовал тех, кого мы видим ежедневно и знаем хорошо. На картине Боттичелли Юдифь возвращается из лагеря Олоферна с личиком ученицы ПТУ, которая возвращается в общежитие после первой в жизни ночи любви. Для полноты впечатления ее сопровождает сплетница-подружка: это служанка с головою Олоферна на плече. Юдифь — опечаленная, молоденькая, усталая, рассеянно помахивает мечом и зеленой веточкой.

А вот теперь "Юдифь" Джорджоне. Со слабой презрительной усмешкой она попирает голову Олоферна, а за кадром звучат слова: "Мы привыкли, что тело женщины дарит жизнь, а меч мужчины ее отнимает. Но здесь вы видите, как чудовищно, невероятно близки жизнь и смерть".

— Много, очень многое пришло к нам из бескрайнего мира живого, ибо мы живые и это главнейшее наше свойство.

А быть живыми

это значит появиться на свет

желать

и уходить навсегда.

Римское надгробие. Латинская надпись:

Меня не было.

Я была.

Меня больше нет.

Я ничего не хочу.

— Это не только о людях. Только люди способны сказать об этом, но не только людям свойственно желать, потерять голову, погибать.

Зелень. Яркая, ни на что не похожая, это тропики... Нет, это известный эффект Анри Руссо — он рисовал волшебные леса, ложась в траву, рассматривая ее в бинокль. Так и здесь, масштаб внезапно меняется, когда среди пышной зелени мы видим книгу: она лежит в траве. Ветер листает ее, раскачивая травинки, и я слышал голос Карла Сагана, видел удивительных, карикатурно схожих с человеком насекомых.

— Самка богомола в ответ на серьезное ухаживание в буквальном смысле лишает своего поклонника головы.

Самка богомола откусывает голову самцу.

— В человеческом обществе такое поведение считалось бы асоциальным, но у насекомых оно в порядке вещей. Удаление головы снимает торможение сексуальных инстинктов и побуждает то, что осталось от самца — его тело — к соитию. После этого самка завершает торжество трапезой в одиночку.

Самка съедает самца.

Нечто подобное я видел в "Хронике Хеллстрома".

Ветер захлопывает книгу. Это "Драконы Эдема".

— Нет, — говорит ведущий, — мы не произошли от насекомых, другая ветвь эволюции, мы ничего не могли от них унаследовать, но общим для нас и для них является половой отбор, и это...

— Что “это”? — перебила девица. — Что вы имеете в виду? Это?

Ночная улица, витрины. Кириллица, но вывески не русские — ближнее зарубежье. Диваны и кресла-кровати за стеклом витрины, над которой светятся синие аргонные трубки “МЕБЛЯ”.

Студенческая орава. Кто-то швыряет сумку, точно попадая в “М”. Сыплются осколки, студенты разбегаются, хохот стихает, четыре оставшихся буквы спокойно сияют в тишине.

— Нет, — спокойно и даже грустно говорит ведущий, — не это. К стати, “Мэбля” пишется через “э”. Это совсем другое. Вас учили, что человека создал труд...

— Учили.

— А человека создал половой отбор, ему классическая работа Дарвина и посвящена. Половой отбор превращает “что” в “кто”, кто — это становится решающим.

Замелькали кадры из незабываемого годаровского фильма. Мишель (Бельмондо, молодой Бельмондо) и ... забыл. В фильме ее зовут Патриция. Патрис.

Патрис — тоненькая, прищуренная — спрашивает Мишеля:

— Ты знаешь Фолкнера?

— Нет. А кто это? Ты с ним перепихнулась?

— Нет.

— Тогда он меня не интересует.

— Он писатель, — объясняет Патрис. — Вот послушай, это очень красиво: “Между печалью и небытием я выбираю печаль”. А что выбираешь ты?

Мишель — сразу:

— Печаль — это глупо. Я выбираю небытие. (Подумав). Печально — это компромисс. А мне надо все или ничего. Сейчас я это понял.

Он обнимает Патрис.

И вот уже приемник весело объявляет: “Начинаем передачу “Работаем под музыку”. Из-под простыни тянется тонкая девичья рука и заглушает джаз.

А потом Мишель откидывает угол простыни. “И все”, говорит он.

Нет, не все. Он положительно тот человек, который необходим этому времени, этой девушке (которая вскоре его и погубила, но не это важно. Важно, что он — необходим. Именно он.

Это и есть половой отбор. Преодоление небытия).

На экране:

“У женщин чувственность просыпается, когда к ней прикасается “герой”. Герой нашего времени, разумеется. Ибо для каждой эпохи — свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Она бессознательно стремится спасти вырождающуюся расу.”

В.В. Шульгин

— Насчет “вырождающейся расы” — конечно разговоры в духе времени (писалось в 20-х годах), но главное здесь схвачено верно. Спасать лучше для эпохи, скорее даже для будущей. Это что-то подобное плотике Тойнби — плавсредству для героя.

— Плавсредство? Это вы — о чем?

Но ведущий не слушал. Он говорил с собой. Со мной.

— На плотике... Тойнби говорит, на маленьком плотике. Надлом уже произошел, крушение на пороге, но его, как всегда, не ждут. Только в подсознании закрепляется предвосхищение будущей гибели. Тогда и возникают будущие великие религии. Они-то и переплывают на маленьком плотике разверзшуюся бездну.

Вот и крушение, конец всему, ан нет, не всему — в самом переживании конца спрятано нечто уходящее дальше. И люди, родившиеся от тех, кто искал и ждал, уходят дальше.

Эта ориентация вообще характерна для полового отбора — от сближения, влечения (горизонталь) к потомству, вертикали, уходящей вверх, в будущее.

— Так... Но двое соединяются только для того, чтобы послать в будущее то, что они получили из прошлого?

— Да. Хотя нет, не только для того. Но то, что они получили — безмерно важно, это и есть архетипы, архетипично все наше отношение к вещам и к людям...

Автомобиль на вечернем, ведущем в город шоссе.

Постукивая на стыках, проходит длинный состав, ведомый паровозом.

Разгоняется на взлетной полосе и круто уходит вверх, в облака самолет.

Все это — в привычных тонах, ничего сверхъестественного или, скажем, подчеркнуто условного. Хроникально.

— Что это, по-вашему?

— Как — что? Средства передвижения, скорее всего.

— Передвижения ко го?

— Человеска...

— Так вот, все это входит в жизнь человека, становится частью саги, мифа, рассказа о нем.

Вечерняя улица.

Отчаянно тянет руку, голосует девчонка в джинсах — машины проносятся мимо.

Но вот одна из них сворачивает к обочине. Человек в черной кожаной куртке приоткрывает дверцу.

Он не похож на гуляку.

Он очень серьезен, почти мрачен.

Он кивает, девчонка торопливо усаживается рядом.

Меркнут кровавые стоп-сигналы, машина срывается с места и уходит в даль темнеющей улицы.

— Может быть, она сунет ему сотню, и он послушно притормозит на Кировной, а может быть это похищение еще одной подопытной ученым, который ставит преступные эксперименты с ЛСД...

Темный подъезд. Мужчина твердо взял девушку под руку, и она смотрит на него с удивлением и страхом.

— ... подобное мифологическому похищению Прозерины Плутоном, тем, что царит в подземном царстве?

Неизвестно. Но прообраз этой реальной жизненной ситуации мифологичен. Как и другой — в ней тоже скрыто начало оборванной смертью (и потому тоже таинственной) истории.

Взлетает истребитель Чкалова. Это ревущий И-180, краснокрылый, в кабине Чкалов показывает большой палец — во! — пилоту пролетающего мимо самолета. И вдруг рев обрывается. Мотор задыхается, стреляет, молчит. В мертвой зимней тишине И-180 ложится на крыло. Сейчас он пойдет к земле, но я это не увижу, затемнение.

— Орел Зевса воплощает высь, в которой живут олимпийцы, это их мир... А на земле дышали огнем и выдыхали дым огромные драконы.

И вот немецкий поезд в Польше 1942 года, он угрожающе надвигается на зрителя

— и с грохотом сходит с рельс.

— Дракон повержен!

Это было под Бялой Подляской, это "Армия Крайова" с ее безумной и всепоглощающей верой в Бога, Польшу, независимость.

Солдаты АК чувствовали, что живут в мифе, в саге, в эпосе о самих себе.

А из затемнения возникают светящиеся на экране строки:

"Вместо Зевсова орла или птицы Рух — самолет,

вместо сражения с драконом — железнодорожная катастрофа,

Плутона, похищающего Прозерпину сменяет лихач-водитель."

Юнг. Психология и творчество.

Надпись сменила аудитория, то шумная, то стихающая, докладчик с очень знакомым голосом (лица и я не видел, он читал, уткнувшись в текст).

— Нельзя согласиться с Форстером, который утверждает, что рождение и смерть, эти важнейшие факты человеческого существования, отсутствуют в нашем опыте. В личном — да, но они присутствуют в совместно разделяемом нами опыте прошлого, в коллективном бессознательном, которым мы владеем сообща.

Шум. Голоса: "Непонятно". Докладчик возмущается.

— Ну что непонятно-то? Вы же не помните, как родились, а уж тем более не знаете, как умрете. Но знаете, чувствуете, что рождение бы л о ...

Спокойный голос из первого ряда.

— А я помню, как умирал...

Мертвая тишина.

Докладчик тоже забыл о споре. Все уставились на седого человека в первом ряду.

Тот говорит, ни к кому не обращаясь:

— Зазвенело в ушах — и все, темнота. Очнулся, я в палате реанимации, казалось — после долгого сна.

Все словно чего-то ждут. И докладчик тоже. Седой человек заканчивает:

— Нет, видений не было никаких.

Докладчик:

— Так я говорил о коллективном опыте...

Снова начинает читать.

— И опыт этот решительно отличается от личного: в архетипическом сознании запечатлелось представление, что смерть угрожающе вероятна, внезапна, но не неизбежна: жизнь была в общем непродолжительна, люди по существу не знали "естественной смерти", они гибли, а гибель всегда несет в себе элемент случайности.

Шум. Возгласы: "А вера?"

— Вера в воскрешение, в различных формах проявляющая себя во множестве религий, находит частичное объяснение в том, что сон (с неизбежным пробуждением!) представлялся даже более неотвратимым, чем смерть. Тысячи лет продолжительность индивидуального существования оставалась невелика, и отвлеченное понятие естественной смерти формировалось достаточно долго; оно остается отвлеченным от уровня обыденного сознания и посейчас.

Пауза. Докладчик заканчивает:

— Смерть естественной не бывает.

Шум. Одни хлопают, другие возмущаются.

Вдруг встает пожилой человек (шум стихает, его знают) и растерянно говорит:

— А мы и правда ищем виноватых во всем, что с нами происходит. Инсульт, КПСС, нерадивый врач, рак, землетрясение...

Шепот: “О чем он?”

— Это только псевдонимы неизбежности. Но еще Сенека сказал — “от неизбежного уйти нельзя, но его можно победить”.

Из зала донесся голос; голос Мэри Л., которая — я хорошо это знал — умерла шесть лет назад:

— Смерть или сон?

— Это только псевдонимы неизбежности.

Затемнение. И во тьме звучит вопрос: “Смерти или сна?”

Я знал, что я хочу увидеть. И увидел. Их двое:

Танатос, Смерть, и брат Смерти —

Гипнос, Сон.

Античные — мраморные и бронзовые — лики Смерти и Сна.

Капризный голос:

— Какие они все неживые, еще в школе надоели! Как греки эти могли в них верить, непонятно даже...

— А они не такие были — и глаза были из самоцветов, и на мрамор и бронзу накладывали краски.

Гипнос и Танатос. Они уже другие. Наивно устрашающие идола — раскрашенные, украшенные.

— И все равно, — говорит девушка за кадром. — Как в такое можно было поверить...

И тихо ахает. Гипнос и Танатос оживают. Танатос смотрит нам в глаза пристально, презрительно, властно.

Гипнос слабо улыбается, не поднимая век. Танатос страшен. Гипнос непобедим.

— Он спит, Гипнос, в стране киммерийцев...

— Где это?

— Сейчас это Россия и Украина... Спит в пещере.

Не отсюда ли странная теория, что Россия — это сон истории, иногда чудесный, иногда страшный, то смешной, то грустный, то прелестный, то пугающий, но всегда бессвязный, алогичный, бесконечно глубокий сон, ведь все, что с нами происходит, так нелепо, что на самом деле этого и быть не может...

Помните, как Фрейд объясняет, почему продолжают сны?

Если бы нам кто-нибудь рассказывал, что такое было, мы давно перебили бы его: чушь несешь! Но сон — это особое состояние человека. Его сознание как бы шепчет сну: “Да, да ты прав, но дай мне спать”. Это наш голос, наш шепот, это мы шепчем Родине: “да, да, ты права”. А как иначе? Она одна.

И мы спим и снятся друг другу.

— Да, сон истории! Об этом замечательно сказано у петербургского поэта Багрова:

Какая странная страна!

Какую жизнь ведет она!

Днем рубит головы, ворует,

И лжет, и дико озорует,

И тут дела ее ясны.

Зато какие видит сны!

И только зорька заалеет,

Она тоскует, всех жалеет.

И, как под ризой у Христа,

Опять прекрасна и чиста,

И кто во сне ее полюбит,

Тех приголубит и погубит.

А как оплачет их она!

Какая странная жена...

Снег, снег... Я смотрел на ее неподвижное и прекрасное лицо. Вдруг она медленно закрыла глаза.

— Да... И все-таки наша, русская смерть — другая.

— Скелет?

— Ну да. И не обязательно с косою.

Илья Сельвинский возник на экране — плотный полуголый красавец-борец, “Лурих III, Сын Луриха I”, таким он выступал на цирковой арене в Евпатории. Фото я помнил, оно воспроизводилось... и стало сказочно меняться. Это была мультипликация, на фотографии был нарисован скелет, он становился все отчетливее, белее, он сбрасывал с себя мышцы, скалился голыми челюстями, сверкала металлическим зубом, а за кадром звучало:

Скелет мой выпростал себя

Из туловища. Соскреба

Брезгливо с левого бедра

Кусочек нерва...

Скелет сделал приветственный жест. Он цитировал “Мцыри”.

Я долго жил. Я жил в плену,
 Таких две жизни за одну,
 Но только полную тревог,
 Я променял бы если б мог...
 Я долго жил в кровавой мгле,
 Хоть бел, да сер. А на земле
 И римляне, и остяки
 Свои слагали костяки
 Итак, adieu! Я выйду в мир
 Основывать четвертый Рим.

Скелет поблескивал в опускавшейся на экран полутьме подвала. Фаланги пальцев сжимали наган. Бряца костями, он стал подниматься по каменным ступеням.

И он ушел с бильярдным лбом В дырявый зуб из серебра:
 Весь в аксельбантах из ребра, “Соловей, соловей
 Блестящий атташе Чека, Пташечка”.
 Посвистывая соловьем

И он ушел с экрана. Нахальный посвист звучал ещё несколько секунд и стих.

Вот в эту секунду я вспомнил, кто докладывал, кто говорил, что смерть естественной не бывает. Это был я. Очень давно.

А фильм шел, и ведущий говорил о том, что архетипы проявляются не только в творчестве, но и в поведении, чему есть немало исторических свидетельств...

— В темном еще сознании нашего далекого предка только пролитая кровь убитого зверя и зерно, посеянное в сырую землю, давали твердую надежду на пищу, на жизнь...

Убитый стрелой олень лежит на земле, жадно впитывающей кровь.

Ростки.

Свежие листочки.

— На протяжении сотен и тысяч лет люди верили, что короли должны быть принесены в жертву богу плодородия для блага своих подданных.

Это вера ушла в подсознание, стала немой и коллективной, она просыпается лишь в критические для народа и страны часы...

Слова эти прозвучали на фоне остатков травы, которые обращались в густую зелень, все темнеющую и темнеющую, уже черную и — под звук тихой мелодии флейты — покрывающуюся красными цветами.

Цветы дрожат, расплываются, гаснут. Тьма. И заглушая флейту, доносится барабанный бой.

Барабаны звучат еще не так громко, когда за кадром раздается тихий смешок и незнакомый голос произносит:

Вот видите, мой капитан,
 Так все, что в жизнь приносит флейта,
 С собой уносит барабан!

Барабаны бьют все громче.

Гром барабанов обрывается.

— Мария Стюарт, королева шотландская!

Мария слагает голову на плахе.

Затемнение.

— Карл I Стюарт — британский король...

Карл опускается на колени и, жестом остановив палача, произносит: “Помните”.

Палач поднимает топор.

И картина Деляроша из Эрмитажа: Кромвель смотрит на Карла в гробу. Так было. Он приходил и долго стоял, не отводя глаз. Приближенные ждали исторических слов. “Рослый был мужчина, здоровый, — произнес Кромвель. — Жить мог — долго”.

— Людовик XVI, король Франции!

Он восходит на помост гильотины с достоинством. “Я умираю безвинным”.

Косой нож падает.

— Королева Мария-Антуанетта!

Она тщательно и скромно причесана. На палача и гильотину Мария-Антуанетта смотрит скорее с интересом.

И закрывает глаза.

Глухой удар звучит из затемнения.

— Николай II — император Всероссийский, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей!

Беспорядочная стрельба во тьме подвала.

Из тьмы вырастает

Мавзолей. Надпись “ЛЕНИН. СТАЛИН.”

— Иосиф Сталин, вождь и учитель!

Чучи прожектора в ночи, стук и грохот экскаваторов — рокот могилу.

Остается надпись ЛЕНИН.

Она исчезает.

— Его стремятся, отчаянно стремятся уложить в землю. Подсознание шепчет: зерно прорастет, кровь уйдет в землю, земля вернет нам плоды свои...

— Кровь? — перебивает женский голос.

Ответов нет.

Только угловатый силуэт мавзолея — без надписей, без часовых, вдруг ставший древним, как ассирийский зиккурат.

За кадром:

— Так это были жертвоприношения?

— Да. Конечно, механизм смерти и любви работает в полной тьме подсознания, внешние мотивы были иные, но подлинные...

— Судить о подлинных причинах — значит судить о смысле, — сказал я, садясь рядом с ведущим.

В нижней части кадра мелькнул титр, сообщающий мои чины и звания, и я привычно пожалел, что он светился так недолго и нечетко. Впрочем, сейчас развелось такое число докторов, профессоров и членкоров... На экране я выглядел несколько моложе, внушительнее, но возраст, как всегда, огорчал — я с неудовольствием смотрел на проседь и кривящийся рот.

На экране я благодарил ведущих и, помедлив, перешел к тому, что не получилось, не вышло.

— Вы, мой альтер эго (это ведущему), были риторичны, не обращали должного внимания на свою коллегу... У вас вышло лучше, но...

— Ну что "но"?

— Понимаете, вы должны были стать девчонкой из "Норд-веста" Евгения Рейна... читали?

— Наизусть знаю.

— Прочтите. Очень люблю.

Вот это у нее получилось. Читала она явно подражая Догилевой (и вообще была на нее похожа), но все равно хорошо.

Вечная девочка чиркает спичкой впотьмах,
бледный огонь зажигается в старых домах.

Маятник ходит за тридцать лет по дуге,
шрам и пушок проступают на нежной щеке,
сладкие десны елозят по грубым губам,
слезы несносны, пора попрощаться и нам.

Девичьи руки, где винные пятна горчат,
вверх переводят и вниз опускают рычаг.

Вот и моторка выходит на пасмурный рейд...

Девка, чертовка, открой на прощанье секрет.

Что ты ни скажешь, я все же дойду до конца,
я проиграю, но не отведу я лица.

Вижу, последний над рейдом прожектор скользит,
кто безответный ответит за весь реквизит?

Выше и выше, все глуше и дальше назад...

Крыши темнеют, а души горят и горят.

— Вот с этого и должен был начаться разговор о половом отборе — с горения души. В конечном счете, что такое половой отбор? Отбор — это предпочтение. Вот вы предпочли кого-то (а значит кого-то отвергли) и шагнули на плотик — и мир закачался, и началось...

И непохожа на полет

Походка медленная эта,

Как будто под ногами плот,

А не квадратики паркета.

Это были стихи Ахматовой, но девчонка смотрела на меня так, словно я их и сочинил.

— В римском праве отчетливо различались *res fungibilis* и *res infungibilis*, вещи заменимые и незаменимые. Скажем, одна стопка бумаги вполне заменима на другую, а одна исписанная стопка бумаги не равна и не заменима стопкой бумаги чистой...

— Только еще вопрос, что ценнее, — вмешался ведущий.

— Да. В любимом мною фильме Кокто Орфею дают только что опубликованную книгу поэта Сэжеста. Орфей открывает ее и возмущается: "Да тут одни белые страницы! Это же глупо!" и слышит ответ: "Не глупее, чем страницы, заполненные глупым текстом". Но так или иначе, пустые страницы заменимы на другие пустые страницы, а исписанные — нет. Так секс в его "чистом виде" безразличен к субъекту; это вы имели в виду, когда показывали ошеломленным зрителям четыре синие светящиеся буквы...

— Ошеломил их, — сказала ведущая вполне искренне. — Насмотрелись.

— Именно в процессе полового отбора возник знак, более впечатляющий, чем обозначенный им факт.

— И значит, я — незаменимая вещь, — задумчиво произнесла девица.
 — Вам лучше знать.
 — Нет, я о том, что — вещь. А начали вы будто с горения души?
 Я понял, о чем она. Да, вечный вопрос.
 — Это не только о душе и теле. Это и о разуме, о чести, о жизни. Позвольте я вам прочту.
 — Осталось две минуты.
 — Очень хорошо.

Я подумал о том, что мартыновские стихи тут придется кстати. Они и приплись кстати.

О люди,
 Ваши темные дела
 Я вижу. Но волнуюсь не за души.
 А лишь за неповинные тела —
 Ведь это все же не свиные туши!
 Я знаю:
 Тело не за свой позор
 Заплатит кровью, чистой и горячей.
 Плутует разум — хитрый резонер,
 Вступая в сделки с честью и удачей.
 Но коли так, за что же, о, за что ж, —
 Ответьте, объясните мне причину! —
 Вам не в сознание всаживают нож,
 А между ребер — в сердце или в спину?
 Я смерти не особенно боюсь.
 Она не раз в глаза мои глядела.
 Но все же я испытываю грусть
 Не за себя, а именно за тело.

Ведущая подняла руку и начертила на экране

к о н е ц

тоже — скоро, наискось, тем же почерком, что и “Невидаль” в начале фильма.

Я задумался. Нет, не все вышло. В Швейцарии все это задумано было по-другому, потом, когда я прочитал “Апокриф” № I и решил печатать в нем “Салун “Последний шанс”, я переписал сценарий заново.

А по телеку уже шла какая-то другая передача.

Я прислушался. Где я его видел? Это был человек с умным, отталкивающим лицом. — А потом, — говорил он, — началась эпоха сожжения партийных документов. На Западе люди, разочаровавшись в своих убеждениях, бывает, кончают с собой... а здесь — со своими документами.

Послышались неуверенные смешки.

— А вообще все, что происходит, напоминает мне старую пьесу — там все говорят, что надо спасти вишневый сад, говорят, плачут, потом им это надоедает, они танцуют... а потом вдруг входит кто-то и говорит: а вишневый сад-то продан!

Вот тут воцарилась мертвая тишина.

— А пожелать... что вам пожелать? Один римский историк сказал, что самое трудное — это жить так, чтобы оставаться собой... самое трудное это быть собой. Так вот — живите так, чтобы вас узнавали.

Он неприятно улыбнулся и исчез, его заслонили другие лица и спины, а я застыл у телевизора. Спустя мгновение я опомнился и прикоснулся к сенсору. Девица в черных трусиках с “узи” в руках с плеском вошла в болото.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Все, что в конце, я и в самом деле видел на экране. А фильм “Невидаль” — нет, не видел. Снят был другой фильм “Зеркало теней”, делали его Рита Бакенбаева и Сергей Балакирев, и я им очень благодарен.

А ЭТО ФИЛЬМ ДЛЯ ИГОРЯ ПЕШКОВА И САШИ МАХОВА.

МАХОВ. Я ВСПОМНИЛ, КАК АРОН АБРАМОВИЧ НА ФИЛОСОФСКОМ симпозиуме в Бишкеке говорил, что первое и главное событие нашей истории — суд. Суд над Иисусом.

ПЕШКОВ. Предадимся воспоминаниям?

МАХОВ. Нет, это строго тематично. У Арона Абрамовича не раз проскальзывала такая связь: суд — половой отбор. Кажется, я начинаю ее понимать сейчас — возможно, именно потому, что здесь у него

ни о суде, ни об Иисусе ни слова.

ПЕШКОВ. Позволю себе предвосхитить твои мысли: половой отбор — это суд, свершающийся ежечасно. Это моральный, ответственный выбор, поступок истинно человеческий, ибо временной — оценивающий прошлое и планирующий определенным образом будущее. Чего не скажешь о дарвиновском естественном отборе: этот отбор — простой ужин. Формула полового отбора: “Ты сам виноват в том, что ты (не) такой.” Формула естественного отбора: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

МАХОВ. Остроумно. Правда, у Брудного половой отбор — отнюдь не прерогатива человека... Но здесь я скорее согласился бы с тобой. Животные не так уж разборчивы. Кроме того, у них не самка и самец выбирают друг друга, но самцы борются за право обладать самкой. Что, в сущности, ничем не отличается от борьбы, скажем, за ужин и потому вряд ли может быть названо половым отбором в строгом смысле.

К параллели любви и суда добавлю еще иконографическую деталь: кого обычно изображали с завязанными глазами? — Амура и Фемиду.

ПЕШКОВ. Да, но подчеркивали этим разное: у Фемиды — беспристрастие, у Амура — безразличие. Слепота Фемиды способствует объективности суда, слепота Амура делает суд бессмысленным. Какой выбор, если Амур — слеп? И хорош же будет половой отбор, если верен принцип: “любовь зла, полюбишь и козла”.

МАХОВ. Но все дело в том, что иконографы врут! Амур совсем не слеп. В образе слепого Амура воплощена не более чем вековая и несбыточная, конечно, мечта человечества о половой безответственности. Когда Амур действительно ослепнет, любовь перестанет быть поступком, а превратится в чистое наслаждение.

ПЕШКОВ. Теперь я понял, почему я перед Брудным поставил Виана: этот лелеятель инфантильного рая изобразил нам рай любовной безответственности. Рай любви без суда. Но Арон Абрамович — ах, Арон Абрамович! — железной рукой вернул нас к суровой реальности.

МАХОВ. Мне кажется, тема устала и нуждается в хорошем этаким остранении.

СЕЙЧАС МЫ ЕГО ПОЛУЧИМ.

Леонид Межибовский



МНЕ ПРИВИВАЛИ НАВЫКИ ДОБРОГО МАЛЬЧИКА,

но бычками запрещалось делиться даже при самых опасных обстоятельствах.

Навыков я сторонился, а бычкам доверял.

Я ловил их в мелкой вонючей речке, которая текла в двух шагах от нашего дома. Бычки были под стать — мелкими и скользкими, и ловко уклонялись от моих поползновений. Удача лишь изредка сопутствовала мне, да и то — не запросто так, а к ужасу родителей. Они боялись — напрасно, но не могли иначе — что, подчиняясь запрету доставлять добычу к столу, я все же употреблю ее вне домашних условий. И тогда никто не поручится за расстройство неокрепшего моего организма.

Я неплохо справлялся со всеми хитросплетениями лески. Она имела дурное обыкновение особенно путано окручивать последнюю и предпоследнюю фаланги удилица — оно высывалось надо мной, как злобный скрюченный палец. Быстро я научился помалкивать и не отпугивать бычков звуками, распространявшимися мной скорее скорости звука. Я уже умел не расхолаживаться и не торопиться, и, дав поплавку надергаться всласть, подсесть. Блестящее тельце взлетало — я вел его аккуратно, чуть в сторону, чтобы не сбить с чуждой ему траектории взлета и не запачкать костюмчик, — шлепалось в полиэтиленовый пакет с водой, недоуменно упиралось в морщинистые стенки сосуда — я ждал, я знал, что надо выждать, — и окончательно замирало и опускалось...

Не всякую кошку удавалось соблазнить бычками моей поимки. И к гигиеничному неудовольствию окружающей взрослой среды я сплавлял их в общественный мусор. И от совместного разложения становился гуще неблагоприятный их запах.

Кроме всесторонних неудобств и в целом — непонимания, без которых моя рыболовная жизнь шла бы себе безмятежно, я имел еще одно — самое неудобное, хоть и самое мне понятное. Не брезгуя ничем, я не мог взять в руки червяка.

Не то чтобы я страшился этих холоднокровных существ, когда они извивались вокруг единственной своей извилины. Напротив! Я хладнокровно наблюдал, как они жили сами по себе. Но едва нужно было приступить к ним, причем — к каждому в отдельности, выходили неудобства и тяготы. Это было выше немаленьких моих сил, которых хватало на все остальное, на все что угодно. И уже от одного движения моей руки, подневолью вытягивающейся к первому в отдельности, все отрицательное во мне подымалось и сдавливало горло.

Передохнув, я хватался за соломинку или веточку лавра, закрывал глаза, но для верности подглядывал, чтобы не напрасно, не суетно стараться, и тыкал в горку свежевспоротой ножиком земли. И подцеплял единственного, кто подворачивался. Стряхивал в банку, открывал глаза победителем и отдувался.

Из-за вынужденной полуслепоты тыканья занимали лишнее время — в ущерб бычкам и раннему самообразованию, без которого я не знал изаправдашнего содержания моих беспозвоночных: есть ли в них кровь и тонкая нервная система. Заботясь о своей, я, конечно, мог попросить кого-нибудь покопать для меня или купить на базаре по копейке за пару. Но доброжелателей не было, а копеек не хватало. Брать же на искусственную наживку считалось дурным тоном, и самый недотепистый пацан не унился бы до морышки.

И однажды, вконец истощенный борьбой, я решил победить раз и навсегда.

Способ был известен и отвратителен.

Я должен был сознательно съесть предмет моей неприязни. И тогда, я знал точно, я обрету право на спокойствие.

Я долго и разносторонне прикидывал, что за червяк подходит для окончательного, неоспоримого впоследствии действия. Какого следует предпочесть и нельзя ли его чем-нибудь сдобрить.

Перебрав варианты, я остановился на худшем.

Съедение будет максимально несъедобным.

(Чтобы никакой будущей червяк не подкопался и не нашел во мне ни малейшей слабинки.)

Я вытерпел, пока желудок не смирится с предстоящими ощущениями, и наудачу подался на поиски. И быстро наткнулся на жирную зеленую гусеницу, развалившуюся у приступочки подьезда. Она шевельнула надбровными дугами, смерила взглядом — ей показалось, должно быть, что я велик, и развернулась прочь.

К червякам, образом жизни обязанный сообразовывать с ними свои планы, я привык. Но гусеницам не выпадало участвовать в моих делах, и я принимал их с еще большей неприязнью. И теперь я заключил, что, если она сама идет ко мне (или от меня, что неважно), то разумно и по-справедливости будет — начать и закончить именно ею. И раз это почти что червяк, только пожирней и похуже, то на всякий случай я заодно приручу себя и к тем и к другим. Неизвестно ведь, может и к гусеницам толкнет меня жизнь, если найдется у нее другой для меня образ.

Я дотронулся через носовой платок и тотчас силы в ужасе остановились во мне. Через силу собрав их, я вернул ее в пустовавший спичечный коробок с Северным полюсом на этикетке и поднялся домой. Прошел коридор, остановился и в плохо скрытой надежде открыл коробку — она была полна зеленой переливающейся массой. Сердце зашнулось, я оторопел и подумал, что подчистую лишу способность к удовольствию.

Когда внутри снова застучало, мы были на кухне.

...В гипнотическом состоянии, сообщенном мне гусеницей, я медленно приблизился к плите, снял крышку с кастрюли, в которой побулькивал суп, и метнул свою спутницу. Она всплеснула пузырящуюся поверхность и скрылась.

Облегчение мигом сменилось столбняком, будто я изготовился собственной грудью прикрыть чрезвычайно важное отверстие. Но меня еще хватило живописно представить, что воспоследует, когда все начнут и у кого-нибудь в тарелке окажется некто посторонний. Не говоря уже о некой посторонней, что, как мне казалось, еще страшнее усугубляло незавершенную мою судьбу. Я наскоро вышел из столбняка и приступил.

Схватил шумовку и тщательно стал прочесывать суп. Но гусеница крепко утнездилась в луковых пучинах и явно не желала выходить, не понимая, что сваренная заживо она теряет свой смысл. Я так увлекся нашим спасением и осмыслением, что попался. Мама зашла проведать свое впервые затеянное нездешнее первое. Увидев, что я, в сущности, мешаю, и не заподозрив, естественно, — с чем, сверилась с рецептом и ни капельки предосудительного не углядела.

Оставшись наедине, я взялся за старое. Но эта меланхоличная прежде гусеница в кипящем супе оживилась и превратилась в на редкость увертливую. (А может, ей было вполне по себе кипеть вместе с луком и водорослями петрушки.) И вдруг одно простодушное и очевидное соображение озадачило меня. Я подумал: не есть ли температура кипения супа главнейшее условие скорейшего вылупления бабочки? На секунду эта перспектива прельстила меня. Но стараться ради именно этой гусеницы было излишним — никакой красоты она не сулила! И кроме того, все пережитое пропало бы даром.

И я мешал, потел и волновался — как бы не упустить ее и свой шанс примириться с червями, и серьезно не вляпаться: расклебывать испорченный суп хватило б надолго.

Наконец мама решила, что хватит. Взяла ложку с длинным костяным черенком и зброй на кончике и зачерпнула на пробу. В глазах поплыло. В чудесном союзе там плыли: бычок с изумрудным хвостом, родители

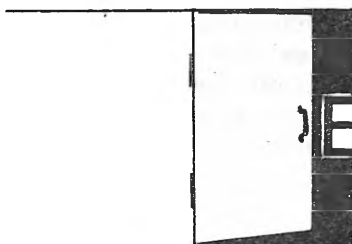
с луковыми головками — бабочка рябила в их глазах, кто-то неразборчивый, должно быть, я сам.

Я сел сразу — ближайшим к супу, будто надеясь перехватить ее на лету. (Я еще верил в невероятное — она сохранит себя той, за кого я принял ее. Разве что посереет от варки.) Хотя мне бы не осталось другого, как вызволить ее из беззаконной кухни в свет. Я напрягся до невозможного предела напряжения. Я так подробно — до невозможности — запомнил его, потому что впервые — серьезный, насушенный мальчик — я разметался. Я мечтал о ней со сказочным аппетитом. И если б она ответила, ей бы не осталось другого, как вынырнуть в моей тарелке, для обоих тогда бы ставшей своей.

Я простил бы ей все, полюбил бы их всех..
НО ОНА НЕ ОТВЕТИЛА.

ПЕШКОВ (С ЗАСТЫВШИМ ГАДЛИВЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ). ОСТРАНЕНИЕ ПОЛНОЕ. МАХОВ (изумленно). Разве ты не узнал гримасу любовной темы? Гримасу под маской? Формула "ЛЮБИТЬ = ХОТЕТЬ ИМЕТЬ" приобрела после некоторой перестановки членов следующий вид: "ИМЕТЬ = ПЕРЕСТАТЬ НЕНАВИДЕТЬ". Или точнее: "ПЕРЕСТАТЬ НЕНАВИДЕТЬ ИМЕТЬ". Леня, по-моему, гениально показал, какую власть над сознанием и желудком может иметь эта любовная алгебра.

Воистину, алгеброй гармонию поверил
— ГАРМОНИЮ ЛЮБВИ? ПИЩЕВАРЕНИЯ?



С. И. Виткевич

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

(выдержки из романа)

НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ДЕНЬ,

в соответствии с соглашением, заключенным с нынешней своей женой еще во время обручения и определявшим границы свободы действий в условиях супружества (о, наивность!), Изидор Смогожевич-Вендзеевский, сотрудник ПЗП и известный в широких кругах интеллигенции и псевдоинтеллигенции философ-дилетант вышел на обычный, чуть ли не ежедневный, как это до сих пор бывало, променад за город. Во время прогулок он мало обращал внимания на так называемые красоты природы, зато он обмозговывал в образах неопределенных подпонятийных туманностей вещи самые глубокие и темные, совершенно забывая о скучной работе в ПЗП, которую он должен был сносить ради так называемого "хлеба", ибо почти все, что ему когда-то там после чего-то там осталось, он растратил в каких-то темных операциях, в которых он абсолютно ничего не понимал и в которые его втянул старый школьный приятель, а ныне издыхающий во все более и более сжимающихся тисках инспекции бизнесмен Надградзил Живелович, личность подозрительная, но тем не менее привлекательная, как физически, так и психически.

В голове у Изидора слегка шумело после вчерашней свадебной гулянки, на которой он для своих возможностей и данных немного перебрал, однако он ощущал некоторую общую легкость, некоторое облегчение, отсутствие того специфического досадного угрюмого напора со стороны давно уже перекрытой зоны истинных половых влечений. Теперь, наконец, успокоившись в плане бытовом, он положительно сможет приступить к формулировке своей туманно, в общих чертах набросанной философской системы, в отношении которой его не раз одолевали тяжкие сомнения, усердно подпитываемые при этом профессором Уэмборком из Уорбертонского Университета, что в Канаде, логиком, скептиком, релятивистом, вообще первоклассным демоном (каждому ведь известно, что это такое). Создание этой системы и стало единственным стремлением Изидора. А кроме того, он был свободен от всяких крупномасштабных карьеристских поползновений, а также от всякого рода снобизмов и жизненных аппетитов. Он даже никогда не помышлял ни о какой ученой должности. Этому препятствовало прежде всего отсутствие кандидатской степени, ранее недоступной вследствие общего его безразличия, а теперь — из-за работы в ПЗП. Самое большее, на что он рассчитывал, так это после завершения и возможного издания труда, которому предназначалось называться "Общая онтология в новом изложении", написать пару критических статей о наиболее ненавистных ему направлениях в философии и постепенно замереть в созерцании становящегося странным в пизофреническом преломлении мира. Ибо Изидор был пизофреником, притом довольно типичным, с маленькими дополнительными — этакими комочками —

*) См. также, дорогой: "Наркотики" С.И.Виткевича, "Психология" проф. Витвицкого и главный труд Кречмера "Строение тела и Характер".

вкраплениями циклотимизма: Ein hochbegabter Schizothyme in Prozess des Absterbensbergriffen — чуть ли не в шутку так он сам называл себя, впрочем, как потом выяснится, — совершенно несправедливо. Был он высок, худощав и до отвращения черен. Нос большой, что называется орлиный и довольно выпуклые зеленовато-серые слегка близорукие глаза. На губах — этой единственной симпатичной части его лица — почти постоянно блуждала беспомощная детская улыбка, а широкие скулы возвещали всем о большой силе воли и “солидности” характера. Изидор был тверд подбородком и мягок взглядом — и это делало его очаровательным.

1.2.

Рустальке Идейко — его теперешней жене, а до вчерашнего дня почти что можно сказать психической, а еще полгода назад и физической любовнице его самого близкого, единственного друга Марцелия Кизер-Буцевича, художника (но художника настоящего, такого, какого, кажется, до сих пор не было во всей мировой истории, а не какого-то там натуралистического халтурщика — ибо по сравнению с недостижимым совершенством природы каждый является халтурщиком — у которого только то и общее с живописью как искусством, что свиной щетиной да конским волосом он мажет полотно цветным месивом) — было уже 28 лет, и принадлежала она к известному (в Литве) литовскому роду, претендовавшему на княжеский титул. Фамилия Рустальки брала начало не от “идеи”; а от слова “иди” — так, кажется, сказал одному из ее предков Великий Князь Ольгерд, прибавив при этом — “и победи!” (герб “Ид” — вытянутая рука с вытянутым же указательным пальцем, пересекающая наполовину белое, наполовину красное поле), а тот победил кого-то там под Рейсаголой, и пусть земля ему будет пухом, а кто меня, автора этого романа, на основании этих данных, которые я здесь вот привожу, обвинит в аристократическом снобизме, то он — гадкий и злобный кретин, а не интеллигентный человек. Опасаюсь, что Хвистек в своей неповторимой переплетением банальности с утонченностью книге “О духовной культуре в Польше” поступил именно так, написав, как он с каким-то там графом (притом умным и глубоким, что бывает редко) покатывались со смеху над моей бедной княжной из “Ненасытности” и над бароном — впрочем, в этом я не уверен. “Ну и пусть, ну и пусть” — как говорят в таких случаях старые и мудрые горцы на Подгалье.

Уже давно Русталька нравилась ему: ее льняные волосы, раскосые зеленые глаза и большие, цвета земляники уста “казалось ему были” воплощением всех грез детства, когда он испытывал эротические бычьи сотрясения во время езды на велосипеде за одной босоногой девчушкой, возвращавшейся из школы, и — как потом оказалось — очень похожей на Рустальку. Au fond это было отвратительно, потому что отвратительно, но “что же поделаешь”, как говаривал один очень умный горец. Предрассудков у Изидора не было. Так почему же, почему бы ему с ней было не пожениться (ведь не причина же, что она не была “девушкой” в понимании XIX века и что его друг Марцелий ею пресытился, впрочем, и она им тоже, хотя все это было вовсе не так просто), коль скоро она ему нравилась физически, а психически он — для шизоида — любил ее даже очень.

Ох уж, эта любовь астеников! Это было просто-таки-напросто-таки черт знает что! Оба они принадлежали к пикническому типу и, разумеется, не отдавали себе в этом отчета. Всегда неуверенные в себе, постоянно сомневающиеся, постоянно разорванные между диаметрально противоположными чувствами, сами себя преследующие на неведомых тропинках своих собственных, часто более прекрасных, чем они сами, двойников, вечно ненасытные и снедаемые угрызениями совести, исключительной неизменностью симпатий и до болезненности мелкой чувствительностью. А к тому же — постоянное ощущение, что все “не то”, что за гранью этих мук есть где-то солнечный мир простых, прекрасных и свободных чувств, мир недостижимый, лелеемый в мечтах и невозвратимый — так, как будто был где-то здесь, а вот уж и отлетел, как мираж, в свое собственное недостижимое измерение бытия. Но теперь будет не так. Теперь у Изидора есть жена, и в ней (или на ней) он решил окончательно завершить серию довольно хилых, впрочем, своих собственных эротических приключений (хилых с точки зрения какого-нибудь Артура Рубинштейна или Казановы, но — ах, Боже мой! — зачем же окончательно?) и до самой смерти больше не беспокоиться. Русталька была похожа на него духовно, и даже немного физически, правда, она была светлой масти — на худой конец после соответствующей перекраски они могли бы сойти за брата и сестру. Из нее-то Изя и решил сделать дамбу, которую не перехлестнули бы никакие волны сомнений в конечную реальность этой жизни. “О, реальность! Как же ты неуловима, если нельзя ни убежать от тебя, ни понять до глубины!” Для людей пикнического типа эта проблема либо иллюзорна, либо “вообще не существует — что ж с ними поделаешь, o ma belle cousine, если они такие с..... сыны, что с ними поделаешь?”

2

2.1.

Маленькая паршивая стеночка прошлого, девятнадцатого века, будто сложенная детьми из немецких детских кубиков. Там была Русталька — его жена, собственная, любимая, приклепанная к нему стальными клепками “на fest, на аеп”, на веки вечные — а в бесконечности развевалась заиндевшая от паробразного жидкого гелия борода Бога — стыд, радость и страх. Поначалу это хорошо, как нечто совершенно новое, но потом ... Как раз об этом “потом”. И здесь, на ступеньках, при виде увядающих рудбекий и горячей уже в последнем розовом сполохе угасающего солнца гущи обсыпанных плодами барбарисов, ежевики, винограда и молодой рябины,

“екнуло” во второй раз. Вот только что дом был тем же самым, в котором Изя жил до женитьбы. Он стал нанимать еще одну комнату, а из средней сделали столовую. Перевозка всего домашнего скарба стала для Изидора ужасной мукой. Но в глубине души залегло маленькое пикническое удовольствице, что все так привычно, так хорошо, так “ujutnie”. Снова у него в памяти заворочался спутанный клубок каких-то наркотических выбросов на бешеную, титаническую силу этого старого комедианта Ницше; что ж, в качестве наркотика он был хорош для декадентов с 80-х годов по 1900 приблизительно годик, или как некая высшей марки понятийная этикетка для прусских “юнkers”, которые au fond потешались над его прикрытым маской Ubergensch' а психофизическим ничтожеством.

“Ведь могло бы ничего и не быть, и меня в том числе, никогда бы я не протиснулся в этот мир из небытия, однако еще более странно предположение, что мир мог бы существовать без меня. И был бы он точно таким же, и история как-нибудь справилась бы с моим отсутствием, а что хуже всего — так оно и будет”. Таковым был единственный мысленный эквивалент непосредственно переживавшегося момента. Тут страх смерти пронзил его, но не тот, который возникает в минуты физической опасности, а какой-то отвратительный, метафизический, страх сам по себе: страх перед Небытием — факт подвески его над gähnendem Abgrunde des Unbekanntes — по-другому не скажешь, да и будет об этом. И тогда он почувствовал, что жилец этот будет становиться все сильнее и сильнее, и должен будет взять власть над ним прежним, не понимавшим слова “собственность”, “легким мотыльком иных миров”, как называла его эта обезьяна Гжешкевичова.

Он обнял жену (как будто сегодня в первый раз — вчера было лишь насилие и какие-то жуткие вещи, которым, ясное дело, ее научил Марцелий — впрочем, пусть ему за это земля будет сравнительно легкой) и он в пятый или в шестой уж раз констатировал, что она, не в пример его последней, такой эфирной любовнице, довольно плотная и даже толстая. Ах, как же это хорошо! Эти толстоватые, но правильной формы голени в сравнении с палочками той, другой, впрочем, очень красивой и, можно сказать, несовершеннолетней девчухи из “плебса”, были просто шикарными, только запах подмышек был не совсем тот, то есть, не такой, как у этой обезьяны Гжешкевичовой. (Можете смеяться, можете возмущаться, но это все вещи архиважные). Трагедия конечно, но в конце концов это можно было простить ради такого лица и таких ног, и, казалось, что в этих “непосредственно данных простых элементах ее тела” гнездились несметные богатства грядущих наслаждений. Не знал Изидор, до каких ужасных размеров разрастаются такие внешне мелкие проблемы, ибо ему никогда не приходилось жить с женщиной более полугода.

Русталька смотрела на него внимательно, даже с некоторым оттенком симпатии, когда он водил губами по ее лицу и иногда отстранялся сантиметров так на двадцать для того, чтобы насладиться ее видом (просто ее красотой” — как сказал бы поэт) и еще сильнее распалить себя для того, что, по всей вероятности, должно было произойти. “Это у нее, у нее, все это, и эти ноги принадлежат этой мордашке”, — так думали в нем гениталии с помощью центров, созданных для чего-то лучшего, а не для столь “грязных” психических моментов. Какое-то время она черт знает почему сопротивлялась ему: просто хотела осознать как следует, что именно это ее муж, что это ее собственность, что у него есть то, а у нее есть это его в ее собственности, как зубная щетка, биде или спринцовка или еще какой-нибудь предмет личной гигиены, и что через мгновенье этой самой штуковинной, которая теперь официально принадлежит ей по закону, он будет в ней “шуровать”. К тому же она хотела, чтобы он захотел этого по-настоящему, а не по обязанности или (теперь уже) по привычке, без усердия, как будто речь идет о еде или мытье. Прекрасно отдавая себе отчет в прежних комбинациях и почувствовав, что Изидор (это орудие философии) в данный момент возжелал ее по-настоящему, она — донага изнутри раздетая от чувства супружеской безопасности и сытости всего далекого будущего в связи с полным обладанием такой бестией, впустила его, впавшего в раж, на себя. То же и Изидор: он тонул в наслаждении от того, что подбирался к своей безусловной собственности и к такого рода вещи, которая до сих пор была в основном чужой или ничьей, в том числе и не его.

Супружество — эта страшная, чуть ли не потусторонняя сила — охватывало их своими ужасными щупальцами, которые пока что только вожделенно ласкали, впрочем, выбирая, самое удобное время, чтобы вшиться в самое нутро. Однако пока что все было пленительно, а эти действительно страшные элементы супружества лишь придавали очарование пролетающим минутам осеннего кутанья в подбитое ватой безопасных чувств одеяло. Ладно!

Изидор с Русталькой были своей взаимной собственностью в силу того, что реликт стародавнего ксендза по требованию Рустальки (невинное такое требованье из области суеверий) связал их руки какой-то лентой, а в социальном и общественном смысле на них обрушилась форменная гора, ибо специализация еще не дошла до того, чтобы ее начинали на третьем году жизни, и ГОСУДАРСТВО еще не стало инкубатором и воспитателем младенцев, все продолжала существовать прежняя животная семья с ее ужасными для переломных людей законами. Да, да, мы на переломе, и не потому, что из-за близости нам так кажется, а на самом деле, притом, с какой стороны ни взгляни: если не считать французскую революцию и возникновение первой власти в тотемических кланах древних дикарей, то в истории человечества не было еще такого важного момента. Неужели без этого связывания рук было бы то же самое? Неужели эта церемония уже полностью изжита? Нет, без религиозной санкции все это не имело бы того отчаянного привкуса извечной (но не вечной), кислой, скучной, местами горьковатой, а при этом такой сиропно-сладкой, что аж тянется, безумно приятной неотвратимости. Несмотря ни на что одной лишь гражданской церемонии было бы недостаточно, чтобы придать этому

“комплексу” беспокоящее очарование чего-то столь финально страшного, как одноименный Суд, ад и земля; не будем говорить о небе — это слишком скучно для одаренных метафизическим беспокойством существ. Так — общественное божество, лишенное одного из измерений прежних божеств — измерения таинственности — по сути своей является отрицанием Тайны, укрыванием в удобно разделенном на полки mystery-fight шкафу. (Разве что для закоснелых социологов метафизического типа — однако “мифы” Сореля, несмотря на возможные реальные результаты его деятельности, относятся к числу давно отзвучавших, отлетевших фикций).

2.2.

Из протяжностей-в-себе образовалось единство. Так это можно изобразить для очень стыдливых людей. Давно известным способом слились более “материальные” (сокращенное выражение) части их личности. Это было лишено привкуса прежних (и ее и его по отдельности) свободных отношений) (так в польском языке отвратительна эротическая лексика, что наверное придется совсем перестать писать об этом) — этого своеобразного привкуса распущенности (“Терусь, фуй” — как говаривала княжна Тикондерога в моей пьесе “Сапожники”), но в качестве слияния в единство как таковое было более современным и более чистым. Не только соки их организмов (Боже, какой кошмар! — какие слова употребить? “О, научи солдата выраженьям, способным в ухо женское пролезть”, как у Шекспира говорил король Генрих Екатерине Французской) соединялись, образуя банальный коктейль внутри протяженностей—(ARN), но на самом деле соединился их дух, или лучше так: их существования призрачно перемешались, и перемешались конечно во взаимных фантастических картинах, как будто и ему и ей одновременно снились одни и те же сны. Ее по большей части полуобморочные очи польхнули изумлением, что, мол, бывает даже такое (они почувствовали наслаждение одновременно) (за какие не содеянные мною грехи я должен все это писать?). Никогда больше она не выпустит его из своих стройных бедер и голеней, и отныне он станет жить в ней, как тот паучок, что приютился в огромных детородных органах своей ужасно большой по сравнению с ним жены-паучихи — будет принадлежать ей, ей, Ей! Она заполучила его в собственность и первый раз почувствовала это. Даже если он не захочет, то все равно будет обязан, ибо супружество — это святое, будет обязан столько, сколько она захочет, и она не отдаст его уже никакой другой “этой обезьяне”.

О самой любви не стоит больше говорить ввиду того, что о ней написано — она была — в это надо верить — теперь речь идет о ее начально-второстепенных состояниях, которые вкрапляются в первостепенные, эти трудно поддающиеся анализу, но банальные, известные всем до тошноты состояния, выталкивают их и занимают их места в скорлупках, сохранивших форму первых: происходит псевдоморфоза. И ходят по миру карикатуры с прежних людей, ничего о том не зная. Избежать же таких последствий супружества путем осознания этого процесса — дело адски трудное.

Вот и Изидор попал в бездну присвоения Русталькой его собственного нутра. Он подчинился безопасности официальной любви с обыкновенной, чисто самцовой покорностью, столь часто встречающейся у пизойдов: компенсируя несвободу тела, они создают особый, недоступный именно для любимого существа внутренний мир и там живут по сути в одиночестве. Это их подсознательная месть, часто за внешне утраченную свободу распоряжаться собой.

Половой акт окончился обоюдным оргазмом — взаимное обладание достигло вершины. Однако, то была лишь видимость, для поверхностного наблюдателя с другой планеты, где высшие виды размножаются, скажем, путем деления или a la Nuxley, как будто эти два создания в завершающем транс строго эквивалентны — а по сути между ними была пропасть в восприятиях, свойственных различным полам. Если бы они могли взаимно переживать свои психические состояния, то нас тогда бы поразило ужасное несовпадение, чуждость их душ в этих, казалось бы, наиболее существенных содроганиях чувств и органов. Однако иллюзия единства при этом полная.

How horrible and true and strange
And there is no possible change

В предельном напряжении (ARN) — протяженностей-в-себе (то есть, тел) зачалось новое (IP), которого так хотела Русталька. Она начала молиться о нем своему Богу сразу же после финала, пока еще не погасло и не успело разойтись по бедрам, спине и внутренностям новое, от законного мужа полученное телесное блаженство, связанное, как это обычно бывает у женщин, в один болезненный узел с духовным блаженством супружеских уз.

Несовершенством мир он сузил,
Все затянув в кошмарный узел.

— приходила ей на память одна из бессмысленных так называемых утренних песен Марцелия. С тех пор, как ей исполнилось десять лет, она постоянно хотела иметь этого ребенка — так он был желанен, но недостижим без

*) Достаточно интеллигентный, сообразительный и образованный читатель наверняка догадается, что здесь речь идет о половом акте, в данном случае — между Изидором и Русталькой. Дабы избежать обвинений в неясности, я предпочел обозначить это *explicité*.

нормальных супружеских условий. На незаконнорожденного у нее не хватало смелости не только в том, что касалось ее, но и его самого. А впрочем, с Марцелием (оказавшимся бесплодным — так называемая “ядовитая сперма”) наверняка была бы дочь. По теории Маурина, должно быть так: если мать уважает отца в отношениях помимо половых, то — сын, если нет — дочь. Правило это подтверждается практически во всех случаях, а если не подтверждается, значит в подсознании существуют другие отношения, отличные от тех, которые открыто выступают наверх, напоказ. К тому же от алкоголика и кокаиниста наверняка получился бы какой-нибудь уродец. Хотя в роли быка-производителя ей больше нравился Марцелий — а жаль. Ах, ничто в жизни не является таким, каким должно быть, но сам факт существования (одно лишь созерцание единственной травинки под солнцем) имеет бесконечную ценность, которой никто не ценит, считая свое существование обязательным. Страшная тайна этой, а не другой личности, которой, собственно говоря, могло бы и не быть, — излюбленное поле битв Изидора с метафизическим ужасом бытия. Теперь это можно себе позволить: несмотря на то, что внешние условия не совсем соответствовали идеалу (развивавшаяся на политическом фоне неуверенность в завтрашнем дне, да и маленькая зарплата Изидора), но зато если не в “материальном”, то в “моральном” отношении, путь был свободен. Волна горячей зародышевой массы залила распаленное нутро ее тела, гася своим жаром его собственный пожар. На секунду чувства покинули ее. Собственно говоря, у них впервые получилось что надо, потому как после возлияния брачная ночь не то чтобы сорвалась, но была скорее каким-то выполнением формальностей в учреждении, к тому же Русталька сильно переживала “отсутствие девственности”, утром тоже ничего не получилось: было слишком хорошо видно, все было слишком уж банально, к тому же примешивалась какая-то неловкость, плюс легкое katzenjammer (похмелье), так что и не стоило даже начинать. Уже зная эти вещи, Русталька тем не менее не предавалась отчаянию, а лишь спокойно ждала своего, “и дождалась”. “*Odno mozno lisz skazat' dozdalis jebiona mat'*”, — как писал Пуришкевич о русской революции. Изидор очень нежно глядел на ее закрытые, синеватые, в тоненьких прожилочках легко подрагивающие веки: он любил ее в это мгновение совершенно просто, но было в этом чувстве много обычной жалости похожей на ту, которую он мог бы испытать к бездомному изголодавшемуся котенку. С него спала маска шизоида — на большие воды будущей жизни выплывал кроткий беспроблемный пикничонок. В данный момент Изидор не ощущал это как что-то отрицательное. Сейчас ему тоже захотелось иметь ребенка, но при условии, что тот сразу был бы шести лет от роду, вежливым, хорошо говорящим и умненьким, и годился бы для обучения философии. Манией Изидора был никогда не получивший завершения эксперимент с нерелигиозным воспитанием ребенка на философии с самого начала средней школы. А до первого класса — суровая социальная этика без каких бы то ни было метафизических санкций. Само собой — история религии, все “меню” от тотемизма до христианства на выбор — абсолютная свобода без принуждения и даже без уговоров. Если ребенок хочет, то после общей ориентации в материале может начать поклоняться крокодилу или даже обыкновенному коту, лишь бы это не требовало человеческих жертв и вообще не было бы в принципиальном расхождении со всеобщим правом; определенные деформации этой веры были непеременимы: так, например, нельзя было исповедовать католицизм (вернее сказать, христианство) времен инквизиции или религию ацтеков, связанные с массовыми убийствами людей — тут ничего не поделаешь. Но кроме того, строгая философия в виде самой общей психофизической проблематики по мере прохождения психологии и физики, а также — традиционной логики, ибо к новой Изидор испытывал пока что непреодолимое отвращение и считал ее фактически никому не нужным балластом, причем, слишком большим, если речь шла только об избежании парадоксов — потому как здесь абсолютно достаточным был принцип Пуанкаре о неиспользовании слов “все” и “всё”. Уже в третьем классе — философия в исторической подаче под названием общей онтологии, а с пятого — история проблематики с некоторым учетом индивидуальности — о! — это было бы чудесно. Разумеется, лучше для такого эксперимента подошел бы сын. Но Изидра вследствие какой-то странной слабости и изначальной покорности как назло хотел иметь дочку, несмотря на то, что в этом он никогда бы не признался — существенным, закорененным глубоко в подсознании поводом здесь, кажется, были какие-то неопределенные эротические чувства к этой никогда не существовавшей дочери. Будучи в жизненном плане существом более слабым, чем жена, он заранее капитулировал. Он не знал, что именно этой слабостью он должен победить. Как же странны все эти психические битвы — собственно говоря, неизвестно, что в них сила, а что — слабость, разумеется, речь идет не о вульгарной половой потенции, только на высших ступенях духа, где царили часто противоречившие предыдущей полосе жизни жизненные принципы, и далее — сама мировоззренческая магма, которой как раз и не хватает польской интеллигенции, даже на относительно высоких ее этажах. За это когда-то безуспешно боролся Станислав Бжозовский, который, несмотря на свою напичканность чужими идеями и постоянное цитирование, оказался единственным настоящим польским мыслителем нашего времени. На подписку нового издания его полностью разошедшихся работ нашлось 40 (сорок) желающих. Позор — как же здесь можно тешиться маленькими оптимизмиками — по башке надо бить эту сволочь, да некому это сделать. Позор.

По теории Маурина, здесь возможны еще такие варианты (интересно, что получится): выходит женщина замуж по любви — по крайней мере ей так кажется поначалу — сын (-овья); разочаровывается — рождаются дочери. Выходит равнодушно или против воли, затем втягивается и проникает уважением к мужу, и тогда после дочерей рождаются сыновья в той мере в какой женщина подпадает под очарование и моральное превосходство поначалу недооцененного мужчины. Справедливость этой теории может проверить каждый, внимательно наблюдая за знакомыми “парами” (бррр...).

(....)Русталька слушала, и чем больше слов ронял Изидор (несмотря на слетевшее только что с его уст слово “гриф”), тем больше в ней росло половое возбуждение, которое, однако, было результатом растущего в ней ощущения его интеллектуальной мощи. “Он самым мозгом трогает меня там” — впечатление было совершенно новым и будоражающим. В печурке подвывал как с цепи сорвавшийся осенний вихрь.

Изидор продолжал:

— Таково положение вещей, которое ты поймешь, когда уяснишь себе мой взгляд на неживую материю. Я сейчас расскажу об этом в общих чертах — это нечто, вроде усовершенствованной монадологии Лейбница (уже на правах жениха Изя втиснул в бедную Русталькину голову всю двухтомную историю *Überwega*. И хоть голова ее чуть не лопнула, вера ее не дрогнула), в которой, как ты знаешь, вследствие абсолютной непроницаемости монад и отсутствия между ними какого бы то ни было взаимодействия, возникла необходимость просто дикой концепции изначально установленной гармонии, в которой все связи каким-то чудом предопределены заранее и в том числе — взаимный союз физических и психических и физических *entités* друг с другом, и это несмотря на то, что даже самая, казалось бы, маленькая “частичка” неживой материи должна быть колонией монад. Даже приблизительно не могу себе представить, как он все это видел, принимая монады за точки пространства.

— Между нами наверняка существует изначальная гармония — так мне с тобой хорошо, — и с чувством абсолютной половой жизненной и метафизической безопасности она прижалась к нему всем телом.

— погоди, я должен дойти до одного места, потому что вступление всегда самое скучное (и даже это, не слишком приятное высказывание подействовало на нее сексуально — вообще, кажется вероятно, что женщины все чувствуют в известной степени с большой добавкой своеобразного полового компонента — это и есть так называемая в общих чертах “тайна женской психики”). А стало быть, понимаешь: прежде всего, когда начинается изложение понятий, следовало бы наглядно определить, что есть понятия и производимые с их помощью операции. Но оказывается, что теорию понятий можно построить только на теории действительности — одной — единственной, разумеется, а от одной только мысли о давно, впрочем, похороненной доктрине Хвистека мне делается просто нехорошо. Я должен быстро запить эту мысль. — Он налил себе стаканчик коньяку и быстренько, бестия эдакий, опростал его до дна. Залитый алкоголем, бедный дух Хвистека болезненно съежился, как какая-нибудь умерщвляемая энтомологом букашка. его расширенные зрачки источали неестественный свет, а улыбка возбуждала самые чувствительные места. Никогда раньше Русталька не видела его таким. И от мысли о предстоящей с ним ночи (так должно было быть) она вздрогнула всем телом, и какая-то удивительная, до сих пор неведомая истома разлилась по ее бедрам и даже — о, Боже! — по икрам.

— Говори, — шепнула она припухшими губами, — меня это так страшно возбуждает — ты не знаешь — о — впрочем, не надо слов — пусть говорят мои поцелуи — задушу тебя.

Изидор посмотрел на нее с удивлением и в эту долю мгновения так жутко полюбил ее, так ужасно пизозидально, безвыходно, безнадежно. В этом чувстве было столько сострадания, что его хватало бы на сто тысяч паршивых, облезлых, подыхающих от голода и холода котят, в этом чувстве было просто чудовищное (первым это словечко бросил Струг) сопереживание личности другого человека изнутри, из самого что ни есть нутра, от метафизического пупка, пупочка — пупочка — пупища — довольно, довольно, а не то Изидор — эта набитая метафизическим фаршем монада — лопнет и забрызжет наш элегантный экипаж, в котором мы путешествуем по разнообразным распадам гниющего мирка никому не нужных и даже лишних идей. Мадемуазель Идейко, пробудись для новой жизни, заставь вражину-самца смириться, согни его гордые позвонки, и пусть он преклонится перед твоими непобедимыми гениталиями. Все это длилось едва ли пол-, ну, может какие-нибудь три четверти секунды. В нем уже снова начинал говорить тот проклятый трижды философ:

— Вот и понятие, ведь оно не является простой, самодовлеющей в определенном смысле сущностью, то есть требующей наличия каких-то специфических “мыслительных процессов”, принципиально отличающихся от перемещений в наших длительностях качественных комплексов, как то: прикосновения, цвета, звука, запаха, вкуса, ощущения внутренних органов и мускулатуры, этого “внутреннего прикосновения”, этого самого важного из чувств, которому мы весьма специфично предаемся внутри себя, изнутри. Я часто повторю это, но убежден, что с этими качествами хуже всего дела обстоят у профанов. Чуют, бестия, какой-то подвох, причем — совершенно безосновательно. Понятие понятия можно, как ты в этом позже убедишься, свести к категориям психологистического созерцания, то есть такого, которое утверждает, что все состоит из качеств и ничего, кроме качеств, не существует, но которое не принимает понятия “я”, как это делал их создатель Мах, или не предполагает единство личности как непосредственно данное, как это имело место у Корнелиуса, другого представителя того же философского направления. Умолчу об Авенариусе, поскольку — несмотря на то, что даже немного его знаю — мне до удивления антипатичен сам его способ изложения мысли. А кроме того, я считаю, что его способ психологической системы менее совершенен, чем у тех двух господ. И вот все это ты увидишь позже: как скорректированный Лейбниц и скорректированный психологизм вместе окажутся каждый в своей системе и как все это ведет к той форме, в которой мы можем назвать ее, несмотря на лежащую на ней некоторую тень неизбежного идеализма, системой реалистической, системой “биологического материализма”, который и должен в период правления ПЗП стать официальной государственной философией. Потому что, между прочим, — ужасное выраженьеце, но что поделаешь — физический и исторический материализм хороши были в период разрушающего коммунизма, но коммунизм создающий должен опираться на идею

примата организованного живого существа. В моей системе последним элементом Существования является индивидуум, иначе говоря — живое существо. В соответствии с их количеством формируется приблизительная физическая необходимость и мир неживой материи. Однако пока все это должно казаться тебе очень большой белибердой. Позже, как только ты познаешь тот путь, которым я пришел к системе, ты увидишь и оценишь ее. Для меня она почти что *denknotwendig*, хотя опытным путем такое никогда не проверишь.

Он окончил свой рассказ и как зверь бросился на Рустальку. Дико, до боли зацеловал ее, а потом жестоко изнасиловал. А потом, а потом ее, от наслаждения лишившуюся чувств, он потащил в спальню, где все и довершил (ни дать ни взять дьявол). Где-то далеко за полночь они умылись и, совершенно счастливые, ставшие, можно сказать, одним целым, легли спать. “А может, а может мир и впрямь таков, каким он его себе представляет? Может Бога и в самом деле нет?” — подумала, засыпая в томительной неге, Русталька и почувствовала такую радость, какую чувствует ребенок, когда у него умирают родители: он взаправду опечален, даже в отчаянии, покинут, одинок — но в глубине души не может унять непонятной радости от того, что наконец-то он один, самостоятельный, сам по себе, и что никто, кроме самой “жизни”, самой по себе, руководить им не будет. Действительно, превосходство шизоидальных гениталий (не считая, разумеется, проблемы потенции как таковой) было несомненным.

Казалось, что схваченная клещами самой адской из сук, жизнь была предопределена. То есть, до самой смерти ничего, кроме такой вот программы: легкие раздумья (а и то правда: работа в ПЗП с самого утра съедала лучшие силы), стало быть, легкие раздумья, потом немножко писанины, немного философских новинок из-за границы (“дома” не происходило абсолютно ничего), потом обед, ужин и завтрак — а между тем, обычная супружеская любовь, может и не такая уж совершенно обычная, но все-таки и так далее — о, Боже! Боже! Одно лишь сомнение: может именно поэтому и показалось все таким скучным, что не было здесь любви — имеется в виду с его стороны — любовь должна была прийти тогда, когда уже было слишком поздно для всего. У нее на тот же самый вопрос ответ был один: “ведь я люблю его”. Этот диссонанс между симпатией, уважением и вожделением, как бы взятый из психики какого-то несуществующего мужчины, диссонанс, который так сильно ощущался по отношению к Кизеру-Буцевичу, совершенно пропал. А при этом такой генитал, как у Изидора, — это тоже кое-что да значило, несмотря на то, что сама его половая “ярость” не была столь быстро сгорающей, столь дикой и животной, как у того быка, особенно в первоначальный период “коко”, когда он только перешел на новые пастбища с уже порядком потравленных и скучно-пустынных истощенных пространств стерни и вырубок алкоголя.

На этот день у Изи и Рустальки была новая программа. Кизер пригласил их на дневной, как он говорил, “*kinderbal*”, на котором хотел представить молодоженам свою новую пассию — Суффретку Нунберг. Оба они безмерно “этому” радовались. После сокращенного в связи с “медовой трехдневкой” в ПЗП (Русталька пошла на маленькую полставку в ту же самую институцию) и прекрасного второго завтрака в десятом часу произошел ставший теперь обычным — “и навсегда отныне” (Словацкий) — стимулирующий разговор Изидора с Русталькой о философии, после чего он должен был писать, а она читать указанную им программную философскую литературу, затем, по завершении превратившийся теперь уже в совместную прогулку, около девяти вечера (это у Марцелия Кизера называлось началом дня) им предстояло пойти на улицу Нижних Мельниц, где в громадной старой мельнице, переделанной под жилой дом, размещалась мастерская Кизера. Все это они и собирались сделать, но успели сделать только часть, потому что около часу пополудни в “кабинете” Изидора зазвонил телефон и сладкий голос Суффретки разметал весь план второго дня медовой тренировки.

3

3.0.

“ПОВСЕДНЕВНЫЙ ДЕНЕК” КИЗЕРА-БУЦЕВИЧА ВЫГЛЯДЕЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАК: (.....) И Т.Д.

Перевод с польского Ю.В.Чайникова

Фредерик Пол

Миллионный день

Я ТЕБЕ ХОЧУ ОПИСАТЬ ОДИН ДЕНЬ, КОТОРЫЙ НАСТУПИТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ лет, рассказать о юноше и девушке, рассказать историю их любви.

Хоть я пока только начал свое повествование, я успел сообщить много неправды. Юноша не был таким юношей, какого я и ты приучены себе представлять, ему ведь было сто восемьдесят семь лет. И девушка не была девушкой, но по иной причине. Также история любви не будет состоять в поэтизации сексуального желания, сопряженного со взаимной неуступчивостью, каковое обозначается обычно этим термином. Если ты

не усвоишь хорошенько эти факты, едва ли тебе стоит читать дальше. Если, впрочем, ты согласен затратить определенные усилия, то почти наверняка ты обнаружишь, что мой рассказ щедро, до упора, под завязку наполнен смехом, слезами и сильными страстями и вполне способен — или не вполне — доставить тебе удовольствие. А что касается девушки, то она не была девушкой, потому что она была мужчиной.

Как сердито ты отпрянул от страницы! Ты спрашиваешь — какой козел станет читать о похождениях пары гомиков? Успокойся. Здесь не будет грязных надуманных историй из жизни группки извращенцев. Seriously, если б ты видел эту девушку, ты ни за что не догадался бы, что перед тобой парень. Грудь: две; детородный орган: женский. Бедрa: широкие; растительность на лице отсутствует; надбровные дуги не выражены. Ты с первого взгляда установил бы ее половую принадлежность, хотя, наверное, ты немало удивился бы, и даже смутился, встретив новый для себя тип женщин — с хвостом, с бархатистой шкуркой и с жаберными щелями вдоль ушей.

Ну вот, опять ты сердисься. Возьми себя в руки, приятель, и послушай меня. Ведь это очень ласковый котик, и если б ты, как должно быть с нормальным парнем, провел с нею час наедине, ты был бы готов горы передвигать, чтобы только поскорее улечься с нею в постель. Дора — будем звать ее так; полное ее "имя" было омикроп — Двойная седьмого — типа — яйцерасторможенности S Doradus^{*)} 5314; последние цифры — это цветовая спецификация, они соответствуют блеклому оттенку зеленого — так вот, Дора была женщиной, обаятельной и привлекательной. Казалось, это не стоило ей никаких усилий. Была она — ты можешь легко себе представить — танцовщицей. Для занятий этим искусством нужно иметь ясный ум и в совершенстве владеть своим телом, причем оба этих качества требуют врожденных способностей и постоянной практики; ее представления шли в невесомости, я смогу лучше всего дать их описание, если скажу, что все это походило на выступление "человека-змеи", и также походило на классический балет, что-то вроде "умирающего лебедя" Даниловой. И еще она была очень сексуальна. Разумеется, это не нужно понимать буквально; ты ведь знаешь, что на самом-то деле в большинстве случаев слово "сексуальность" не употребляется в буквальном смысле, разве что если речь идет о презирающем одежде эксгибиционисте. В пору Миллионного Дня Дора возбуждала зрителей своим танцем — и тебя тоже, когда бы ты оказался на их месте.

Насчет того, почему все-таки она была мужчиной. Ее зрителей несколько не смущал тот факт, что набор ее генов был мужским. Это не смутило б и тебя, когда бы ты находился среди них, потому что откуда тебе об этом знать — разве что ты взял бы пробу ткани и засунул ее в электронный микроскоп, чтобы найти в ее клетках хромосомную пару XY — ее зрителей такая ситуация не смущала, эта сторона дела их вообще не волновала. С помощью приборов, которые не только не созданы, но и не придуманы до сих пор, люди в эпоху Миллионного Дня умели с большой точностью определять врожденные способности и склонности ребенка задолго до его появления на свет — если быть точным, где-то во время второго деления, когда оплодотворенная яйцеклетка превращается уже в самостоятельный зародыш — и затем они просто давали им развиваться. Если мы обнаруживаем у ребенка музыкальные способности, мы ведем его к Джуллиарду^{**)}. Если они обнаруживали у ребенка талант быть женщиной, они давали этому таланту развиваться. Это было относительно просто сделать, так как продолжение рода не зависело больше от секса; это не создавало никаких проблем и не влекло — или почти не влекло — никаких сплетен и кривотолков.

Сколько это — "почти"? Ну, это не больше, чем наше вмешательство в дела Божественного Провидения, когда мы ставим пломбу на зуб. И меньше, чем когда мы используем слуховой аппарат. Тебя это не убеждает? Ну ладно, присмотришься тогда повнимательнее к первой попавшейся грудастой красотке и представь себе, что это — Дора; согласишься, человек, который по генам — мужчина, а по внешнему виду — женщина, не может остаться незамеченным и в наши дни. Изменение внешних условий нарушило в матке деятельность генных механизмов. Разница в том, что с нами это может произойти только случайно, и редко нам удастся об этом узнать, разве лишь — сделав специальные анализы, тогда как люди Миллионного Дня не зависели больше от игры случая, они совершали подобные фокусы часто, когда сами этого хотели.

Ну ладно, хватит рассказывать о Доре. Наверняка тебя смутит, если я добавлю, что она была семи футов росту^{***)} и пахла арахисовым маслом. Пора уже начать нашу историю.

В Миллионный День, едва вышлыв из дому, Дора заплывла в транспортный тоннель, и мощный поток воды немедленно вынес ее на поверхность, над находившейся поблизости посадочной платформой она на пенных струях вознеслась, устроив репетицию попутно.

— Черт побери! — крикнула она в сильном смущении, и попыталась увернуться, когда увидела, что падает на какого-то совершенно незнакомого ей человека, которого мы будем звать здесь Доном.

Познакомились они оригинально. Дон направлялся ремонтировать свои нижние конечности. От мыслей о

*) S Золотой Рыбы — одна из самых ярких звезд в Большом Магеллановом Облаке, относится к классу эруптивных переменных, ее видимый блеск изменяется от 8 до 11 величины. (прим.перев.)

***) Музыкальный Фонд Джуллиарда — создан в США в 1920 г. по завещанию американского миллионера Августуса Джуллиарда. Основные задачи Фонда — помощь одаренным детям в получении музыкального образования, поддержка акций, направленных на развитие системы такого образования и популяризацию музыки среди населения. (прим.перев.)

***) Больше 210 см (прим. перев.)

любви он был необычайно далек. Но когда, рассеяно ковыляя вокруг ихтиандровской посадочной платформы, до печенок провонявшей лекарствами, он обнаружил вдруг в своих руках прекраснейшую девушку из всех, что когда-либо встречал, он сказал именно то, что полагается говорить в таких случаях.

— Выходи за меня замуж, — сказал он. Она нежно молвила — В среду, — и ее обещание ласкало душу и тело.

Дон был высокий, мускулистый, бронзового цвета привлекательный парень. Он был настолько же Дон, насколько Дора была Дорой, но раз ввиду его маскулинности ему присвоили личную часть имени — Адонис, для краткости мы будем звать его Дон. Его личный цветовой код равнялся 5290 ангстрем, всего на несколько ангстрем голубее, чем 5314 у Доры — интуитивно они поняли это с первого взгляда, это означало для них близость вкусов и интересов.

Я вне себя от отчаяния, потому что не могу доступно описать, чем Дон занимался — не для того чтобы заработать себе на жизнь, но чтобы придать этой жизни цель и смысл, уберечься и не сойти с ума от скуки — могу только сообщить, что ему часто приходилось совершать путешествия. Путешествовал он на межзвездных кораблях. Чтобы придать кораблю надлежащую скорость, нужны были специальные совместные усилия тридцати одного мужчины и семи — только генетически — женщины, Дон был одним из тех мужчин. Что-то вроде аналитика. Эта деятельность вынуждала его часто подвергаться воздействию космических лучей — на его посту, впрочем, излучение было слабей, чем в обтекателях на верхней палубе, где предпочитали находиться люди с женским генотипом; тяжелые частицы, обуславливая такой выбор, разрушительным потоком летели навстречу кораблю. Из-за этого — не подумай, что я тебя разыгрываю — он был вынужден постоянно носить на себе оболочку из блестящего, гибкого, но необычайно прочного металла цвета бронзы. Я уже упоминал об этом, но ты наверное, в тот раз решил, что я говорю про загар.

Кроме того, Дон был киборгом. Большинство его примитивных органов были давно заменены механизмами, гораздо более практичными и износостойкими. Кадмиева центрифуга, заменившая сердце, гнала кровь по его артериям. Его легкие приходили в движение только когда у него появлялось желание говорить громко, каскад осмотических фильтров при этом возвращал кислород обратно, освобождая его от отходов жизнедеятельности. Человека из XX столетия удивила бы его внешность, его светящиеся глаза и семь пальцев на руках. Но в своих глазах, и в глазах Доры, конечно, он имел вид нормального, вполне преуспевающего человека. Во время своих странствий Дон посетил Проксиму Центавра, Проион и загадочные планеты у звезды Мира Кита, перевозил семена и саженцы на планеты Каноуса и вез обратно ласковых и бойких ручных зверьков, которые водились у тусклого спутника Альдебарана. Горячие голубые гиганты и холодные красные карлики — он видел тысячи звезд, десятки тысяч планет. Он путешествовал по звездным трассам, лишь изредка проводя короткий отпуск на Земле, неполных два века, таков итог. Впрочем, я думаю, тебя это не должно волновать. Не следует преувеличивать роль обстоятельств, ведь люди сами творят свою судьбу, и тебе сейчас не терпится услышать о дальнейшей судьбе этих двух людей. Все у них было благополучно. Большое чувство их окрепло, расцвело и засияло воплощением упований в среду, как и обещала Дора. Они встретились в комнате с фиксирующей аппаратурой — чтобы разогнать тоску, каждый привел с собой несколько самых желанных друзей — и пока их личность устанавливалась и фиксировалась, они перешептывались, улыбались друг другу и тоскливым перлам натужного остроумия приятелей. Затем они обменялись своими полученными копиями и разошлись, Дора направилась в свое подводное жилище, Дон — к себе на корабль.

Это была самая настоящая идиллия. С тех пор они жили счастливо, более-менее, пока не устали от мирской суеты и не решили умереть.

Разумеется, они никогда больше не встречались.

Чтоб ты знал, я вижу тебя сейчас, пожиратель жаренных на угле бифштеков, одной рукой ты почесываешь шишку на большом пальце ноги, в другой держишь книжку с этим рассказом, а на проигрывателе стоит пластинка д'Энди или Мунка. Ты не веришь тому, что здесь написано, ведь так? Тебе трудно даже на минуту поверить. — Люди не могут так жить, — ворчишь ты, приподнимаясь с насиженного места, чтобы подложить еще один кубик льда в свой стакан.

И все-таки она реальна, эта Дора, быстро несущаяся сейчас в струях транспортных потоков к своему дому (она предпочитает жить здесь; анатомия ее позволяет дышать растворенным в воде кислородом). Если я рассказал бы тебе, с каким сладострастием она засовывает матрицу с записью личности Дона в считывающее устройство, открывается и отдается ему без остатка... если б я попытался тебе рассказать об этом, ты изумился бы моему рассказу. Или рассердился; и стал бы ворчать, что, мол, еще за новый способ любить. Но я уверю тебя, друг, я совершенно серьезно уверю тебя, что Дора получает удовлетворение столь тягучее и страстное, как и любая из подруг Джеймса Бонда. Я уверен, ты никогда не встречал ничего подобного в "реальной жизни". Ступай прочь отсюда, сердись и ворчи. Дору это нисколько не заденет. Если она вообще думает о тебе, ее тридцать-раз-пра-пра-дедушке, то только как о доисторическом первобытном животном. Вот какой ты. Ведь она отстоит от тебя дальше, чем ты сам — от австралонитека, жившего пять тысяч веков назад. Попадая в стремительный поток ее жизни, ты и секунды не удержался бы на плаву. Не думаешь ли ты, что прогресс развивается по прямой линии? Сознаешь ли ты, что на самом деле это восходящая кривая, постоянно загибающаяся вверх, может быть, даже экспонента? Требуется чертовски много времени, чтобы прогресс начался, но

уж если процесс пошел, это подобно взрыву бомбы. И ты, любитель шотландского виски, пожиратель бифштексов, развалившийся в своем кресле, ты просто лишь огонек на фитиле, неспешно бегущий к взрывателю. Что у тебя на календаре — шестая, седьмая сотня тысяч дней от Рождества Христова? Дора живет в Миллионном Дне. Десять тысяч лет тому вперед. Все жиры в ее организме полиненасыщенные, вроде косметики на хлопковом масле^{*)}. Искусственная почка очищает ее кровь во время сна — и Доре нет нужды утром спешить в туалет. Чтоб убить лишних полчаса, она может потратить энергии больше, чем вырабатывает сегодня страна вроде Португалии, и запустить прогулочный спутник или создать новый кратер на Луне. Она очень любит Дона. Она изучила все его жесты, манеры, привычки, касание его рук, любовную дрожь и страстность поцелуя, хранящиеся у нее в закодированном виде. Если она желает, ей нужно лишь включить воспроизводящую машину, чтоб его получить.

И Дон, разумеется, тоже получил свою Дору. Где бы он ни был, в городе, надстроеном в полукилометре над ее обиталищем, или на орбите вокруг Арктура в пятидесяти световых годах от Земли, ему нужно только дать команду воспроизводящему устройству извлечь ее из плена магнитных накопителей, чтоб она предстала перед ним, и она предстает; и восторженно, неустанно они любят друг друга всю ночь. Не во плоти, его тело ведь полностью модернизировано, и такой опыт был бы неудачным. Ему не нужны плотские ощущения для получения удовольствия. Половые органы ничего не чувствуют. Как и руки, грудь, губы; это лишь рецепторы, принимающие и передающие импульсы. Чувствовать может только мозг, осуществляемая им интерпретация этих импульсов и создает агонию или оргазм; воспроизводящее устройство Дона выдает ему символичный аналог объятий, аналог поцелуя, аналог соития, целые часы аналога страстной любви с вечной, изощренной, нестареющей Дорой. Или с Дианой. Или с терпкой Розой, или со смешливой Элисей; следует добавить, конечно, что у каждой из них есть его аналог, ну и так далее.

— Чушь, — скажешь ты, — по-моему, это глупость какая-то. А ты сам — со своим лосьоном-после-бритья и маленьким красным автомобилем, весь день перебирающий бумажки за столом и весь вечер гоняющийся за юбками — скажи мне, черт побери, как по-твоему, что подумал бы о тебе царь ТИГЛАТПАЛАСАР, ДОПУСТИМ, ИЛИ ВАРВАР АТТИЛА?

перевел с английского С. Некрасов

перевод выполнен по изданию 1966 г. и сверен с последующими изданиями

Ф. Пол. Интервью журналу "Вектор"

Я думаю, что с течением времени люди все более расчеловечиваются, наверное, они и в будущем будут находить для этого новые возможности. Мир, в котором мы живем, оказывается все менее приспособленным для людей. Мы не очень-то похожи на своих далеких предков, никогда не мывших и не расчесывавших волос, не готовивших пищу на огне и тому подобное; в этом смысле мы уже давно перестали быть людьми, но изменения, мне кажется, здесь произошли к лучшему, и влияние искусственного интеллекта на жизнь обычных людей тоже, мне кажется, будет к лучшему.

Я охотно представляю себе это изобретение киберпанка, маленькую черную коробочку, которую вы вставляете в голову, и она помогает вам быстрее думать, вспоминать, принимать решения; если бы они продавались, я бы купил себе такую; я не думаю, что это и в самом деле может серьезно изменить самосознание человека, его желания и то, чего он хочет от жизни.

Как я отношусь к киберпанку? В настоящее время с некоторой неприязнью. Неодобрительно, но не потому что кибер-, а потому что -панк. Что вызывает мою неприязнь, так это тот факт, что в большинстве книг, провозглашаемых как проявление киберпанка, я не смог найти ничего человеческого, ни одного героя, который не вызывал бы у меня неприязни. Меня обвиняют в том, что я внес существенный вклад в создание киберпанка своими книгами, такими, как "Человек Плюс", и рассказами, такими, как "Миллионный День", если это так, я готов признать свою вину. Но заботит меня другое — наметившийся новый путь дегуманизации, расчеловечивания человека. Я думаю, это живое описание нашего будущего. А если правда, — я не хочу ничего об этом слышать!

"Вектор" N 142, декабрь 1988 г.

перевел с английского С. Некрасов

МАХОВ. ЗАЧЕМ ТЫ ВЗЯЛ В НОМЕР ЭТУ ЧУШЬ?

ПЕШКОВ. Для контрапункта. Антропологическая мелодия Мерло-Понти, договорившегося до того, что человек без руки — уже не человек, нуждалась в хорошем противосложении...

МАХОВ. А поскольку fuga почти уже добежала до конца, то можно обсудить ее строение. Чуть ниже Кутырев, вторя французам, будет протестовать против человека-робота: человек должен быть таким, каков он есть, он не может стать другим, не погибнув.

ПЕШКОВ. Второе проведение темы, стало быть. А интересно, тема Пола — человек беспрепятственно превращается в другое, не теряя сущности (разумеется, не теряя, раз слово — в том числе "любить" — сохраняют смысл), — эта тема имеет у нас первое проведение?

МАХОВ. Думаю, что имеет. Причем, как ни странно, в моих романтиках. Посмотри, как легко тасуют

*) И так это всегда бывает с морскими животными и водоплавающими птицами. (прим.перев.)

они человеческие и нечеловеческие свойства! Это у них женщина оказывается растением, а мужчина — минералом. Чем не Ф.Пол! Кажется, романтический же философ Даумер предположил, что человек — лишь ступень в развитии к некоему высшему существу. Личинка. Нечто не существующее, а становящееся. Не имеющее собственной сущности, а вынашивающее в себе чью-то Бог весть чью — чужую сущность.

ПЕШКОВ. Во всем этом прослеживается, скажу без ложной скромности, заданная мной во вступлении антиномия: быть — стать. Так все же быть или стать? Вот вопрос, достойный души. Интересно, как это соотносится с любовью.

МАХОВ (задумчиво). До любви еще опосредовать и опосредовать. Но все же попробуем. Романтики и фантасты поверхностны — это не оценка, а определение. Их писанина — чистая работа воображения, а нет ничего поверхностнее воображения: оно же механистично, оно тасует (именно тасует!) свои образы, как карты, ничуть не задумываясь над проблемой их органической совместимости.

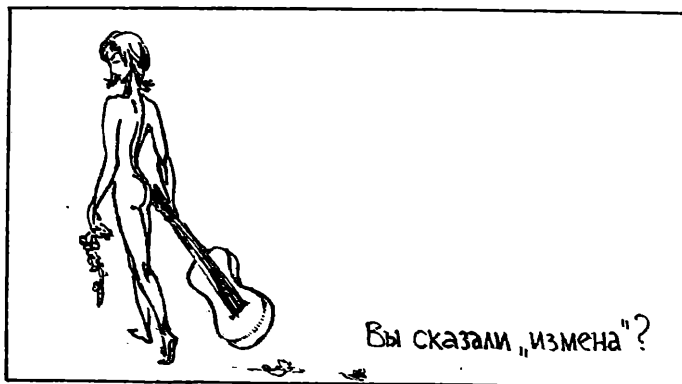
ПЕШКОВ (так же задумчиво). "Свой пестрый мечет фараон..."

МАХОВ. Вот-вот. Воображению с его неумной неумностью в принципе чужда органика, предполагающая медленное, терпеливое прорастание, последовательное, без купюр, становление — но никак не перетасовку методом проб без ошибок при безучастии спящего разума. Не удивительно, что на горизонте воображения маячат до скуки немыслимые чудовища и роботы...

ПЕШКОВ. Все это мило, но как мы попадем к любви? Методом дальнейшей перетасовки понятий?

МАХОВ. Не знаю. Я не додумал до конца. Может, дело в том, что любовь неподвижна, а воображение — непрерывный переход. М-да, но ария со списком... А может, в том, что любить можно только бытийствующее, но не становящееся, вынашивающее в себе чужую сущность? Правда, любовь к детям...

ПЕШКОВ. Во всяком случае, в любви есть какая-то обреченность и судьба. Момент приговора и судебности. Повтора и тождества. Любовь запрещает меняться.
ЧТО ЕЙ ПРОТИВОСТОИТ? — ИЗМЕНА.





В отличие от потребности в хлебе, потребность человека в тайне может принимать вполне инфантильные и даже комические формы — что нисколько не умаляет ее настоятельности. В своем неустанном поиске культурологических констант редколлегия “Апокрифа” вновь оказалась перед Янусом, а то и Протеем: проблема тайны профанируется и сакрализуется с одинаковой легкостью, что, в наших глазах, является признаком вечного. Разве не так же обстояло дело с игрой? Впрочем, наши авторы, кажется, не собираются издеваться над зелеными человечками. С.П.Галенко, например, настроен весьма возвышенно.

В Тайне заключена сокровенная мера жизни и смерти, любви и надежды, прошлого и будущего и в конце концов самого человека.

С.П.Галенко

После такого нужно ВСТАТЬ и прослушать великих. →

Все дело было для меня в том, чтобы познать мир в его жизни, в его подлинно существующих соотношениях и движениях. Но то, что в мире есть неведомое, было, как я воспринимал, не случайным состоянием моего, еще неведовавшего ума, а существенным свойством мира. Неведомость — жизнь мира. И потому, мое желание было познать мир именно как неведомый, не нарушая его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается, в своей подлинной сущности, т.е. как тайна.

П.А.Флоренский

Правда, похоже на то, что Мерло-Понти написал нам для любовного номера? Неопределенность (та же тайна) входит в саму структуру мира, и самому Богу не дано (кем?), скажем, отделить в человеке сексуальное от несексуального.

А.Е.Махов

— Не ломай голову, — сказал Дон Хуан, будто читая мои мысли. — Мир — загадка. Он не исчерпывается тем, что у тебя перед глазами, он бесконечен. А ты хочешь все понять... Ты воспринимаешь себя и меня в одном из миров — зовешь его реальностью; она — то, что известно, понятно. А мир сил неведом тебе, вот ты и ищешь, как бы свести его к известному.

К.Кастанеда.

Смысл искусства хитро и последовательно утаивается. Головоломка — вот умышленно включенный в творчество элемент, загадка, для которой не существует разгадки, хотя публика как загнипнотизированная вновь и вновь пытается ее найти, не подозревая, что давно осталась в дураках в той игре, которую ведет с ней искусство.

Г.Кунерт

Человек — это существо, нуждающееся в тайне (т.е. с жалом бесконечности в душе) и знающее себя смертным.

М.К.Мамардашвили

Я — загадка не только для допрашивающих меня, но и для самого себя. Загадка в данный момент неразрешимая, ибо разгадка ее лежит в той совокупности событий, которые произойдут с течением времени. Я есть лишь возможность, но с широким диапазоном. Соревнуйтесь, товарищи и господа! Кто я — зависит прежде всего от вас самих.

А.Зиновьев.

И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, происходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти потому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

А.П.Чехов

Исчезло самое главное, что тянуло молодежь друг к другу, — исчезла Тайна, та тайна, которую хотелось познать тому и другому полу. Поэтому молодежь сейчас и злая. Вы заметили, как сейчас к девочке, девушке, женщине относятся наши мальчики, парни, мужчины? А почему? Да потому, что то, что было тайным, стало явным.

Г.А.Платонова

Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает.

ЛАО-ЦЗЫ

Чтобы подчеркнуть преемственность номера четвертого и номера пятого, редколлегия держит тему последнего в тайне. И не собирается пока что ее раскрывать. Потому что раскрыть ее сейчас — значило бы пойти на то, что как раз и является темой этого пятого номера. Читателю предлагается следующая игра: по публикуемым ниже фрагментам восстановить тему не к ночи помянутого номера пятого. Справившийся с заданием не получит ничего. А желающие более полно ознакомиться с творческой манерой В.А.Кутырева смогут это сделать, когда выйдет “Апокриф-5”.

В.А.Кутырев

БЛЕСК И НИЩЕТА ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭТЮДЫ ПРОГРЕССИВНОГО ПЕССИМИЗМА (печатаются в выдержках)

2. Кричат о кризисе цивилизации. Нет его, цивилизация прогрессирует. В кризисе — человек.

3. Все кричат: человек, человек! А может быть его уже нет? Во всяком случае мы не будем знать, когда нас не будет. Выродимся незаметно.

5. Творческое начало мира — Бог. Но не творит ли и дьявол? Да. И прежде всего Он. Вернее так: Бог планирует, а Дьявол исполняет.

13. Изображение на экране красивее реального пейзажа, картина в альбоме ярче подлинника, удачный ксерокс четче текста, информация о событии интереснее события.

Копия стала лучше оригинала! — вот рубеж поворота к господству техники над природой, естественного над искусственным. Роботов над человеком.

17. Самое полезное для человека природное лекарство — другой человек. В Средние века ослабленных больных лечили “лежанием рядом со здоровым отроком”. Теперь, когда общение превращается в коммуникацию, в бездушное отношение, стали толковать о пользе телесных касаний. Хотя бы случайных, эпизодических (....)

25. Обычный экологический пессимизм связан главным образом с конечностью Земли. Природа ставит пределы роста. Эту преграду хотят преодолеть выходом в космос. Мода на “русский космизм”. Но при этом забывают главное: пределы человека. Пределы природы внутри него. Здесь космизм не поможет. Нам, людям, их преодолеть нельзя. “Или мы останемся какие есть, или нас не будет” — так ответил один римский папа на предложение изменить христианский

символ веры. То же самое можно сказать энтузиастам автотрофности, бессмертия и прочим техникам.

28.

Космос

Люди воображают, что осваивают и побеждают космос. В такой же мере космос осваивает и побеждает их. На земле появляется все больше мест, в которых человеку как таковому жить нельзя. Это, в сущности, "пятна космоса". Также когда-то среди дикой природы появились "пятна цивилизации". Потом они слились в сплошную цивилизационную среду. Сольются и пятна космоса — в космическую среду, от которой люди будут вынуждены защищаться специальными оболочками. Создавать искусственный климат, температуру и давление воздуха. "Среды с заданными свойствами". Чужие на собственной земле.

Космос опускается на землю...

29. Я экологический оптимист и заявляю: из всех живых существ человек умрет последним.

34. Ни в чем не надо бояться глубины. Если превысишь свои возможности, она, в конце концов, тебя вытолкнет. Голову ломают на мелководье.

35. Природа умирает, но это не значит, что бессмысленно бороться за ее сохранение. Человек смертен, но он всю жизнь пытается быть здоровым или лечится.

23. Исторические реминисценции об изменении роли частей тела в культуре. Оно шло снизу вверх:

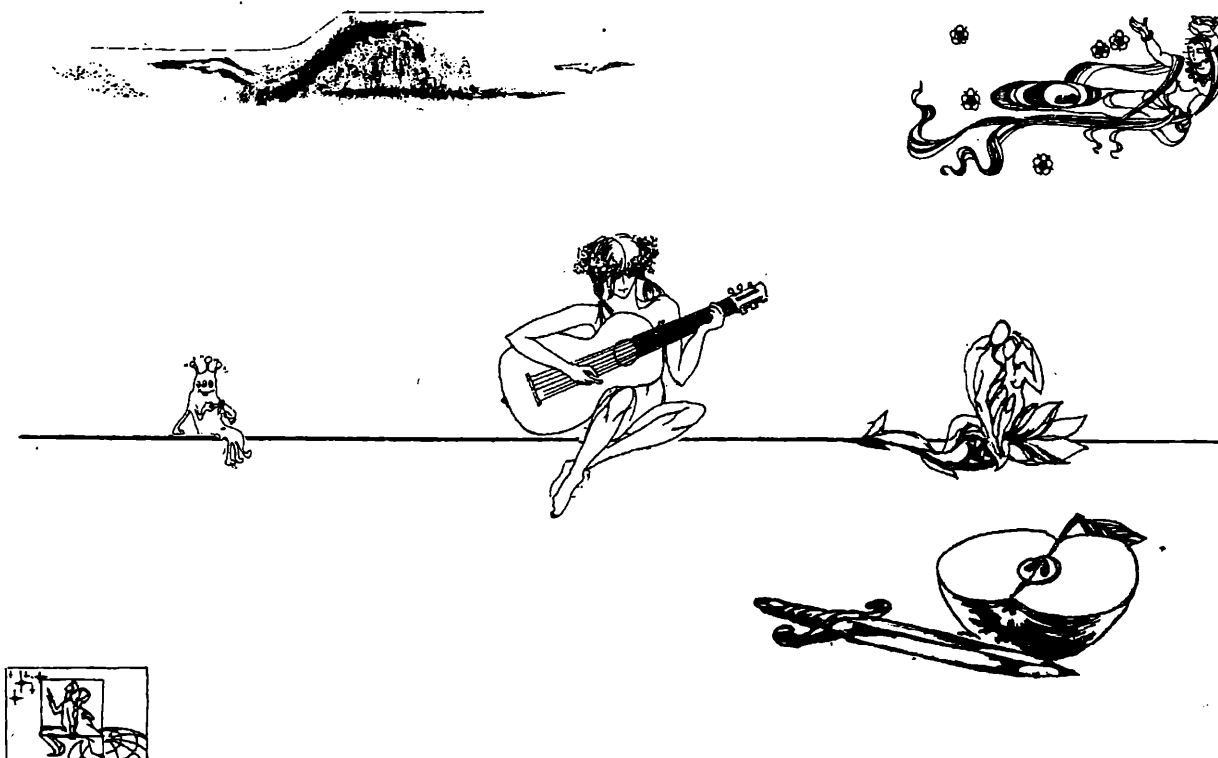
Первобытная культура озабочена обузданием зоологизма, борьбой с инцестом, регулированием брачных, кровнородственных отношений. Обрезание. Культ фаллоса. Мир вращается вокруг гениталий. **Человек-чресла.**

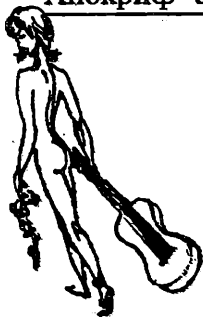
Потом проблема живота. Биться не на живот, а на смерть. Положить живот за други своя. Жизнь и живот, прокормление, еда почти тождественны. Вырастить ребенка — значит воспитать его в буквальном смысле слова. Гаргантюизм. Мир лежит на брюхе. **Человек-живот.**

В Новое время на первом плане грудь, человеческие чувства, страдания плоти, борьба страстей. Сенсуализм и сентиментализм — любовь. Волнения души. Мир прижат к груди. **Человек-сердце.**

Сейчас центром тела стала голова. Торжество расчета, рациональности. Интеллектуализация, церебрализация. Мир стоит на голове. **Человек-мозг.**

Дальше у нас нет органов. Кончились. Далее киборг, искусственный интеллект. Самоотрицание в пользу Другого. **Человек-робот. Просто робот.**





Финал, или Формальный метод в любви

Что же узнают о "Ты"?
— Да ничего.
Мартин Бубер, "Я и Ты"

МАХОВ. ЗАКРЫВАЯ ТЕМУ ЛЮБВИ, Я ГОРЬКО ПЛАЧУ. НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ.

ПЕШКОВ. *Animalia omnia post coitum tristia sunt* (смеется).

МАХОВ. Как писал мой любимый философ Эрнст Кассирер, человеческое сознание движется в своем развитии (филогенетическом, разумеется) от объективности к релятивности. От сущностей к отношениям. Это видно из эволюции языков: они постепенно формализуются, вырабатывая все более абстрактную сетку различий, и на смену какому-нибудь прелестному "времени на рассвете, когда садятся в лодку и плывут ловить крокодила", приходят вялые и бесцветные "прошлое", "настоящее", "будущее". Плюсваллерфект. И так все сущности обречены (принимает тон античного рапсода). Обречена и любовь. Этот светящийся шар между людьми. Или в который люди заключены — как у Босха: любовники спрятаны в стеклянную сферу, символизирующую непрочность их счастья, сферу, которая, мы знаем, разобьется и изрежет их на куски своими острыми краями. (Возвращается внезапно к деловому стилю). Итак, сущность распадается. Андрогин — на мужчину и женщину. Мужчина (как и женщина) — на "я", "сверх-я", "оно"...

ПЕШКОВ (гневно вмешивается). Я же просил: довольно фрейдизма!..

МАХОВ (с горных высей)... фрейдизм — лишь частный случай Игры Местоимений, о которой ниже ... продолжаю: любовь же ... любовь мутирует и превращается в отношения. Можно заподозрить, что любовь имеет какое-то принципиальное отношение (изыди, каламбур!) к превращению мира сущностей в мир отношений: ведь само слово "отношение" в одном из его значений становится синонимом слова "любовь". "У меня были с ней отношения". "В каких вы с ним отношениях? — В тех самых".

ПЕШКОВ. Может быть, любовь и есть нечто, благодаря чему сущности вступают в отношения?

МАХОВ. Возможно. Но меня сейчас занимает очень специфический поворот этой темы: там, где прибывает отношений, убывает сущности. Если говорить об историческом аспекте этого парадокса, то он состоит вот в чем: полагая во главу угла мысль любовную, мы неизбежно приходим к некому этическому формализму, формализму чистых абстрактных отношений. Из мира существительных мы попадаем в мир местоимений. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так.

ПЕШКОВ. "Другой" по Бахтину и Буберу? "Другой" — не местоимение.

МАХОВ. Местоимение. Но начнем сначала. Возьмем Гете и Шиллера. Друзей. Гете написал невероятно тонкий роман "Избирательное сродство", заглавие которого заимствовал из современной ему химии: тогда было популярно учение Ф.А.Грена об избирательном сродстве химических субстанций. Субстанции, вещества вступают в реакции притяжения, отталкивания, соединяются, разделяются или сохраняют индифферентность друг к другу в зависимости от степени их сродства — точно так же и люди, показывает Гете: субстанция того или иного человека налагает определенные ограничения на его способность любить, придает некую форму его любовному влечению. Есть сродственные души, чьи любовные формы совместимы и, более того, неотвратимо притягательны друг для друга... Души — конфигурации, которые стыкуются или не стыкуются; к тому же, эта конфигурация столь же трудно объяснима, как рисунок линии, по которой раскалывается стекло... Но довольно о Гете: что же пишет Шиллер? Он пишет "Оду к радости". Текст основополагающий для европейского этического формализма. "Обнимитесь, миллионы!" Перед этим меркнет наш групповой секс. "Alle Menschen werden Bruder". Перед этим меркнет коммунизм. Проблема совместимости конфигураций оставлена миру минералов: это минерал — твердый, а человек, видимо, жидкий, раз все сливаются в экстазе. Маэстро наверху урезал марш с хором: танцуют все!

ПЕШКОВ. Но ведь это "Ода к радости", а не "К любви".

МАХОВ. Видимо, любовь дискредитирована в глазах Шиллера своей интимностью. Радость просторней. Но вот что важно: Шиллер — последователь Канта. А все дело именно в Канте: он пустил гуманитария по столбовой дорожке общей идеи человечности, идеи неизбирательного сродства.

ПЕШКОВ. Неужели? А я уж думал, дело в Платоне. Или итальянских гуманистах.

МАХОВ. Ничего подобного: гуманисты видели в человеке то же, что и в природе, — свою любимую *varietas*. По Пико делла Мирандола человек — *animal variae et multiformis*. Отсюда идет как раз гетевская линия: человек, как и природа, — море необъяснимых, внутри-себя-данных различий. Мне вспоминаются и страсть Гете к естественнонаучным разысканиям, и увлеченное коллекционирование всяческих редкостей (*varietas!*), и отмеченное Эккерманом умиление по поводу любви птички к своим птенцам. "Если

такая любовь существует, то не вызывает сомнения существование Бога". Что идея человечности, если есть такая птичка! По Гете, этому коллекционеру различий, тончайшие линии души изнутри слишком оталеченной чистой человечности не объяснимы и нуждаются — вот парадокс! — в аналогиях из мира минералов. Тонкости — дело матери-природы, тут уж ничего не попишешь и ничего не поймешь: можно только их коллекционировать и писать о них романы. Для Канта же природа — царство необходимости, а человек принадлежит к царству свободы. Отбрасывая проблему индивидуальных различий, Кант ищет общую форму человеческой души. Есть идея человечности как таковой, которая задает определенную форму нравственного поступка. Тонкости избирательного сродства к этой общей идее человечности, к этой общей форме души не имеют отношения и потому мало интересны.

ПЕШКОВ. Ты пересказываешь Мамардашвили, а не Канта.

МАХОВ. А мне и нужен Кант, прочитанный моим современником. Итак, если ты видишь перед собой идиота или ублюдка, ты все же должен вести себя с ним так, как будто это человек. Такова всеобщая форма поступка, вытекающая из идеи человечности. Из идеи общей формы души.

ПЕШКОВ (автоматически). Категорический императив. Интересно, как это соотносится с христианским "возлюби врагов своих"?

МАХОВ. Возлюбить врагов — уже конкретный поступок, а мы с Кантом говорим о форме поступка. Общей форме всех человеческих поступков. О растворенном в любом поступке сознании того, что ты имеешь дело с представителем рода, с носителем общей формы рода, формы, к которой и ты принадлежишь. Нет ничего более странного, чем утверждение "все люди равны". Более странно, пожалуй, только то, что это утверждение нам кажется банальным. Ведь все мы в глубине души (в той ее дремучей глубине, где, наверное, таится и избирательное сродство) знаем, что это не так, что это неверно, не равны мы между собой. И все же мы действуем так, как будто верим в это; как будто между нами есть негласный договор — и он, этот *contrat social*, действительно есть: общая форма нашей души. Может быть, эти пресловутые "права человека", это наше "насилно равен будешь" и есть квинтэссенция любви по-европейски? Сравни принудительное неравенство в древних цивилизациях: в Греции раба, если он привлекался к судебному разбирательству как свидетель (только свидетель!), нужно было — по закону — допрашивать обязательно под пыткой. Это тебе к вопросу о Платоне: у раба, видимо, иной, нежели у свободного грека, эйдос? Наша же общая идея не позволит нам подступиться к самому гадкому из ее носителей с раскаленными щипцами; правда, в объятья его не заключим: так далеко наша любовь к идее не простирается. Но эта наша тепловато-холодноватая любовь, в которой мы так упорствуем, веря в возможность всем договориться вопреки коварству Востока, для которого по-прежнему нет человека вообще, а есть свои и чужие...

ПЕШКОВ (теряя нить и терпение). Жду, когда начнутся местоимения. Может, хоть это будет не так банально.

МАХОВ (нимало не уязвленный). Местоимения начались сразу же после Канта. А именно: у Фихте. В системе, играющей полюсами "я" — "не-я". "Я", эта чистая форма, чтобы утвердиться в мире и обрести содержание (как будто такое возможно для местоимения!), полагает супротив себя другую форму — "не-я". Иначе говоря, "другое". Далеко ли от этого "другого" (средний род) до другого — нашего диалогистического "другого" (мужской род)?

ПЕШКОВ. Чрезвычайно далеко. "Полагать" можно только объект.

МАХОВ. Хорошо. Минюя местоимения фрейдизма, обратимся сразу к диалогистике. Она основана на презумпции качественности понятия "Другой" (то есть на предположении, что "другость" есть некое качество), между тем как "другой" — это словечко совершенно бескачественное, это пустой языковой оператор, различение в его абстрактной чистоте, какой не бывает в природе. Но интересуется ли диалогизм качеством "другого"? Отнюдь. Он, конечно, вытягивает из своей абстрактной "другости" такую же бесконечную диалектическую нить, какую Гегель вытягивал из столкновения "бытия" и "ничто". Но при этом остаются неясными такие качественные, содержательные вопросы, как, например, что делать при "событии встречи", столь перевозносимом Бубером, сознаниям разных уровней, разных качеств. Я встречаю мужика. Я, просвещенный либерал, говорю ему: "Да здравствуют высокие ценности плюрализма и демократии!" А он мне в ответ: "Бей жидов". И он для меня "Другой"? Он — низший организм. Явление природы. Его самость, его личность, его особенность — в его низшести, в неспособности критически, осознанно взглянуть на поработившие его сознание мифы. А вовсе не в его другости. И если я вижу, что его сознание отуманенно и не видит меня, в то время как я хорошо вижу и понимаю и на сто процентов предвосхищаю его всего, целиком, то какой же он "Ты"? Его низшесть есть реальность для меня, а вовсе не то, что он "другой". Он "другой" лишь в рамках абстрактной и совершенно пустой ситуации различения "я" — "не-я", знакомой нам по Фихте. Другой в чисто языковом смысле (если тут есть смысл) этого слова.

Диалогизм делает качество из бескачественности местоимений, создавая своего рода лингвистический миф. Но существует ли "другой"? — Утвердительный ответ был бы так же бессмыслен, как утверждение, что "существует Я". "Я", "ты", "другой" — это отношения, мои отношения с сущностями. Несмотря на свою пустоту, они дождались своего звездного часа: философия — перефразирую

шутку Вяземского о русской поэзии — сказала все существительные, все прилагательные, все глаголы (в основном, конечно, она говорила: *cogito*), а теперь ей остались одни местоимения.

ПЕШКОВ (встревает). Доживем до междометий?..

МАХОВ. Что касается меня... Нужен ли мне другой? — Да, но не всякий, а это уже дьявольская разница. В "Формальном методе в литературоведении" Бахтин упрекает формалистов в том, что они строят свою систему на отрицательных понятиях — грубо говоря, определяют искусство через "недействительность" и так далее. Сама же диалогистика — сверхформальная система, построенная на суперотрицательном понятии, представляющем собой абстрактное отличие от "я". Формальный метод в любви.

ДРУГОЙ. Во всем этом просто говорит твоя ненависть к людям. В конце концов, тот же антисемитизм — быть может, лишь наносное, штамп, под которым все же лежит личность. Надо уметь к ней прорваться (пугается собственной абстрактной назидательности и умолкает, поняв, что не существует).

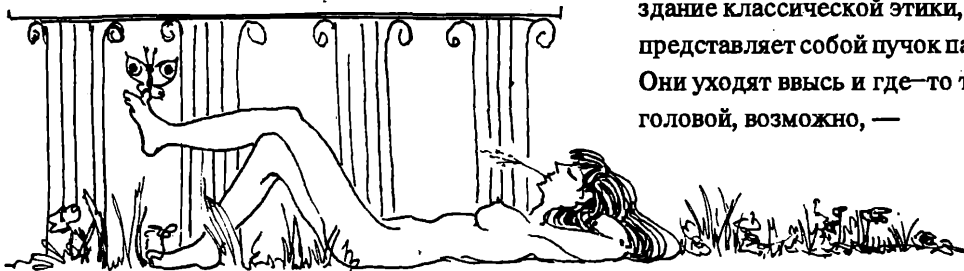
Я. Форма поступка требует от меня найти в человеке человечность. Но поиск добра в безнадежных случаях — пустой формализм! Кант, впусивший местоимения в философию, вдохнул в нас этот пчелиный инстинкт формы.

НЕ-Я (саркастически). Одно зло содержательно.

Я. Во всяком случае, оно лежит вне общей формы души. Но я же никого не критикую: понятие "другого" — это формализм, необходимый для того, чтобы достроить здание классической этики, исходящей из концепции естественного права. "Другой" — это усовершенствование в системе, которая безнадежно забуксовала в шиллеровской оде, в нелепом мировом братстве. Во включенности всех во все. Или во всех? (О, местоимения!) Теперь же система обзавелась не-шиллеровской одой, "Одой к любви" (тонко вызвал ее на просцениум Пешков!) — диалогизмом. Я заскучал в объятьях братьев, все как на подбор, с ними дядька Черномор. Мне дали того, кто не является мною, кого я не знаю, кто исключает, а не включает меня. Я еще не вижу ясно этого "другого" (а как его увидишь? — он грядет), но уже заинтересовался, оживился, обрел вкус к жизни... Диалогизм — великая ода исключения; система дала задний ход и выбралась из болота; "Alle Menschen werden Andre" —

ура, нам больше не нужен абстрактный человек!

ЧЕЛОВЕК (ПРЕКРАСНЫЙ, НО СОВСЕМ ДАЛЕКИЙ, ОПУСТОШЕННЫЙ, АБСТРАКТНЫЙ). ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.



Присутствующие умолкают и вглядываются в здание классической этики, форма которого представляет собой пучок параллельных прямых. Они уходят ввысь и где-то там, в звездах над головой, возможно, —

ПЕШКОВ (ОТРЕШЕННЫЙ ОТ ДЕЛ — В ОТПУСКЕ. ПИШЕТ ПИСЬМО). “ТЫ говоришь, “оставь свою озабоченную иронию, садись и твори, свободный человек”. А я вот не сижу и не творю. Не пишу т.е. Любая письменная речь представляется мне все более и более тупорадикальной, как тут ни играй, ни дерридианствуй.”

(В недвижимом доселе воздухе сада-огорода-цветника южной казачьей станции возникают неясные колебания.)

ПЕШКОВ (отмахивается, в смысле: отгоняет Махова). Ладно-ладно, хватит материализовываться, я понимаю, что свежий воздух есть медиум человеческого общения. Как говорится, оставь надежду на молчание всяк дышащий в отчаянье. Совершенно ясно, что моя речь вызывает ответ, который инкарнирует собеседника независимо от того, крутишь ты блюдо или нет. Поэтому в конце второго Апокрифа мы вызвали Евреинова из другого времени. И ты явишься из промосковского пространства. Не случайно в слове “пространство” есть транс. (Скучает.) Светает, ах как скоро ночь минула! (Засыпает за столом и падает со стула.)

МАХОВ (являясь). Клоунада.

ПЕШКОВ. Между прочим, это новый апокрифический жанр: P.S. или эпилог. Я-то знаю, что ты все диалоги уже дописал, третий номер завершен и теперь дозавершается художницей Ириной Смирновой. И у меня нет теперь никаких шансов сказать свое последнее слово.

МАХОВ. Да, я все написал. Но don't overdramatize our situation, как советуют нам политики. Мы ж не зря твердили, что свобода наша не знает пределов. Захотим и на стадии сверки весь журнал перепишем.

ПЕШКОВ. Э, нет, то есть ну да. Возможно ли такое захотеть? Вся беда в том, что вот сейчас, когда мы имеем свободу хотеть (а может это и есть истинная свобода?), хотим ли мы?..

МАХОВ (произнося для тренировки первое попавшее слово)... иметь? Возвращаемся к семантике любви? (Тут же в ответ между грушей-бессемянкой и небольшой роцей пионов Вардан Айрапетян осуществляет герменевтические подступы к русскому слову.)

ПЕШКОВ. Берегитесь. Сейчас поднимется ветер и начнется грушепад. (Махову.) Просто хотеть. Любить это не хотеть иметь (смотрит на подступающего между падающими грушами и возвышающимися георгинами Айрапетяна), а хотеть. Хотение именя есть лишь техническая промежуточная стадия, подход к имену хотения, как бы каламбурно это ни звучало.

МАХОВ. Черт возьми, неужели придется портить макет и вводить в журнал этот текст?

ПЕШКОВ. Когда хочешь иметь — это страсть, желание; когда имеешь — это секс, свершение желаний; а когда иметь уже не хочешь, потому что все время имеешь, но все-таки хочешь чего-то еще — это любовь.

МАХОВ. У тебя получается, что любовь это результат секса.

ПЕШКОВ. Post hoc est propter hoc.

МАХОВ. Dura sex, sed sex!

ПЕШКОВ. Sapienti sat.

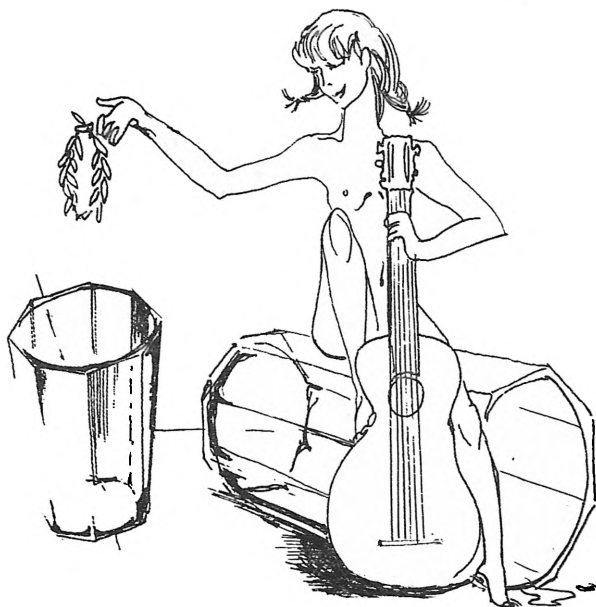
МАХОВ. Conditio sine qua non.

ПЕШКОВ. Non solum, sed etiam. Pluralia tantum. Accusativus duplex. Недавно в очереди за билетом видел свою учительницу латинского языка.

МАХОВ. O tempora, O mores!

ПЕШКОВ. В самом деле: она совсем вышла из моды. Ныне. Но ars amandi — искусство апокрифическое, сокрытое, поэтому говорить о нем лучше было бы с самого начала по-латыни.

VALE!”



В ЭТОМ, ЛЮБОВНОМ НОМЕРЕ:

Главный редактор А.Махов	О любви (платонический диалог пресмыченных изданий)	3
	ГУМАНИТАРНЫЙ ОБЗОР (ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ, А МОЖЕТ БЫТЬ, ОНА И НЕ ТАК ЗОВЕТСЯ)	
	И.В.Пешков. Любовь: физика и метафизика	7
	МИФ	
Редколлегия	А.Е.Махов. Мужчина и женщина в зеркале романтического афоризма	14
И.Пешков	Ф.Шлегель. Из "Литературных записных книжек"	21
С.Галенко	Ж.Жубер. Из "Дневников"	22
В.Кузнецов	Новалис. Афоризмы из разных рукописей	23
К.Чекалов	Ф.Шлейермахер. Из дневника	24
	И.Г.Фихте. Из "Оснований естественного права"	24
	Жан Поль. Афоризмы	24
	МЕТАФИЗИКА	
	МАСКИ СЛОВА "любовь?"	
Художественный редактор	К.А.Чекалов. Задолго до Ролана Барта, или Влюбленные в дискурс (или в смерть?)	27
И.Смирнова	О.Л.Довгий. Прозерпина и Клеопатра	33
	Барри Корнуолл. Сонет. Магдалина (пер.И.Кузнецова)	36
	(ОНА?) НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ:	
	ФИЗИКА В ДАЙДЖЕСТАХ И ПЕРЕВОДАХ	
	Из истории сексуальной жизни французов (К.Хитаров)	37
Редактор	Л.Бабб. Физиологическое понимание любви в елизаветинской и ранней стюартской драме (пер. О.Сычева)	42
Г.Шелогурова	Шла по Сити проститутка, а за ней вампир. Любовь и смерть в викторианской литературе (А.Махов)	51
	(ОНО?) НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ:	
	МЕТАФИЗИКА В ПЕРЕВОДАХ И ДАЙДЖЕСТАХ	
Рисунки	В.Л.Кошелева. Тело, сексуальность и метафизика любви	56
И.Смирновой и А.Атавиной (к статье О.Довгий)	М.Мерло-Понти. Тело как сексуальная сущность (пер.В.Кошелевой)	59
	МЕТАФИЗИКА: ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ	
	В.Н.Волошинов. Основной идеологический мотив фрейдизма	64
	В.Л.Махлин. Расторжение брака	70
	ФИЗИКА: ОБЩЕЖИТИЕ (РУССКОЕ)	
	А.Е.Махов. "Опасение верности": Алексей Николаевич Бульф на rendez-vous	77
	А.Н.Вульф. Из дневников 1828-1830 годов	79
Набор и компьютерная верстка	М.С.Тартаковский. "У Кирилла Львовича..." Акмеологические подступы к русским литераторам	83
Н.Еремина	Г.Н.Шелогурова. "И тебя не любить мне позволь". Об одном мотиве в творчестве И.Анненского	88
	МЕТАМЕТАФИЗИКА?	
	АРХИВ КУЛЬТУРЫ	
	"Стихи сочиняет поэт — народ их аранжирует". Страшный сон главного редактора. Стихи, оставленные Алисой	92
Редколлегия журнала "Апокриф" выражает свою любовь В.Файнвейцу, С.Никулицкому и др. "Брокерам Тринити" за то, что они есть. С нами.	И.А.Морозов, И.С.Слепцова. Крутоворот любви в народе. По книге "Круг игры: старинные забавы и развлечения русских".	95
	С.В.Зинин. "Нет, я не дорожу мятежным наслаждением": эротика по-китайски	100
	Бо Ху Тун: "Всеобъемлющие дискуссии в зале белого тигра" (пер. С.Зинина)	109
	Хэ Инь Ян: "Соединение сил инь и ян" (пер. С.Зинина)	115
	НАД ВЫМЫСЛОМ	
	Б.Вван. Любовь слепа (пер.К.Чекалова)	118
	А.Брудный. Невадаль (видеолента)	122
	Л.Межибовский. Пресобразование гусениц	137
	С.И.Виткевич. Единственный выход (выдержки из романа, пер. Ю.Чайникова)	139
	Ф.Пол. Миллионный день. Интервью журналу "Вектор" (пер. С.Некрасова)	145
	САМОРЕКЛАМА	
	Тайна в жизни человека	150
	В.А.Кутырев. Блеск и нищета цивилизации: этюды прогрессивного пессимизма	152
	Финал, или Формальный метод в любви	154

**Издательство „ЛАБИРИНТ”
БАХТИН ПОД МАСКОЙ**

Вышли из печати:

- 1. В. Н. ВОЛОШИНОВ. Фрейдизм.**
- 2. П. Н. МЕДВЕДЕВ. Формальный метод в литературоведении.**
- 3. В. Н. ВОЛОШИНОВ. Марксизм и философия языка.**

Выходят в свет:

- 4. Бахтин: маски и лица. (Статьи В. ВОЛОШИНОВА, П. МЕДВЕДЕВА, И. КАНАЕВА. Итоги серии).**

**В серии *Ex libris Apocryphi*
готовятся к печати:**

- О. РОЗЕНШТОК-ХЮССИ. Язык и реальность.**
- Э. ГУССЕРЛЬ. Идеи к чистой феноменологии.**
- М. МАМАРДАШВИЛИ. Классический и неклассический идеалы рациональности.**

Издательство „ЛАБИРИНТ”
103045, Москва, Последний переулок, 23-3-9,
тел.: 207-19-22.

Заказ \ Тираж 3000
Отпечатано в Обнинской городской типографии
г. Обнинск, ул. Комарова, 6.



By Ivan E. H. Morozov